Джонатан Свифт

Эротические приключения
в некоторых отдаленных частях света
Лемюэля Гулливера,
сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей

Перевод с англ. Г. А. Крылова и И. Ю. Куберского.



ИНСТИТУТ СОИТОЛОГИИ
Санкт-Петербург
2006

ББК 84.4(Вл) С24
Издание подготовлено кафедрой лингвистической соитологии Института соитологии
*
Издательство выражает благодарность Музею Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания), лично Марку Ворду и Кеннету МакИннесу за помощь в подготовке данною издания

Свифт Джонатан
С24
Эротические приключения в некоторых отдаленных частях света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей/Пер, с англ. Г. А. Крылова, И. Ю. Куберского. СПб.: Институт соитологии, 2006. – 448 с, ил.
ISBN 5-9637-0019-1

Эта книга является единственным в мире изданием неизвестной рукописи Свифта, созданной им в 1727 году на основе глав и частей, изъятых первым издателем «Путешествий Гулливера…» за их «откровенный и шокирующий характер».

ББК 84.4(Вл)

Иллюстрации Клима Ли

Издательство благодарит Михаила Бычкова за помощь в оформлении книги

http://www.soitology.com

ISBN 5-9637-0019-1



От издательства

В сентябре 2004 года из Лондона на электронный адрес издательства Института соитологии пришло письмо, автор которого сообщал, что у него есть для нас «интересное» предложение. Встретиться договорились на предстоявшей вскоре Международной книжной ярмарке во Франкфурте.

Встреча состоялась 7 октября 2004 года, когда к стенду нашего издательства подошел молодой человек и на русском, с тем акцентом, который появляется у русских, долго проживших или родившихся заграницей, представился. Это и был наш лондонский знакомый. До того он несколько минут внимательно изучал выставленные на нашем стенде издания, как научно-популярные, так и художественные: от Камасутры и откровенных сонетов Пьетро Аретино с не менее откровенными иллюстрациями Джулио Романо и братьев Карраччи до сочинений маркиза де Сада и Леопольда фон Захер-Мазоха.

Изъяснялся он не без труда, однако наши попытки перейти на английский вежливо отверг, заявив: «Мои бабушка и дедушка были русскими. Я люблю русский язык». Не тратя лишних слов, молодой человек заявил нам, что у него есть неопубликованная рукопись Свифта и сделал паузу, наблюдая за нами. Честно сказать, никакого впечатления его слова на нас не произвели. Свифт в России давно издан, то есть, конечно же, прежде всего его «Путешествия Лемюэля Гулливера…», а издавать сейчас что-то еще… Даже его достаточно известная «Сказка бочки» сегодня вряд ли кого заинтересует, тем более – на российском рынке, где первые позиции, наряду с Гарри Поттером, давно и прочно завоевал детективный жанр; даже с реализацией русской классики теперь проблемы… Вот, примерно, какой ответ прозвучал из наших уст. Вежливо выслушав нас, молодой человек сказал:

– Вы меня не поняли. Я предлагаю вам неизданные «Путешествия Лемюэля Гулливера…»

Так состоялось наше знакомство с одним из потомков старинного купеческого рода, давшего России, по меньшей мере, двух выдающихся фигур своего времени Ерофея и Федора Каржавиных. Федор Васильевич Каржавин (1745–1812), полиглот, знавший почти два десятка языков, теоретик архитектуры и художник, плодовитый писатель и ученый-натуралист, путешественник, исколесивший Европу и Америку, и помимо прочего – тайный агент Екатерины II… О Ф. В. Каржавине есть обширная статья в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Родной дядя Федора Васильевича – Ерофей Каржавин, получивший образование в Сорбонне, – первый переводчик на русский язык свифтовских «Путешествий Лемюэля Гулливера…». Перевод этот, опубликованный в 1772–1773 гг., был сделан с весьма вольной французской версии, но выгодно отличался от нее, поскольку по стилю более соответствовал английскому изданию 1726 года.

Как мы узнали от нашего гостя, после большевистской революции 1917 года потомки рода Каржавиных рассеялись по всему свету, за границей оказалась и часть архива Ф. В. Каржавина, в котором и были обнаружены неопубликованные главы знаменитых «Путешествий…». По утверждению нынешнего владельца рукописи, Федор Каржавин купил ее в свое время у семьи Форда, друга, душеприказчика и хранителя архива знаменитого английского сатирика.

На наш вопрос, почему она до сих пор не опубликована, молодой человек, многозначительно улыбнувшись, предложил нам ознакомиться с содержанием. Так в наших руках оказалась ксерокопия части рукописи. После прочтения нам стала понятна причина, по которой потомок Каржавиных выбрал издательство, специализирующееся именно на эротической литературе.

Рукопись поразила нас смелостью и раблезианской свободой, которую во времена Свифта могли позволить себе немногие, ну разве что такие «одиозные» фигуры, как Джон Клеланд, написавший знаменитый эротический роман «Фанни Хилл, или Мемуары женщины для утех» и

затем представший за свое «безнравственное» сочинение перед судом… Кстати, запрет на публикацию романа был снят английским же судом лишь двести лет спустя, в середине XX века. Видимо, такая же судьба ожидала бы и «Путешествия Аемюэля Гулливера…», если бы издатели не привели рукопись в надлежащий, с их точки зрения, вид. Иначе могло последовать и наказание – за издание богохульственных и антиправительственных книг в Англии в ту пору отрезали уши. Впрочем, даже во второй половине XIX века, в викторианские времена, «Путешествия Лемюэля Гулливера…» считали сочинением вредным, грязным и порочным и безжалостно корнали, превращая в невинную сказочку… Да, трудно себе представить, какова была бы реакция церкви, прочти ее духовные отцы знаменитый пассаж из Лилипутии об «остроконечниках и тупоконечниках» в его подлинном, а не искаженном виде. Получается, что священник, настоятель собора святого Патрика в Дублине, был вольнодумцем и в вопросах отношений полов.

В данном контексте нельзя обойти вниманием весьма показательное произведение еще одного великого писателя Англии, современника Свифта – Даниэля Дефо, увидевшее свет в 1722 году под названием «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс». Написанная в жанре автобиографии вымышленной героини (как, впрочем, и «Робинзон Крузо»), книга эта вполне могла бы считаться эротической, если бы ее эротика не была вынесена за скобки. Таковой ее намеренно делает сам автор, работающий в рамках того, что позволено временем: «…были приложены все старания к тому, чтобы не допустить в эту повесть в настоящем ее виде никаких непристойностей, никакого бесстыдства, ни одного грубого выражения героини. С этой целью кое-какие подробности порочной части ее жизни, которые нельзя передать в пристойной форме, опущены вовсе, многое же сильно сокращено.» (см.: Радости и горести знаменитой Молль Флендерс. М.: Художественная литература, 1991).

Подобный литературный ход весьма примечателен. Казалось бы, чего проще – пиши о добродетели и не оправдывайся ни перед кем. Но в том-то и дело, что читательский спрос на эротическое, чувственное и запретное был в то время как никогда велик, и расчетливый Дефо это прекрасно понимал. Рынок, возникновение национальной буржуазии, монетизация общественных отношений диктовали новые условия, новые ценности, превращая среди прочего и эрос в выгодный товар. Однако и без того на протяжении человеческой цивилизации завуалированная или откровенная эротика в искусстве и литературе почти всегда была в спросе, повышая градус интимного и социального мироощущения, градус переживания жизни. XVIII век полностью унаследовал от века XVII модель так называемой «куртуазности», выраженную в девизе абсолютизма «Будем наслаждаться!», разве что лишь переведя ее на коммерческую основу. И хотя, если говорить об Англии, тамошний королевский двор вынужден был делиться властью с парламентом, это, по сути, не изменило бытовавших нравов, и общая их картина была здесь такой же двусмысленной, как и в тех странах Европы, где абсолютные монархии еще продолжали карнавал безудержной плоти. Несмотря на христианское порицание, человеческий «низ» в те времена одерживал победу за победой над «верхом», и жизнь во всех слоях европейского общества шла под знаком чувственности и гедонизма. Пожалуй, наиболее ярко этот феномен отражен в изобразительном искусстве Европы XVII–XVIII вв., но и литература не осталась в стороне. Другое дело, что ей в силу специфики печатного слова приходилось в большей мере считаться с охранительной системой мягких условностей и жестких запретов, постулирующих внешнюю, во многом циничную, сторону отношений государства и его граждан. Так, литературные «исповеди» блудниц и грешниц должны были по библейскому образцу Марии Магдалины непременно заканчиваться благодатью искреннего покаяния. Или же поддавшийся искушению «низом» герой по неписаным законам рапортовал читателю о преодолении искуса и торжестве «высокой нравственности». Так в облатке условного ханжества преподносилась истина.

В опубликованных «Путешествиях Лемюэля Гулливера…» можно прочесть: «Часто они [фрейлины – И. К.] раздевали меня донага и голого клали себе на грудь, *что мне было очень противно…»*. «Они раздевались донага, меняли сорочки в моем присутствии, когда я находился на туалетном столе перед их обнаженными телами; *но я уверяю, что это зрелище совсем не соблазняло меня и не вызывало во мне никаких других чувств, кроме отвращения и гадливости…»* «Самая красивая из этих фрейлин, веселая шаловливая девушка, шестнадцати лет,

иногда сажала меня верхом на один из своих сосков и заставляла совершать по своему телу другие экскурсии, но читатель разрешит мне не входить в дальнейшие подробности. *Это до такой степени было неприятно мне, что я попросил Глюмдальклич придумать какое-нибудь извинение, чтобы не видеться больше с этой девицей.»* (Курсив наш – И. К.; Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера. М., 1980). Прямо скажем, в подобную реакцию Гулливера верится с трудом, особенно после того, как сам он называет великанов «красивой расой». И тем более странно, когда ее выказывает здоровый, любознательный и стремящийся, как все путешественники, к новым впечатлениям представитель мужского пола. Логично было бы предположить, что через приемы мнимого осуждения, через напускное ханжество своего героя Свифт пытался сохранить в тексте хотя бы фрагменты своего подлинного сатирического полотна, передающего неприемлемые для официального мнения черты действительности. Однако после ознакомления с ранее неизвестной рукописью становится совершенно очевидным, что в опубликованной версии мы имеем дело не с авторскими уловками, а скорее с не заделанными швами, оставшимися после безжалостных редакторских ножниц.

Нелишне напомнить, что как представитель века Просвещения, высоко чтившего Природу и считавшего Человека естественной частью ее, Свифт полагал человеческий «низ» равноправным по отношению к другим частям тела. У него есть даже сочинение под названием «Human Ordure» («Человеческие экскременты»), в котором автор со знанием дела описывает содержимое выгребных ям, производимое разными сословиями дублинцев.

Тем значимей представляется нам оказавшееся в нашем издательстве произведение, видимо, доработанное Свифтом после неудавшихся попыток опубликовать «Путешествия Лемюэля Гулливера…» в полном объеме. Кстати, в свете новых материалов абсолютно несостоятельной выглядит версия английского литературоведа Генри Морли, касающаяся этимологии слова «лилипут», якобы производного от английского слова «маленький» (little) и слова «испорченный, грязный» (put, putta, pute), взятого из языков романской группы (оттуда же происходит и новейшее русское сленговое заимствование «путана» – то есть шлюха). Нет, Лилипутия Свифта – отнюдь не страна испорченных порочных человечков – картина двенадцатикратно, как в перевернутой подзорной трубе, уменьшенного мира, много сложней и противоречивей, как вообще любая картина жизни. В этой ее многозначности и проявляется мудрость автора, исповедующего принципы естественности всего живого. Джонатан Свифт отнюдь не моралист и весьма далек от навязываемых ему односторонних оценок. Не выдерживает критики и предложенная этимология слова Бробдингнег, якобы представляющего собой анаграмму из слов grand, big, noble – большой, крупный, благородный – (А. Аникст). Похоже, что свифтологи выступают здесь в тогах тех ученых мужей, над которыми иронизирует в своих «Путешествиях…» сам Свифт. В порядке филологической игры предлагаем читателям самим поискать свои собственные смысловые ключи к названиям других стран, где побывал наш неутомимый и любознательный путешественник Гулливер – Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдробдриб. Не проще ли предположить, что тут для Свифта был важен эффект фонетической экзотики, вызывающий смех. А код смеха едва ли можно расшифровывать…

Хорошо известно, что Свифт был крайне недоволен тем, как издатель Бенджамин Мотт выпустил его «Путешествия Лемюэля Гулливера…». Мотту был представлен список опечаток и пропущенных мест, но и в последующих моттовских изданиях искаженные или пропущенные места так и не были восстановлены. В четырехтомном издании «Путешествий Лемюэля Гулливера…», выпущенном в 1735 году в издательстве Фолкнера, ряд ошибок был исправлен, но пропуски (и весьма существенные) так и остались невосполненными.

Изъятые Моттом и впоследствии переработанные Свифтом главы хранились в архиве Ч. Форда, который, по утверждениям биографов знаменитого сатирика, и поддерживал отношения с издателями. Кстати, «Лапутия», содержащая наиболее острую сатиру на современную Свифту Англию, была опубликована Фордом же уже после смерти ее автора и тоже вышла в свет со значительными изъятиями и переработкой издателя.

Свифт умер в 1745 году. Неопубликованные части рукописи, видимо, в конце семидесятых годов XVIII века, были проданы Федору Каржавину. Резонно предположить, что Каржавин после успешной публикации в России перевода «Путешествий Лемюэля Гулливера…»,

сделанного его дядей, намеревался осуществить новое, полное издание. Намерениям его, по понятным причинам, не суждено было осуществиться.

Роман «Путешествия Лемюэля Гулливера…» по выходе в 1726 году быстро завоевал популярность и был сразу же переведен на несколько европейских языков, в том числе на французский и немецкий. Известно, что немецкая версия «Путешествий Лемюэля Гулливера…» имелась у Ломоносова. Издательский успех книги породил не одно подражание. Так, спустя лишь год после первого издания в Англии вышла подделка «A Voyage to Cacklogallinia» (1727), переведенная в России в 1770 году, то есть еще до самих «Путешествий Лемюэля Гулливера…». Книга называлась «Путешествия Самуила Брунта в Кеклогалинию, или в Землю петухов», автором ее был указан Д. Свифт…

Относительно корректное издание «Путешествий Лемюэля Гулливера…» увидело свет лишь в 1922 году, в Лондоне, но редактору, опиравшемуся на сохранившийся благодаря Ч. Форду экземпляр первого издания «Путешествий Лемюэля Гулливера…» с исправлениями и пометками, внесенными рукой Свифта (в настоящее время этот раритет находится в Англии, в Музее Виктории и Альберта), по-видимому, не было известно о том, что рукопись опубликована далеко не в полном объеме. Можно допустить, что сам факт существования и продажи части рукописи был по тем или иным причинам Фордами скрыт.

* * *

Главным же мотивом обращения наследника к нам оказалось завещание Федора Каржавина, желавшего, чтобы утаенное от современников великого памфлетиста Англии сочинение впервые увидело свет в России, когда она освободится от цензуры. Кстати, А. С. Пушкин предрекал, что первым, кого опубликуют в бесцензурной России, будет Барков. Так оно и оказалось. Свобода слова проверяется на деле отношением к вербальному выражению эроса.

Нас, естественно, в первую очередь волновал вопрос подлинности предложенной нам рукописи. На ней нет имени Свифта, хотя, как хорошо известно, во избежание неприятностей он собственным именем и не подписывал свои «Путешествия…» (отсюда же появление в рукописи вымышленного публикатора записок Гулливера – некоего Ричарда Симпсона, его «старинного и близкого друга»). Выяснилось, что из-за неправильного хранения большая часть белового автографа утрачена, и текст дошел до нас лишь благодаря тому, что еще в первой половине XIX века был тщательно переписан кем-то из наследников Федора Каржавина. От глав, написанных рукой самого Свифта, осталось лишь сорок девять разрозненных страниц. Контекстуально они коррелируют с остальными страницами копии.

Проведенная экспертиза подтвердила, что перед нами подлинник, после чего было принято решение о его приобретении. Ныне эта рукопись является собственностью Института соитологии и находится в специализированном хранилище в Швейцарии.

Готовя русский перевод неизвестных страниц «Путешествий Лемюэля Гулливера…» к печати, мы решили не объединять широко известный текст «Путешествий…» с новым, поскольку рукопись, переданная нам, явно готовилась Свифтом для издания в качестве самостоятельного приложения -комментария к уже вышедшим в свет «Путешествиям Лемюэля Гулливера…».

Работая над переводом новых глав «Путешествий Лемюэля Гулливера…», мы, естественно, обращались к имеющимся переводам на русский язык традиционного корпуса, из которых выгодно отличается перевод под редакцией А. А. Франковского (в его основу лег перевод, осуществленный еще в конце XIX века П. П. Кончаловским и В. И. Яковенко). Для сравнения: в выдержавшей немало изданий версии Б. М. Энгельгардта, сделанной для юных читателей, естественно, прослеживается тенденция смыслового упрощения оригинала. Как следствие при этом зачастую страдает и своеобразный юмор автора. Вот, например, эпизод из VI главы «Путешествия в Бробдингнег», связанный с изготовлением Гулливером кресел из волос королевы. Перевод: «Я сказал, что скорее предпочту умереть, чем присесть на драгоценные волосы, украшавшие когда-то голову ее величества». Однако в оригинале читаем: «… I would rather die a thousand deaths than place a dishonourable part of my body on those precious hairs…», то есть – «Я бы предпочел тысячу раз принять смерть, чем ПОМЕСТИТЬ НЕДОСТОЙНУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ТЕЛА на эти драгоценные волосы…». Разница

существенная. Оригинал «Путешествий…» интонационно и лексически острее. Кстати, один из классиков английский литературы XX века Сомерсет Моэм считал, что «проза Свифта – это тот идеал, подражая которому современный английский писатель может найти свой собственный стиль».

Канонические «Путешествия Лемюэля Гулливера…» хорошо изучены и досконально прокомментированы, в том числе и в русском литературоведении. Названы и предполагаемые источники, которые могли дать толчок сатирической фантазии Свифта. Среди них это «Комическая история государств…» французского писателя XVII века Сирано де Бержерака и, конечно, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле (XVI в.). Однако впервые публикуемые нами ранее неизвестные главы «Путешествий Лемюэля Гулливера…» рождают новые литературные реминисценции и аллюзии, заставляя нас вспомнить не только, скажем, «Декамерона» Боккаччо, но и некоторые образцы античной литературы, зафиксировавшей свободу нравов своего времени в лексике, которая для большинства наших современников может показаться непристойной. Многим, конечно, известны имена Апулея, Аристофана, Катулла, Марциала, Петрония с его «Сатириконом» или же Лукиана, но не все знают, что в переводе на русский язык эти авторы порой до неузнаваемости выхолощены, и что только сейчас усилиями нового поколения переводчиков их произведениям возвращаются подлинные краски. Для нас представляется безусловным, что именно благодаря античным аналогам Свифту удалось создать столь впечатляющую панораму человеческих отношений.

Вместе с тем следует признать, что «Путешествия Лемюэля Гулливера…» почти утратили свою политическую актуальность, длинные рассуждения по поводу того или иного государственного устройства утомительны, и большинство критических и сатирических стрел ныне направлены в никуда. Но так же верно и то, что многие страницы бессмертного романа Свифта воспринимаются на удивление свежо и даже злободневно. Особенно это становится явным теперь в связи с нашей находкой…

Итак, перед нами неизвестные главы из «Путешествий Лемюэля Гулливера…», значительно дополняющие традиционную версию, давно и не совсем справедливо причисленную к детской литературе. Данную публикацию «Путешествий…» мы намеренно назвали «Эротические приключения Гулливера», дабы сразу предупредить читателя, что эта книга отнюдь не для детей и юношества.

Так или иначе, нынешним читателям предстоит открыть для себя совершенно иного Свифта. В письме от 29 сентября 1725 года Свифт писал своему другу поэту А. Попу по поводу «Путешествий Лемюэля Гулливера…»: «Они появятся в печати, когда человечество заслужит их…».

280 лет назад написаны эти слова, и 260 лет минуло с того дня, как ушел великий писатель. Путешествие подлинного Гулливера к читателям оказалось долгим. Надеемся, что человечество заслужило знакомство с ним.

Игорь Куберский,
заведующий кафедрой
лингвистической соитологии
Института соитологии

Санкт-Петербург,
Июль 2005 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛИЛИПУТИЮ



Я, Лемюэль Гулливер, родившийся третьим из пяти детей в семье скромного землевладельца из Ноттингемпшира, вволю постранствовал по свету сначала в качестве судового врача, а потом и капитана. Я был удачлив, и судьба благоволила ко мне, а потому я сумел возвратиться домой, повидав немало чудес, о которых решил рассказать соотечественникам, дабы и они, как ни слаб мой писательский дар, смогли бы узнать о том, что творится в тех отдаленных уголках земли, где мне посчастливилось побывать.

Мои записки были отданы издателю, имя которого да не осквернит сии страницы, ибо опубликованный им текст имеет такое же сходство с оригиналом, какое добрый кусок говядины может иметь с таковым же, но побывавшим в желудке и естественным образом вышедшим наружу. И если меня пощадили стихии природы, то я стал жертвой английских издателей, которые сделали Лемюэля Гулливера, отважного путешественника и натуралиста, простофилей и недотепой, выставили его не творцом собственной судьбы, а этаким плывущим, выражаясь фигурально, по течению неудачником и пассивным наблюдателем чужих жизней.

Кто-то может сказать, что благодаря им, моим издателям, я стал знаменит на весь мир. Но разве о такой славе я мечтал, отправляясь в дальние странствия?! Нынешняя моя знаменитость сродни геростратовой. Известность Иова многострадального, который оказывается то пленником у лилипутов, а то вдруг игрушкой у бробдингнегской девочки… Но хочу заверить любезного моего читателя, что всюду и везде, даже в самых невероятных обстоятельствах, я жил, сообразуясь с теми потребностями, которые заложил в нас Творец. Я всегда был Лемюэлем Гулливером, коего имею честь представить вам в этих записках, и куда бы ни бросала меня судьба – то ли в страну лошадей, то ли в землю лапутян, а также в земли Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдробдриб – оставался верен себе. Я надеюсь, что читателю не составит труда разобраться, где правда, где ложь, какой из двух Гулливеров настоящий, а какой создан потугами завравшихся и в то же время боязливых издателей.

Я не принадлежу ни к киникам, ни к сибаритам, ни к гедонистам и ни к каким другим языческим сектам. Но я как врач знаю, что мы наделены чувственностью и желаниями, без проявления коих перестаем быть теми, кем создал нас Творец. А я, Лемюэль Гулливер, всегда оставался самим собой. И уж тем паче, когда судьба на долгие месяцы, а то и годы забрасывала меня в дотоле неведомые страны.

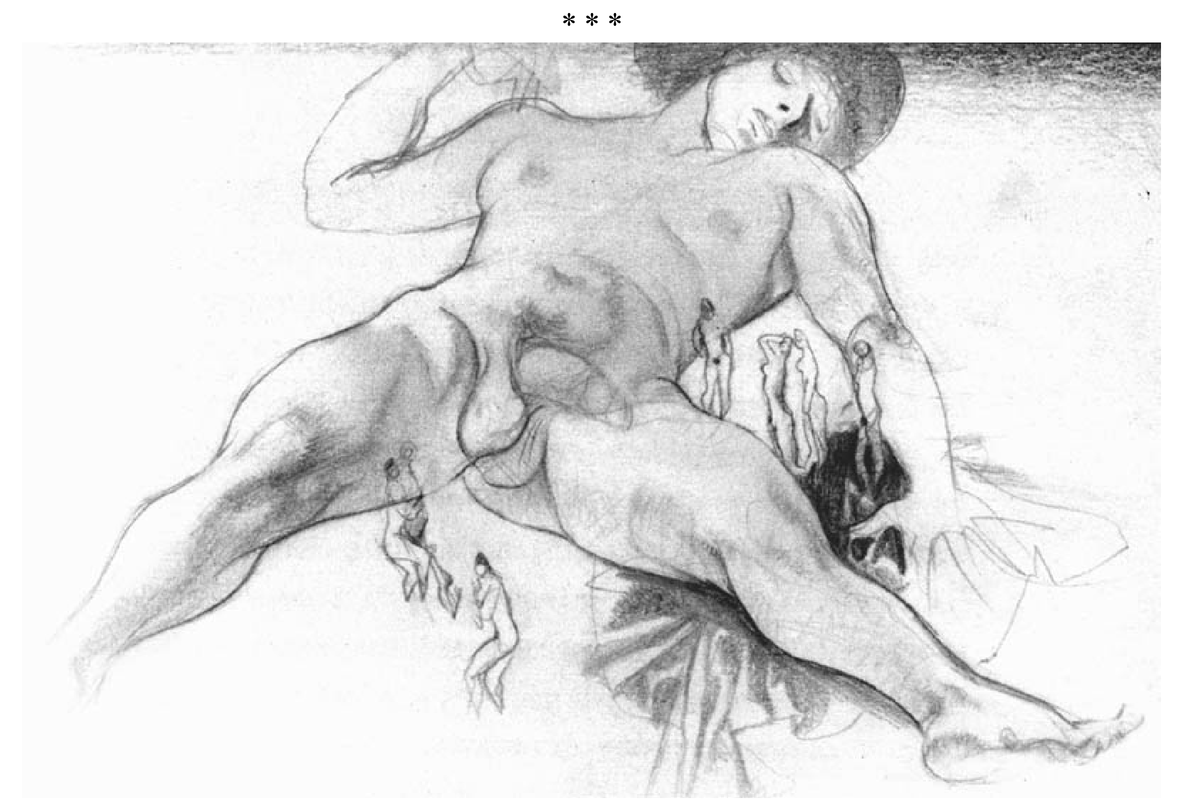
Долго после появления первого издания моих записок закидывал я письмами книжные дома, желая опубликовать мой труд в его оригинальном виде или хотя бы издать дополнение к нему.

Но тщетно! Ответом мне неизменно были лицемерные объяснения, ссылки на общественную нравственность, на якобы неприятие обществом того «рискованного стиля», в котором написано мое скромное творение, и прочая, прочая, прочая.

Что ж, пусть они остаются при своей ханжеской морали, а я убежден, что когда-нибудь (хотя бы и после моей смерти) правда восторжествует: эта рукопись увидит свет, и я предстану перед читающей публикой таким, каким был. Не конквистадором, огнем и мечом покоряющим слабых, не безжалостным морским пиратом, не размазней в кармане девочки-великанши, а тем самым Лемюэлем Гулливером, который всегда продолжал жить так, как того требовали от него законы божеские и законы природы, которые суть едины. Впрочем, судить вам, моим читателям.

Итак, перед вами рукопись, которая дополняет то, что вам уже известно про меня и приоткрывает завесу над тем, что первые мои издатели сочли оскорбительным для нравов английской публики.

* * *



…Шел второй месяц моего пребывания в Лилипутии. Срок, согласитесь, немалый и вполне достаточный, чтобы я привык к моему новому положению, оправился от потрясений, вызванных кораблекрушением и пережитыми мною опасностями. Смешную цепь, которая все еще висела у меня на ноге, при моем на то желании я мог бы разорвать в считанные мгновения, но с юных лет я взял себе за правило: к силе прибегай лишь в крайних случаях, когда имеется угроза твоей жизни. Длины цепи хватало, чтобы дойти до выгребной ямы, которую с моей помощью вырыли для меня отряженные в первый же день пятьсот землекопов, непрерывно трудившихся три дня и три ночи. Будь у меня подходящий инструмент, сам бы я управился с этой работой куда как скорее, но в отсутствие такового пришлось ограничиться лишь посильной в моем положении помощью этим не знающим устали труженикам – я доставал из ямы нагруженные землей бадьи, опорожнял их за ближайшим пригорком и возвращал в яму, что для меня не составляло труда (бадьи эти были размером с хорошую пивную кружку), а моим землекопам сэкономило дня три работы.

Поселили меня в башне, которую начали возводить по приказанию одного из первых лилипутских императоров. Амбиции его были таковы, что башня, по ее завершению, должна была проткнуть своим шпилем самое небо, что непременно и случилось бы, достигни сие сооружение той высоты, на которой настаивал император. Однако этого не произошло по независящим ни от императора, ни от его подданных обстоятельствам: строительство пришлось прекратить из-за нехватки строительных материалов, невозможности поднимать их на ту высоту, которой к тому времени достигла башня, и из-за бесперспективности

затеянного предприятия, которая стала очевидна с приходом к власти следующего императора. Башня так и осталась стоять символом невоплощенных амбиций и грандиозных притязаний.

Наконец, после аудиенции, которой удостоил меня Его Императорское Величество и о которой читателю известно из моих изданных прежде записок (в этой малой части мои издатели не отступили от истины), цепь с моей ноги сняли, и мне была предоставлена свобода, хотя и не без известных оговорок и ограничений. Однако я понимал, что оговорки и ограничения сии обусловлены необходимостью, и не возражал против их проведения в жизнь, которая, впрочем, и после этого не стала особенно разнообразной – лилипутскую столицу я обошел за полчаса, а через неделю знал ее не хуже родного поместья, где провел первые и самые счастливые годы своей жизни. Обладай я менее оптимистическим нравом, может быть, я и сник бы, стал бы хандрить, но неизменный мой жизнерадостный взгляд на мир помог мне и в той, казалось бы, безвыходной ситуации.

Этот взгляд на мир мне помогло расширить одно чудесное изобретение, которое я не напрасно утаил от обыскивавших меня в первые дни императорских чиновников. Я веду речь о подзорной трубе, которая вскоре оказалась мне очень кстати. Вечерами я наводил ее на окна городских домов – всего-то в каких-нибудь двадцати ярдах от меня – и обнаруживал там много замечательного. Ни мои оглядчивые (дабы не наступить на какого-нибудь зазевавшегося лилипута) путешествия по столице, ни уроки моего мудрого наставника Тоссека (который по повелению императора читал мне лекции по истории и нравам Лилипутии) не обогатили мои знания в той мере, в какой я пополнил их, глядя в окуляр, многократно приближавший меня к подданным Его Императорского Величества.

Господь простит мне мою бесцеремонность. То, чего я никогда не позволил бы себе в своей отчизне, где дом англичанина – его крепость, здесь казалось мне допустимым и даже похвальным, ведь двигало мною не простое любопытство, а любознательность исследователя и путешественника, без которых не было бы и этих записок.

Должен сказать, что интересовали меня в первую очередь не архитектурные достоинства и не красоты природы, а сами жители. Я долго изучал быт лилипутов, их семейные привычки, атмосферу в их домах, и с помощью моего наставника мне, в конце концов, удалось составить достоверное представление об их образе жизни, чем и намереваюсь поделиться с моим читателем. Не могу обойти молчанием некоторые особенности семейной жизни в Лилипутии, рассказ о которых может быть поучителен и для наших соотечественников.

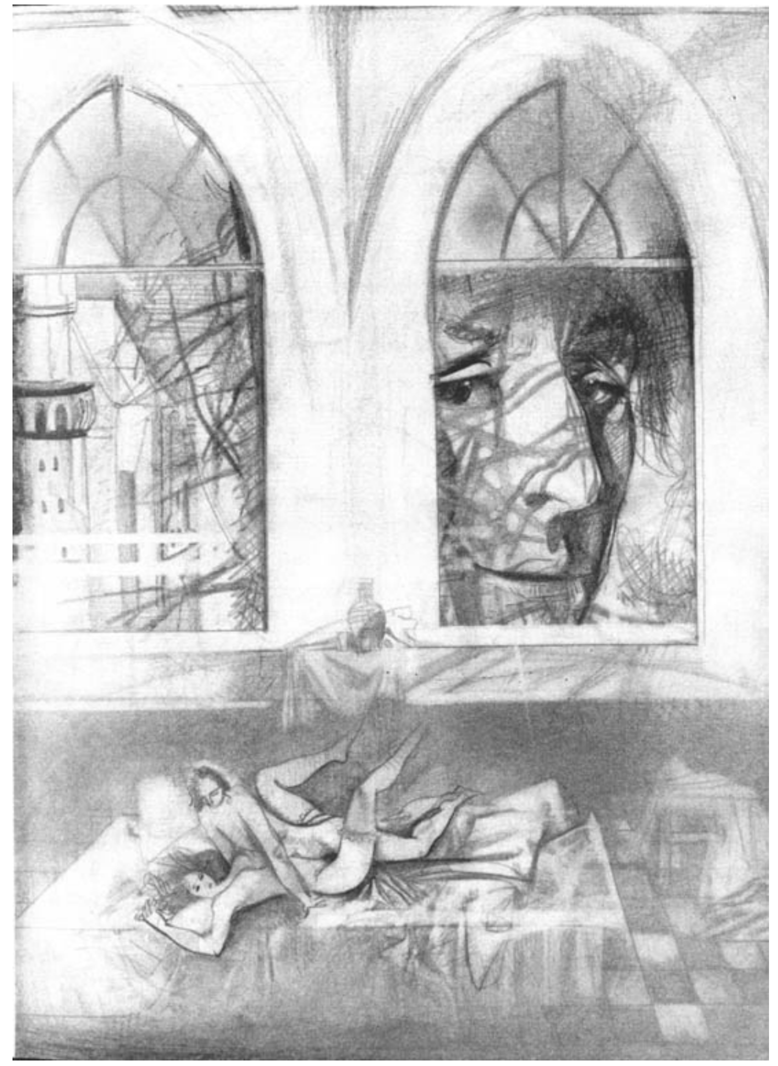
Семья в Лилипутии является основой общества. Моя подзорная труба позволяла мне получать зрительное подтверждение того, что я слышал от моих собеседников: лилипуты, как мужчины, так и женщины, превыше всего ставят семейное благополучие. Нет для лилипута ничего важнее, чем домашний очаг с его тихими радостями. Лилипутки с удовольствием (не меньшим, чем любезные моему сердцу обитательницы одного веселого заведения, – о которых речь чуть ниже, – делающие это не только по обязанности и за деньги, но еще и из любви к искусству) исполняют супружеские обязанности, а лилипуты не считают за труд требовать этого от своих дам по два-три раза на дню.

Наблюдая за тем, что происходит в лилипутских спальнях, я не раз вспоминал английское выражение тютелька в тютельку[1], удивляясь чуть ли не ювелирным движениям супруга и не менее филигранным ответам супруги. Каждый вечер за закрытыми дверями тысяч и тысяч домов шла тончайшая работа, требовавшая от исполнителей такой высокой точности, что, ошибись они хоть на малую долю дюйма, это могло иметь самые трагичные последствия для деликатнейшего инструмента, каковой был в распоряжении лилипута мужеского пола. Казалось, он тонок настолько, что одно неверное усилие, одно неправильное напряжение, и он придет в негодность. Но, видимо, природа позаботилась о том, чтобы сие орудие труда, на вид непрочное и хрупкое, на деле обладало крепостью достаточной, чтобы оставаться целым и невредимым и после столь, казалось, небезопасного, хотя и приятственного занятия.

Однако спустя время, когда я значительно расширил свой жизненный опыт, побывав и в других чудесных странах, пришло мне в голову, что может быть и наши – мои и моих

[1] В оригинале to a T. – *Прим. перев*

соотечественников – причинные места кому-то могут показаться тонкими и ломкими, тогда как мы пользуемся ими, не задумываясь об опасностях, которыми якобы чревато наше погружение в тот лакомый сосуд, который особенно нас манит и не дает нам покоя в дни наших странствий.



Впрочем, не буду отвлекаться – продолжу свой рассказ о лилипутских семейных традициях. В Лилипутии поощряется многодетность. И заботы Его Императорского Величества и все государственное устройство нацелено на увеличение народонаселения. Лилипутские матери, родившие более пяти детей, записываются в особую книгу почета, хранящуюся при дворе Е. И. В., а те, кто пополнил народ лилипутский более чем на семь персон, получают право ежелунно целовать руку Е. И. В. – милость неслыханная, поскольку даже не каждый нардак, кои пользуются самыми обширными привилегиями, удостаивается такой чести.

Естественно поэтому, что все лилипутки стремятся нарожать детей побольше. Законы этому благоприятствуют. Так, поощряется то, что по английскому праву могло бы быть квалифицировано как супружеская измена, поскольку считается, что это будет способствовать приросту населения – ведь лилипут издавна на чужой жене был и ловчее, и расторопнее. Однако если отличившийся на этом поприще лилипут может даже быть представлен к первому дворянскому званию, то лилипутка, нарушившая супружескую верность, может быть подвергнута остракизму и суду общественности.

Однако вернемся к моим наблюдениям. Как бы ни был интересен быт простых лилипутов, больше всего привлекли меня окна стоявшего особняком двухэтажного дома. Он жил какой-то своей, не похожей на другие дома жизнью. Постоянными его обитателями были двадцать-двадцать пять лилипуток, а лилипуты мужского пола были лишь приходящими посетителями. Я сразу признал в этом заведении аналог наших веселых домов, каких немало в портовых городах, куда сходят на берег изголодавшиеся за долгие переходы моряки.

Я с интересом изучал жизнь этого дома. Лилипуты-посетители приходили в общую залу

внизу и, посидев там немного, поднимались наверх – в отдельные комнаты с одной из лилипуток (прехорошеньких, насколько я мог судить). Мне даже было видно, *что* происходило в некоторых из этих комнаток… Все знакомо. В этом смысле мы мало чем отличались от лилипутов, которые, видимо, принадлежат к одной из разновидностей человеческой расы и близки нам не только по общей морфологии (да простят мне мои читатели этот научный термин – ведь немало лет провел я в университетских аудиториях, получая знания, чтобы стать практикующим врачом), но и в сущностных проявлениях.

Мои наблюдения за жизнью веселого дома не замедлили дать о себе знать естественным для такой ситуации образом. Впрочем, они лишь ускорили то, что зрело уже несколько недель и так или иначе готово было заявить о себе со всей неотложной силой.

Вот уже который день, засыпая под своим тоненьким одеялом, видел я мой уютный дом в Ноттингемпшире, мою милую жену, ее хорошенькие губки, полненькие грудки, которые она даже во время наших любовных утех стыдливо пыталась прятать от меня. Мне снилось, как я ласкаю ее, ищу рукой ее трепетные интимные места, так часто увлажнявшие мои пальцы обилием желания. И каждый раз, как только я доходил до дела, обнаруживалось, что это только сон, и я просыпался, не солоно хлебавши, а моя плоть грозила прорвать тоненькое лоскутное лилипутское одеяло. По утрам я говорил себе, что если не найду способа удовлетворить свое естество, то это может обернуться для меня самыми серьезными осложнениями (как врач я знал, какими неприятными последствиями грозит столь длительное воздержание здоровому организму).

Наконец я, кажется, нащупал решение. Это случилось ночью после очередного моего экзальтированного пробуждения, когда то, что я пытался схватить рукой, в очередной раз оказалось фикцией моего расстроенного воображения.

На следующий день я едва дождался прихода Тоссека – моего наставника и проводника по лилипутским премудростям жизни. Моих знаний лилипутского языка уже вполне хватало, чтобы объяснить ему суть моих желаний. Впрочем, слова я подкреплял жестами, не оставлявшими сомнений в моих потребностях. А чтобы уж окончательно расставить точки над «i», я поднес моего друга к подзорной трубе, направленной на одно из окон веселого дома. Сначала он пришел в ужас, увидав прямо перед собой то, что, по его понятиям, находилось чуть не на другом краю света, но когда я рассказал ему о назначении и свойствах сего полезного предмета, он успокоился. Но поняв, чего я добиваюсь от него, он выразил свое недоумение. Я бы тоже недоумевал на его месте – я ведь и сам еще не знал, как утолить переполнявшие меня желания, просто был уверен, что жизнь и немалый опыт подскажут правильное решение. Впрочем, я поспешил заверить моего друга, что в мои намерения не входит причинение кому-либо вреда, и гостья, которая окажет мне честь, уйдет от меня в добром здравии и на своих ногах. Он покачал головой, но все же сказал, что вечером с заходом солнца доставит мне одну из красоток, обитающих в двухэтажном домике. Таксу он назвать поостерегся, потому что затруднялся сказать, сколько могут попросить за столь диспропорциональные услуги. Впрочем, лилипутские деньги у меня были в достатке. Император в счет изъятых у меня нескольких золотых гиней одарил вашего покорного слугу кошельком, в котором было без счета тоненьких, чуть не прозрачных золотых монеток, ходивших в Лилипутии.

Я с нетерпением ждал вечера, и никакие уроки в тот день не шли мне в голову, хотя я и выучил с десяток-другой слов, которые, по моим представлениям, должны были мне понадобиться в тот вечер; среди них такие, как тнюк, клинис, петор, морзаг, кюф и некоторые другие, перевод которых я намерен предоставить читателю в задуманном мною лилипутско-английском словаре. А среди выражений, которыми я обогатил свой лилипутский лексикон в тот день, были, например, такие: «Сгораю от желания», «Облегчите мое бедственное положение», «Спасите несчастного путешественника». Мой наставник был как всегда благорасположен ко мне и пылал желанием по мере своих возможностей помочь в осуществлении затеянного мною предприятия. Должен сообщить любезному моему читателю, что я с молодых ногтей отличался женолюбием, сильнее которого во мне была лишь тяга к странствиям. Два этих противоречащих друг другу желания непонятным образом уживались во мне, доставляя нередко не только счастливые, но и мучительные минуты:

длительные морские переходы приносили мне в отсутствие женского общества немалые страдания, а женское общество на берегу скоро приедалось, потому что душа моя начинала рваться в морские просторы.

Наконец наступил долгожданный вечер, и я, нетерпеливо приникший к окошку моего обиталища, увидел, как по улочке в мою сторону направляются мой наставник и закутанная в плащ особа (о том, что это была именно особа, я, невзирая на ее малые размеры, безошибочно догадался по походке: лилипутские женщины, как и наши, ходят, чуть покачивая бедрами). Пара вошла в гостеприимно распахнутую мною дверь, но мой друг, отвесив поклон, тут же куда-то исчез, оставив меня наедине с той, которую я так трепетно ждал.

Я протянул вперед ладонь, положив ее тыльной стороной на пол, приглашая тем самым даму ступить на нее. Видимо, она была наслышана о моем добром нраве, потому что без всякой опаски запрыгнула мне на ладонь, одновременно скидывая с себя плащ. Я поднес ее поближе к своему лицу. Она оказалась прехорошенькой блондинкой (впрочем, все лилипутки казались мне прехорошенькими, как впоследствии и бробдингнежки. Не могу объяснить это одним своим женолюбием – и те, и другие и в самом деле были очаровательны…). На ней было платье с глубоким вырезом, туго стянутое в талии и заканчивавшееся чуть ниже колен (в моем отечестве это сочли бы недопустимой вольностью); оно подчеркивало великолепные пропорции моей гостьи, ее пышный (конечно, только по лилипутским представлениям) бюст, который, казалось, готов был вырваться наружу, что он и сделал в скором времени к моему удовольствию.

Я представился, сказал, что для меня большая честь принимать столь прекрасную молодую особу. Незнакомка в ответ соблазнительно улыбнулась. Мои комплименты были ей явно по душе.

Потом я, как умел, объяснил ей, что хотя я и кажусь им, лилипутам, человеком-горой, но гору эту одолевают те же желания, что и всех людей. А поскольку я вот уже второй месяц (которому предшествовало трехнедельное плавание) пребываю в чужой стране и до сего дня не имел возможности удовлетворить свои желания, то состояние мое в данный момент близко к отчаянию. Конечно, объясняя все это моей гостье, я не был так красноречив, как теперь, рассказывая о тех событиях моему любезному и заинтересованному читателю. Оно и понятно – мой лилипутский был далек от совершенства. Однако гостья моя оказалась девицей сообразительной. Она сказала, что счастлива была бы помочь мне, да вот только ввиду наших диспропорций не представляет себе, как бы это могло быть возможно. Вот если бы я был таким маленьким, как она, а она – такой большой, как я, то худо-бедно из этого и могло бы что-то получиться. (Ах, моя умненькая маленькая подружка! Она словно в воду смотрела – прошло не так уж много времени, как именно в такой ситуации я и оказался. Однако не могу сказать, что, будь у меня возможность выбора, я бы выбрал ту – вторую. У обеих есть свои плюсы и, к глубочайшему моему сожалению, минусы.) Я поспешил заверить ее, что существуют и другие – отнюдь не членовредительские – способы удовлетворить мои желания, и ежели она не против, то мы могли бы их опробовать ко взаимному удовольствию. Она выразила свое согласие, и мы без лишних слов приступили к делу.

Я поставил свою маленькую подружку на подобие табурета, приготовленное мной некоторое время назад для путешествий по городу (становясь на это приспособление, я, как знает читатель, без труда преодолевал дворцовые и прочие городские стены), и в доказательство насущности моих желаний выпростал из штанов то мое орудие, что вот уже несколько дней не давало мне покоя.

Тут произошло неожиданное. Моя гостья побледнела, зашаталась и лишилась чувств. Я едва успел подхватить ее, потому что она чуть было не упала с табурета вниз.

Я подул на ее лицо, побрызгал холодной водой из стоявшего в углу лилипутского бочонка.

Краска стала понемногу возвращаться на ее щеки. Через минуту она смогла сесть, а еще через минуту уже уверенно держалась на ногах. Это был обычный обморок. Надо полагать, увиденное произвело на нее столь сильное и ошеломляющее впечатление, что кровь отхлынула от головы и произошла естественная в таких случаях временная потеря сознания.



Однако моя гостья быстро приходила в себя, косясь глазом на мой инструмент, продолжавший оставаться поблизости – на том же табурете, перед которым мне пришлось встать на колени.

Когда, наконец, на ее губах заиграла обычная для нее любезно-услужливая улыбка, свидетельствовавшая о том, что сознание вернулось к ней в полной мере, я предложил ей разоблачиться, а сам, вооружившись своей подзорной трубой, принялся изучать особенности ее конституции, и уверяю любезного моего читателя, делал я это отнюдь не как бесстрастный исследователь, врач и анатом, каковым имею честь быть. Сквозь стекло все в моей гостье приобретало привычные нам, людям моего роста, пропорции, все – вплоть до самых интимных ее мест, вызывавших жгучее мое любопытство.

Моя гостья охотно демонстрировала мне свои прелести, а сама продолжала коситься на мой инструмент, расположившийся в соблазнительной близости от нее и изнемогавший от желания, которое становилось тем сильнее, чем дольше я вглядывался в эти бесконечно знакомые мне формы, столь зовущие и томительные.

Как человеку, немало повидавшему в этой жизни, мне не стыдно признаться, что зрелище сие, которое было мне отнюдь не в новинку, произвело на меня впечатление неизгладимое.

Ах, как хотелось мне хоть на несколько мгновений стать таким же маленьким, чтобы эти грудки и прочие сладости были доступны мне в полной мере. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что мое обладание ими, какие бы формы оно не приняло, будет довольно условным и относительным. И в самом деле – проникнуть в это зовущее лоно, столь похожее на лоно моей любезной женушки, было для меня так же невозможно, как пройти верблюду через игольное ухо.

Однако испуг моей гостьи давно прошел, и ей, кажется, напротив, даже не приходила в голову мысль стать такой же большой, как я, чтобы тоже получить все, что было в моих возможностях дать ей. Отнюдь. Ее даже, по всей вероятности, устраивало такое положение

дел, потому что она все с большим и большим одобрением и интересом поглядывала на то, что расположилось с нею по соседству.

Я на секунду закрыл глаза, и вдруг ощутил прикосновение крохотных пальчиков. Неописуемое блаженство! Будто какая-то райская птичка пощекотала меня своим клювиком. После столь долгого воздержания я наконец-то был близок к тому, чтобы отдать дань сладострастию.

Я открыл глаза. Теперь уже в роли исследуемого был я, а моя гостья выступала любознательным и заинтересованным естествоиспытателем. Она пробовала меня на ощупь, обходила со всех сторон, заглядывала в отверстие, засовывала туда свой малюсенький пальчик. Надо сказать, что размерами она уступала предмету ее исследований, превосходившему ее раза в полтора в длину и во столько же – в ширину. Однако это уже не пугало ее. Напротив – привлекало, и вскоре она оседлала его, как наездник жеребца. Такого восторга я еще не испытывал ни с одной из многочисленных соотечественниц, с которыми сводила меня бродяжническая судьба. Нынешнее чувство было сильнее потому, видимо, что вызывалось ощущениями гораздо более тонкими, заставлявшими всего меня трепетать от сладострастия. Впрочем, делать мне это приходилось с осторожностью, чтобы в порыве страсти не стряхнуть с себя мою гостью, которая старалась вовсю. Она даже спрыгнула на табурет и занялась моим препуциумом (тем что обычно называют крайней плотью), по мере своих слабых сил то натягивая его до упора, то ослабляя натяжение. Конечно, это требовало от нее немалого напряжения, и мне приходилось слегка помогать ей в этом занятии. Потом она снова оседлала меня и принялась ерзать и прижиматься к моему естеству, как если бы что-то мешало ей между ног, от чего она жаждала освободиться. Ее движения становились все более порывистыми и судорожными, глазки закатились, губки приоткрылись, шепча что-то неразборчивое, она тоненько постанывала, а потом ее стали бить конвульсии, которые передавались и мне, и я тоже почувствовал, как на меня накатывает неодолимая волна всего того, что накопилось во мне за прошедшие недели – оно готово было вот-вот прорваться наружу. Я едва успел приподнять мою крохотную подружку, иначе ее просто смыло бы мощным потоком, хлынувшим на табурет. Через несколько мгновений, когда дрожь в моих членах прошла, я поднес мою новую подружку к губам и как мог поцеловал ее. Не знаю, что почувствовала при этом она, но мое наслаждение было полным. Затем я погрузил ее в бочонок с водой, уже второй раз за этот вечер пригождавшийся мне, – она вся блестела от пота.

Выкупавшись, она быстро оделась, а я, тоже приведя себя в порядок, достал из кошелька несколько лилипутских монет и протянул ей. Но она категорически отказалась их принять, и насколько я понял из ее слов, готова даже была приплатить мне, что было совсем уж немыслимо. Я подумал, что найду какой-нибудь другой способ выразить ей свою благодарность (и со временем такая возможность мне представилась, о чем я еще буду иметь удовольствие сообщить любезному моему читателю). Мы простились, договорившись встретиться на следующий день в то же время и, естественно, в том же месте.

Тут появился мой наставник, который, вероятно, прятался где-то поблизости и наблюдал за нами. Поначалу я хотел было рассердиться, но потом решил – Бог с ним. Его услуги мне еще понадобятся, к тому же он вовсе неплохой парень. Правда, следующие его слова чуть было не посеяли розни между нами, но я опять сдержался, а он, поняв, что в своей готовности услужить мне зашел слишком далеко, тут же стушевался и больше никогда не выступал с подобными предложениями. А предложил он вот что: ввиду того, сказал он, что упражнения сии (невольным якобы свидетелем коих он оказался) требуют от исполнителя больших физических усилий, он готов в следующий раз привести лилипута мужеского пола, который будет рад такой возможности, потому что среди лилипутов есть такие, что любой женщине предпочтут мужчину. (По прошествии времени я выяснил, что имел он в виду не кого иного, как себя самого. Общие знакомые потом говорили мне, что замечали странности в его поведении и давно уже подозревали в нем тайного старадипа – так на лилипутском языке называют сторонников однополой мужской любви.) Но тут я сказал свое категорическое «нет», поскольку всегда считал сие противным божеским установлениям и самой природе человеческой, и моей природе в особенности, хотя и был далек от того, чтобы осуждать за это других. На этом разговор наш закончился.

Мне еще предстояло узнать, что нравы в Лилипутии довольно свободные, и хотя

начальство и пытается насаждать нравственность, как уж там они ее понимают, население да и сами власть имущие таковой не следуют; одобряя мораль только на словах, они в реальной жизни действуют, согласуясь более со своими подспудными и явными желаниями, впрочем, как всем нам это свойственно. Правда, лилипутские традиции и нормы довольно противоречивы, что внимательный читатель уже, конечно, понял.

На следующий день я был нерадивым учеником, потому что мои мысли опять были заняты предстоящими вечерними радостями. Мой друг Тоссек иронически улыбался каждый раз, когда я отвечал невпопад или как-либо иначе демонстрировал свою рассеянность, которая была вполне объяснима – не мог я за один раз вполне утолить переполнявшие меня желания, а потому всем своим существом стремился к предстоящим наслаждениям. Тем более что изобретательное воображение подсказывало мне все новые и новые возможности, которые я был исполнен намерений воплотить в жизнь.

Поскольку в услугах моего наставника этим вечером я не нуждался, то поспешил его выпроводить как можно раньше. Оставшись в одиночестве и желая как-то занять время в отсутствие других полезных дел, я направил свою трубу на окна веселого дома.

Жизнь там как всегда бурлила. Гости, несмотря на ранний час, приходили и уходили. Обитательницы, казалось, ничуть не тяготились своими обязанностями, а даже получали от них удовольствие. Об этом свидетельствовало поведение тех из них, кто не был занят в данную минуту. В ожидании посетителя они выходили на парадное крылечко, прихорашивались, крутились перед зеркалами, то есть проявляли все признаки того доброго рвения, какового подчас не хватает нашим соотечественницам, которым я бы пожелал вкладывать в свой труд не меньше души, чем это делают их сестры в далекой Лилипутии.

Как врачу мне было небезынтересно узнать, что, хотя мы и превосходим лилипутов в размерах, но по длительности совокуплений они не уступают нам, ничуть не напоминая в этом смысле кроличью породу, спаривание которой скоротечно, как отрыжка, да простит мне читатель сие сравнение.

Я в нетерпении наводил трубу на дорожку, ведущую к моему обиталищу, но тщетно – моей вчерашней гостьи все не было. Тогда я устремлял окуляр на двери веселого дома, но из них выходили лишь лилипуты мужеского пола, по вальяжным походкам которых можно было заключить об их благодушном настроении. Наконец дверь распахнулась в очередной раз, и из нее выпорхнула фигурка, торопливые движения которой отличали ее от других. Я тут же признал в ней мою вчерашнюю гостью, которая немедля направилась в сторону моего жилища, на ходу застегивая на себе плащ. Судя по всему, ее тоже снедало желание, хотя она и спешила ко мне, по-видимому, побывав перед этим в страстных объятиях одного из клиентов.

Я с трудом дождался ее и, когда она появилась, едва сдержался, чтобы тоже не заключить ее в страстные объятия, но вовремя остановился, представив себе, чем могут быть чреваты такие бурные проявления чувств с моей стороны для столь хрупкого создания.

Наша вторая встреча с девицей из веселого дома, с одной стороны, в немалой мере походила на предыдущую, а с другой, была в некотором роде путешествием в неизведанное, опробованием новых методов и подходов, которыми мы, ко взаимному удовольствию, могли бы пользоваться в том, что лишь на первый и поверхностный взгляд казалось мезальянсом, а на деле было гармоничнейшими из отношений, когда-либо возникавшими между представителями разных полов.

Моя подружка (пора, кстати, представить ее читателю: Кульбюль, что по-лилипутски значит «мягкая, женственная»; Кульбюль своим нравом и достоинствами полностью отвечала этому имени, что и имела возможность продемонстрировать мне неоднократно) подтвердила, что ждала нашей встречи с таким же нетерпением, как и я, хотя, в отличие от меня в последнее время, вовсе не вела монашеский образ жизни. Не хочу относить ее нетерпение целиком на счет моих мужских достоинств, но судя по всему и они сыграли некоторую роль.

Мы сразу же приступили к делу. Кульбюль расположилась на моей ладони и по моей просьбе снова начала демонстрацию своих прелестей. Когда она садилась, я ощущал прикосновение к моей коже ее теплых ягодиц, по размеру и форме напоминавших две спелые вишенки, а когда она ложилась на живот, то ее крохотные грудки величиной с горошинки прижимались к моей

грубой ладони. От этих касаний я распалялся все сильнее и сильнее.

Наконец она попросила и меня предоставить к ее исследованию то, от чего она имела намерение получить удовольствие, и, расположившись на табурете рядом с моим громадным (нет-нет, я ничуть не преувеличиваю своих достоинств; мой детородный орган, свидетельствую об этом как врач, имеет по нашим меркам довольно средние размеры, однако по соседству с ней он действительно казался огромным, как хобот слона рядом с удивленной трясогузкой) естеством, принялась с изумленным выражением на лице внимательно его изучать так, словно видела впервые. Она промерила его пальчиками: ее разведенные большой пальчик и мизинчик двенадцать раз уместились на измеряемом предмете, толщина которого составляла приблизительно одну треть ее высоты. Потом она, как и вчера, запрыгнула на мой детородный орган (ее ноги при этом не доставали до пола, то есть до поверхности табурета), словно лихая, бесстрашная наездница, готовая пуститься вскачь. И скачки начались. Закончились они, как и в прошлый раз, ее тоненькими стенаниями, закатыванием глазок и конвульсиями. Тут же пролился и я – семенная жидкость, невзирая на вчерашнее, скопилась во мне в таком количестве, что, казалось, могла оплодотворить весь прекрасный пол Лилипутии.

Кстати, глядя, как старается моя крошечная Кульбюль, я вспомнил любимого мной Апулея, читанного в студенческие годы на латыни. В великом его творении «Метаморфозы, или Золотой осел» есть сцена совокупления с римской гетерой героя, превратившегося в сие благородное животное. Детородные органы осла, как известно, превосходят все мыслимые и немыслимые размеры, но, имея дело с означенной гетерой, герой чувствовал, что ему чего-то не хватает. Такое же чувство возникло и у меня, когда я, глядя на старания Кульбюль, представлял себе, что мое естество вот-вот исчезнет в крохотном отверстии между ее тоненьких ножек.

Из новинок, которыми мы обогатили наш опыт в тот день, расскажу о том, что моя милая Кульбюль назвала илчак, что в переводе с лилипутского означает «качели». Суть же качелей состояла в следующем: Кульбюль обхватывала руками и ногами мой орган, а я оттягивал его вниз, а потом резко отпускал. Кульбюль, естественно, взмывала вверх вместе с моей упругой плотью, сердце у нее (как она сама потом говорила мне об этом) замирало, а ее серебряный смех разносился под сводами башни.

Однако после того как ручки моей Кульбюль как-то раз соскользнули с моей увлажненной плоти, и она полетела вниз с огромной высоты, мы прекратили эту игру. Слава Богу, я успел подхватить ее, иначе она бы кончила жизнь на каменном полу башни или, что еще хуже, осталась .бы до конца дней калекой. (Кстати, замечу: медицина в Лилипутии значительно отстает от нашей; они еще понятия не имеют о пользе кровопускания, а помощь больным ограничивают примочками, которые ставят в изобилии на все места тела и при любых болезнях – ушибах ли, желудочных расстройствах или мигренях. Впрочем, нужно отдать лилипутским врачам должное, кое в чем они все-таки преуспели и даже опережают нас. Я имел возможность убедиться в этом, познакомившись с одним лилипутом, который получил медицинское образование и практиковал в столице, пользуя пациенток из высших лилипутских кругов, даже приближенных к императорскому двору. Сколь глубоки их знания в одной деликатной ветви медицины, которая у нас пребывает в зачаточном состоянии, читатель может судить по фразе, оброненной моим коллегой во время одной нашей специальной беседы. Неглок – так звали этого ученого мужа – в ответ на мое замечание относительно слабой изученности в моем отечестве вопроса женских болезней сказал, что, пользуя своих пациенток, он исходит из следующего правила: все их жалобы на состояние здоровья в течение десяти дней предменструального симптома, десяти дней послеменструального симптома и пяти дней менструации не должно принимать во внимание, так как они суть плоды расстроенного в этот период воображения и не могут быть признаны отвечающими реальному состоянию жалобщицы. Замечу, что несмотря на малые размеры лилипуток, их менструальный цикл ровно такой же, как и у моих соотечественниц.)

Прощаясь, я спросил у Кульбюль, зачем она делала измерения моего детородного органа. На что она ответила: подружки так заинтересовались ее вчерашним рассказом, что попросили ее все выяснить и сообщить в подробностях. И теперь она сможет поведать им, что если у мужчин-лилипутов этот орган достигает длины одного кюмшлота (так называется единица

измерения, приблизительно равная расстоянию между кончиками вытянутых большого пальца и мизинца), то у меня этот размер составляет двенадцать кюмшлотов. Скажи ей об этом кто другой, добавила Кульбюль, она бы ни за что не поверила, но она видела все своими глазами и измерила этими вот пальчиками, так что сомнений на сей счет испытывать не может.

– Может быть, твои подружки пожелают лично убедиться, – сказал я, пряча свое естество в штаны. – Я буду рад принять их и представить все доказательства.

По ее надутым губкам я понял, что такая идея отнюдь не вдохновила ее; видимо, она хотела иметь все то, чем владел я, в единоличном своем распоряжении. Однако поразмыслив, она, судя по всему, поняла, что в таком разе будет являть собой некое подобие собаки на сене, так как ее возможности, как бы ни были велики желания, довольно ограничены самой природой, которая, вероятно, имела свои причины распорядиться нашими размерами так, как она ими распорядилась.

Кульбюль не дала мне ответа сразу же – о ее решении я узнал следующим вечером, на который назначил наше очередное свидание.

Кульбюль оказалась щедрой душой: хотя и скрепя сердце, – о чем она поведала мне потом в минуту откровения, – но она согласилась с моим предложением и на следующий день явилась не одна, а в сопровождении еще пяти таких же хорошеньких лилипуточек – глазки у них горели любопытством, влажные губки были чуть приоткрыты, крохотные ручки не находили себе места.

Возникшую было первоначально неловкость быстро рассеяла Кульбюль, которая, назвав мне имена своих подружек, не стала заводить светских разговоров о погоде, а без обиняков скинула с себя свои одеяния, представ передо мной в лучшем своем виде. Я быстро поднял ее на табурет и устремил вопрошающий взор на остальных девиц.

Они последовали примеру Кульбюль, хотя и несколько тушуясь, что при их профессии показалось мне несколько странным. Я был готов объяснить их такую застенчивость необычностью ситуации и клиентом, который мог представляться им и в самом деле горой (по-лилипутски «флестрин», как, конечно же, помнит мой читатель) отнюдь не в фигуральном смысле.

Наконец все они оказались на табурете перед моим жадным взором. Я осторожно прикасался к ним, ощущая их нежную кожу и выпуклости в соответствующих местах.

Потом настал черед разоблачиться и мне. Мои гостьи замерли, глядя, как я расстегиваю свои панталоны. Наконец на свет Божий появилось мое напружиненное естество… и произвело на них то же действие, что и два дня назад на Кульбюль.

Не успел я выпростать из штанов тот самый предмет, который столь интересовал их и ради которого они заявились ко мне, как все они попадали без чувств. Однако скоро они пришли в себя (холодная вода на лилипуток и на наших соотечественниц действует одинаково) и проявили такую же прыть, как и Кульбюль. Их совместными усилиями дело спорилось, да и сами они внакладе не оставались. Места всем хватало – шесть веселых маленьких наездниц разместились на одном скакуне, который рад был бы вместить еще столько же – их ягодицы-вишенки перекатывались на упругом седалище, через несколько минут пришедшем в состояние, близкое к тому, в котором находился Везувий перед гибелью Помпеи: грозило извержением, хоть и не гибельным, но довольно опасным для наездниц. А потому я с криком: «Берегись!» отгородил моих девушек стеной из двух ладоней от разомкнувшегося в сладострастии отверстия и, содрогнувшись всем телом, пролился на поверхность табурета молочным озерцом, вид которого вызвал приступ восторга у моих гостий. Они сопроводили мое излияние стонами и криками, как раненые амазонки, добивающие поверженного врага.

Через минуту я снял с табурета моих милашек, окунул их по очереди в бочонок с водой, где они весьма ловко омыли свои влажные попки, и простился с ними до следующего вечера, сказав:

– Приводите своих подружек. Места всем хватит.

В моей башне в тот вечер было светло и шумно, а вот на втором этаже веселого дома не светились шесть окон.



* * *

Что и говорить, любезный мой читатель, такой поворот событий благоприятно сказался не только на моем здоровье, но и настроении. Теперь по утрам я чувствовал бодрость и прилив сил и был готов заниматься с моим наставником, постигая премудрости лилипутского языка и образа жизни. Я питал к моему учителю самое дружеское расположение и, как выяснилось впоследствии, напрасно, потому что он был приставлен ко мне не только в качестве педагога, но и шпиона. Обо всем, что происходило в моей скромной обители, он докладывал императору, членам госсовета, а в первую очередь моим злейшим врагам – министрам казначейства и тайных дел, которые собирали материал, чтобы выставить меня в крайне неблагоприятном свете перед Его Императорским Величеством (забегая вперед, скажу, что им это удалось). Однако в то время я еще не знал о происках моих врагов, а потому был беспечен и открыт перед моим наставником, без утайки рассказывая ему о том, что происходило в его отсутствие, спрашивая у него совета в делах лилипутских любовных отношений, дабы не ударить в грязь лицом перед моими уже многочисленными подружками. Впрочем, лилипуты в делах любовных мало чем отличаются от нас, а потому в этом смысле советы моего друга (каковым я считал его тогда) мне мало чем помогли, и я стал больше полагаться на свой человеческий опыт, который меня ни разу не подвел. Говоря «человеческий опыт», я как бы противопоставляю его лилипутскому, что неверно хотя бы и с терминологической точки зрения. Лилипуты, так же как и мы, принадлежат, видимо, к роду человеческому, о чем свидетельствуют и их физическая конституция, и привычки, и общественное устройство. В этом смысле они ближе к нам, чем, скажем, африканские племена пигмеев, которые не только уступают нам в росте, но и пребывают в дикости, ни нам, ни лилипутам давно уже не свойственной. Я старался быть естественным, потакать желаниям моих подружек и не забывать о своих, и такая линия поведения оказалась самой разумной – она позволяла мне завоевывать сердца все новых и новых лилипуток и самому не оставаться равнодушным к их прелестям.

Ах уж эти лилипутские прелести! Я уже не раз имел случай заметить, что лилипуты отличаются от нас только размерами, повторяя в остальном все особенности нашего строения (полагаю, что и внутреннего, хотя на вскрытиях лилипутских покойников не присутствовал; впрочем, их медицина пребывает в таком зачаточном состоянии, что и учебных вскрытий в их медицинских школах не проводится). Но если наши малейшие изъяны видны нам невооруженным взглядом, то лилипутские для нашего глаза просто незаметны, а потому все лилипуты казались мне красавцами и красавицами, за исключением тех, что были уродами.

Я рассматривал моих маленьких красоток не только влюбленным взором, но еще и как естествоиспытатель, время от времени прибегая к помощи своей подзорной трубы, дававшей двенадцатикратное увеличение. И если через трубу они вполне могли бы сойти за моих соотечественниц, то невооруженному глазу их лобковые кустики казались нежными перышками крохотной птички, а сосочки – малюсенькими бисеринками.

Бугорок сладострастия мне ни у одной из них разглядеть не удалось, а потому я ласкал его наугад, используя в этих целях стебельки травы, которые припас в достаточном количестве и всегда хранил рядом с наполненным водой бочонком. Эта ласка многих из них приводила просто-таки в исступление. Они были готовы часами сидеть, раскинув в стороны свои крохотные ножки и закатив глазки. При этом они смешно постанывали, как если бы у вас под ухом звонил миниатюрный колокольчик размером с ноготок. «Ай-ай-ай-ай», – раздавалось в моей башне, и сердце мое радовалось, кровь волновалась, естество напрягалось. Счастливые деньки!

Вскоре число моих посетительниц увеличилось до десяти, а по прошествии еще нескольких дней веселый дом по вечерам стал погружаться в полную темноту. Только на первом этаже перед дверью горел одинокий огонек, видимо для того, чтобы посетители могли прочесть пришпиленное к дверям объявление: «Заведение закрыто по не зависящим от владельцев обстоятельствам; об открытии будет сообщено дополнительно».

Работодатели пытались увещевать девушек, говорили им о профессиональной чести, об их обязанностях перед ними, работодателями, и перед постоянными клиентами, перед обществом, наконец, но все тщетно – девушки ни за что не желали отказываться от того, что послала им благосклонная судьба в виде вашего покорного слуги. К тому же они, вероятно, чувствовали, что мое пребывание в Лилипутии скоро, к их и моему разочарованию, подойдет к концу, а потому спешили получить от знакомства со мной все, что было возможно, и в полной мере.

Я тоже спешил насладиться их компанией. Не проходило дня, чтобы мы не придумали чего-нибудь новенького. Так, я полагаю, что в некотором роде мною был установлен рекорд, когда мой возбужденный детородный орган продолжал гордо смотреть вверх с пятнадцатью повиснувшими на нем гроздью девушками из веселого дома. Правда, когда к ним присоединилась шестнадцатая, он, словно задумался на мгновение, затем медленно сник – сначала принял горизонтальное положение, а потом угол между ним и горизонтом стал неуклонно приближаться к 90 градусам, но такового все же не достиг, а напряженно замер в районе 45.

Не буду утомлять вас, любезные мои читатели, перечислением милых моему сердцу имен обитательниц веселого дома, проявивших ко мне благосклонность, – я и сам не запомнил их всех, к тому же с какого-то времени стал вдруг замечать, что ко мне приходят все новые и новые девушки – то ли подружки моих милашек, то ли просто случайные лилипутки, присоединившиеся к веселой процессии из любопытства.

Видимо, слухи о том, что происходит в моем доме, поползли по городу, потому что скоро у моих дверей и днем стали останавливаться кареты, из которых выходили закутанные в плащи дамы и стучались в мою дверь. Они настаивали на конфиденциальности наших встреч, и я ввиду высокого положения этих дам в лилипутском обществе не мог отказать им в этих просьбах. В остальном же эти свидания были как две капли воды похожи на наши первые встречи с Кульбюль. Сначала новенькая при виде того, за чем пришла, падала в обморок, а потом, будучи приведена в чувство, стремилась не упустить ни малейшей возможности получить все от нашей встречи. Некоторые уходили от меня ошеломленные, говоря, что жизнь их с этого момента лишается всякого смысла, потому что возвращение в супружескую постель для них теперь невозможно, как невозможно раз вкусившему от запретного плода

вернуться в прежнее состояние идиллической невинности. Жалкие достоинства мужа, мол, теперь могут вызвать у них разве что насмешку, а воспоминания о радостях, пережитых со мной, будут согревать их до конца дней. Сколько же таких исповедей довелось мне выслушать в те безмятежные дни!

Скромность не позволяет мне назвать имена тех высоких особ, которые оказали мне честь в моей обители и исполнили танец бесстрашной наездницы. Но об одной из них я все же скажу, потому что черная ее неблагодарность чуть было не привела к роковым для меня последствиям. Ее происками я вполне мог лишиться жизни и никогда не увидеть моей любезной отчизны. Так пусть же ее имя станет известно теперь всем: Ее Величество Императрица Лилипутии.

Да, она посетила меня однажды утром. Появилась, закутанная в плащ. Но и разоблачившись, оставшись в чем мать родила, она не сняла маски, закрывавшей ее лицо. Правда, это мало ей помогло, поскольку она не избежала общей участи и при виде моего орудия свалилась замертво, и мне пришлось снять с нее маску (которую, впрочем, я тут же вернул на место), чтобы брызнуть ей в лицо водой.

Придя в себя, она некоторое время ошеломленно рассматривала мое естество, а потом уселась на него, как садится лесоруб на поверженный ствол, и, раскинув изящные ножки, властным жестом показала пальчиком на свое крохотное лоно, требуя тех самых ласк, которые я предлагал прочим моим посетительницам. Видимо, слухами полнилась лилипутская земля, иначе откуда императрице было в точности знать, что творится у меня в доме за закрытыми дверями, когда туда приходят искательницы наслаждений? Я принялся щекотать ее травинкой, с удовольствием наблюдая, как под маской закатываются в неге ее глаза.



Она в женском своем проявлении ничуть не отличалась от других моих гостий. Те же звуки, те же движения…

Возможно, она так и ушла бы, пребывая в заблуждении относительно своего инкогнито, но в последний момент, когда, сидя на моем скакуне, она затрепетала в лихорадке

сладострастия, маска съехала набок, и я получил возможность еще раз увидеть ее лицо. Придя в себя, она не стала возвращать маску на место, но, гневно посмотрев на меня надменным взглядом, выразила убеждение, что понятия чести мне не чужды. В чем я и поспешил ее заверить. Однако сама она непонятно почему с того самого дня воспылала ко мне ненавистью и не упускала случая тем или иным способом насолить. В особенности ее неприязнь ко мне усилилась после пожара в императорском дворце… Но это другая история, о которой я расскажу чуть позже.

А пока настало время для рассказа о другом небольшом приключении, слава Богу, закончившемся ко взаимному удовлетворению и без кровопролития. Однажды среди моих обычных вечерних посетительниц из веселого дома оказалась одна незнакомка, что само по себе было делом вполне обычным. Вот только характер моей гостьи выходил за рамки обычного. Она была особой экзальтированной, и во время скачек, приближаясь к кульминации, кричала и стонала громче других тоненьким голоском. Когда же мои гостьи собрались уходить, она демонстративно задержалась, сказав, что у нее до меня дело чрезвычайной важности. Когда мы остались один на один, она призналась в безумной любви ко мне, и сказала, что если я буду настаивать на ее возвращении к мужу, то она наложит на себя руки, потому что жизнь без меня утратила для нее всякий смысл. Она добавила, что она не какая-то там простолюдинка, желающая подкормиться с моего стола, а ее муж один из знатнейших карбюков (носивший даже титул карбюк-бюка, которого за всю историю империи были удостоены всего два десятка ее самых выдающихся подданных) в империи, но она готова пожертвовать своим беззаботным будущим ради любви ко мне.

О, любезный мой читатель, мог ли я настаивать после этого на ее возвращении домой? Я попытался убедить ее в необдуманности такого поступка, но какое там – она и слушать ничего не хотела. Она сказала, что уже присмотрела себе комнатку – на хорах башни, что многого ей не нужно и она готова довольствоваться малым, лишь бы быть рядом со мной.

Должен сказать, что к тому времени нардаки и даже карбюки стали моими частыми гостями – многие приезжали спросить совета в тех или иных делах, многие познакомиться или заручиться моей поддержкой, так как в тот период я еще пользовался влиянием. А потому я ничуть не удивился, когда на следующее утро перед моей скромной башней остановилась карета, в которую были запряжены шесть первостатейных лошадей белой масти. Гербы на дверцах кареты свидетельствовали о знатности владельца, а надменная повадка слуги, который соскочил с облучков и постучал в дверь, чтобы сообщить о прибытии своего господина, говорили, что его хозяин не только знатен, но и, по всей видимости, занимает немалый пост в правительстве Его Величества. Так оно и оказалось. Только этого визитера ко мне привело вовсе не желание познакомиться или изъявить свое почтение.

Когда слуга известил о прибытии его светлости карбюк-бюка, я даже не сразу связал это имя с именем моей постоялицы, которая поселилась в помещении на хорах башни – будучи любительницей поспать по утрам, она выбрала себе самые удаленные покои, куда не доходили звуки с улицы и где не слышны были хлопоты моих слуг. Как выяснилось через несколько мгновений, моя постоялица была супругой его светлости, что и стало причиной его ко мне столь раннего визита.

Его светлость, войдя в башню и остановившись передо мной, смерил меня уничтожающим взглядом, а затем, не говоря ни слова, три раза топнул правой ногой и трижды испустил ветры, что получилось у него довольно громко, хотя и в тональности абсолютно несхожей с той, что привычна для наших соотечественников, – будто разъярившийся комар гигантских размеров своим отчаянным писком предупреждал об атаке.

Здесь я должен сделать отступление и доложить моему читателю о лилипутской традиции, с которой я познакомился благодаря осведомленности и обширным знаниям моего наставника Тоссека.

Во времена незапамятные, когда великий основатель лилипутского государства еще пребывал в лоне безвестности, а страна представляла собой конгломерат независимых грюмов (ближайший аналог наших баронств), случилось одно событие, и заложившее основы традиции, о которой я веду речь. Основатель тогда и сам был мелким грюмо-владельцем, но с большими амбициями. Он мечтал о Великой Единой Лилипутии, которая преодолеет

разрозненность и станет отечеством для всех лилипутов, включая и блефускуанцев. Основатель понемногу прибирал к рукам соседние грюмы, что естественно не нравилось их владетелям, которые пытались противостоять его натиску. И вот один из них, оскорбленный в лучших своих чувствах поползновениями разрушителя устоев, готовившегося присоединить к своим уже и без того немалым владениям грюм соседа, явился в его поместье, чтобы согласно существовавшему тогда кодексу чести вызвать врага на дуэль. Случилось так, что разрушитель в это время по причине расстройства желудка находился в отхожем месте, а потому выслушивал претензии соседа через тоненькую дверь, отделявшую место сие от остальной части помещения. Незваный гость в гневе топал ногой, а разрушитель непроизвольно отвечал на это громкими ветрами. Опорожнив желудок, разрушитель-основатель вышел из своего уединения и принял вызов. Дуэль состоялась немедленно. Челядь основателя забила разгневанного соседа табуретками (не могу не возмутиться дикими нравами тех времен!)
и спустила его в то самое отхожее место, которое только что столь действенно пополнялось их господином. Как бы то ни было, но именно тогда и была заложена новая (а ко времени моего пребывания в Лилипутии уже весьма устоявшаяся) традиция вызова на дуэль: оскорбленный должен был явиться к оскорбителю и притоптыванием и испусканием ветров известить оскорбителя о своем желании драться. Выбор оружия оставался за вызываемым, который, также руководствуясь традицией, выбирал отломанные от табурета ножки.

Теперь тебе, читатель, понятна та на первый взгляд дикая эскапада, с которой появился в моем жилище его светлость. Я же не считал себя связанным традициями, а потому ответил ему той же монетой, что произвело на моего гостя столь сильное впечатление, что он тут же отказался от своего намерения выяснять со мной отношения силой оружия, а приступил к переговорам. Правда, сделал он это не сразу, поскольку ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Звон в ушах у него, видимо, оставался еще довольно долго, потому что в ходе нашего разговора он несколько раз отчаянно тряс головой, как это делают канониры, после того как ядро с ужасающим грохотом вылетает из жерла пушки.

Пострадало, вероятно, и нежное обоняние моего гостя. Мне рассказывали, что в наших заморских колониях в Вест-Индиях обитает некое зловредное животное, именуемое скунсом. Не боясь погрешить против истины, сообщу любезному моему читателю, что мои ветры должно быть произвели на его светлость впечатление не менее сильное, чем струя скунса на королевскую гончую, имевшую до этого дела только с зайцами да лисами.

Итак, по прошествии времени, которое потребовалось его светлости, чтобы прийти в себя, он сказал:

– Верните мне мою жену! – При этом он так гневно свел брови и сверкнул глазами, что, носи я панталоны его размера, сердце у меня ушло бы в пятки. Но, учитывая мои пропорции, я взял себя в руки и сказал его светлости, что никого не удерживаю насильно, что его дражайшая супруга вольна вернуться к нему в любое удобное для них обоих время, хотя для меня было большой честью принимать ее светлость, а уход такой благородной и привлекательной дамы оставит глубокую и незаживающую рану в моем сердце. Не буду утверждать, будто я, произнося сию тираду, не погрешил против истины, однако в оправдание себе должен сказать, что всегда почитал вежливость и почтительность, а тем паче уважение к особам женского пола, первейшей обязанностью джентльмена. Таковое мое поведение, видимо, смягчило его светлость. Он сказал, что готов простить мою бесцеремонность, которая, видимо, была вызвана незнанием лилипутских обычаев. Мы обменялись еще парой комплиментов в таком же роде, и я уже был готов пригласить его светлость к столу, чтобы выпить мировую, но тут раздались звуки, поначалу напомнившие мне верещание взбесившегося воробьишки. Я поднял глаза и увидел, что ее светлость, которая, судя по всему, уже какое-то время была свидетельницей нашего разговора (подозреваю, что ее разбудил произведенный мною некоторое время назад звук), спускается с хоров, разгневанно щебеча на ходу. При звуках ее голоса его светлость как-то весь сжался, а на лице его появилось выражение заискивающего подобострастия. Мои знания лилипутского были еще не столь хороши, и я многое не понимал из их быстрого разговора. Ее светлость закатывала глаза, говорила на повышенных тонах, ее слова прерывались рыданиями, раза два-три она подходила к моей ноге и дергала меня за чулок, словно ища подтверждения своим словам. Я же помалкивал,

предпочитая не вмешиваться в сию семейную оказию. И оказался прав. В конечном счете все разрешилось ко всеобщему взаимному удовольствию: ее светлость возвращается домой, а его светлость не возражает против ее регулярных визитов ко мне.

Мы расстались друзьями, и хотя ее светлость, уходя, недовольно надувала губки, я отвесил ей глубокий поклон, будучи уверен, что мы еще встретимся, и от горечи нынешнего прощания в ее сердце не останется и следа.

* * *

Не хочу, чтобы у читателя создалось впечатление, будто мое пребывание в Лилипутии с тех пор было посвящено одним лишь поискам наслаждений. Мои интересы, как и всегда, оставались разнообразными. Я занимался историей, увлекался чтением старинных рукописей, интересовался текущими событиями. Конечно, прежде всего – сегодняшними и животрепещущими политическими коллизиями, о коих и намереваюсь поведать читателям.

Для начала мне бы хотелось развеять миф, а точнее фальсификацию, учиненную моими издателями. Так, читатель знает о существовании в Лилипутии партий остроконечников и тупоконечников и о непримиримой вражде между ними. Ничего общего с действительностью эта выдумка не имеет. Заявляю об этом со всей ответственностью. Нет в Лилипутии ни остро-, ни тупоконечников. Для чего понадобилось издателю (якобы в угоду общественной нравственности) так оболгать лилипутский народ – ума не приложу. Об истинных причинах раздора в лилипутском обществе я рассказываю ниже, предлагая читателю почти дословный перевод из исторической хроники, хранящейся в архиве Его Величества Императора Лилипутии.

Итак, раздор в лилипутском обществе (свидетелем которому на одном из его периодов и был ваш покорный слуга) начался при дедушке ныне здравствующего императора. Если до того времени лилипуты не знали другого способа соединения, кроме как переднего (естественно, что и названия этого прежде не существовало – оно появилось лишь после того, как был открыт иной способ, а именно задний), то дедушка после нескольких лет мучительных раздумий вдруг сообщил на всю страну, что, оказывается, существует и задний, и это, мол, было дано ему как откровение свыше и опробовано им и его ближним кругом на практике. В обществе немедленно начались споры, наметилось разделение мнений. На улицы городов выходили возбужденные толпы (чего раньше в лилипутской истории не случалось), славившие монарха или проклинавшие его (немыслимое прежде дело, но, видимо, император затронул струны столь чувствительные, что в лилипутском обществе не осталось равнодушных, а на тех, кто не поддался всеобщему безумию, смотрели как на первостатейных кандидатов в скорбный дом на окраине столицы, куда поселяли лишившихся разума). А вскоре последовал указ, предписывающий всем подданным Его Императорского Величества разнообразить формы супружеского соединения. Этим же указом задний способ возводился в ранг государственного и приравнивался к переднему.

Часть населения с восторгом приняла это известие. Правда кое-кто шептался, что якобы этот способ был открыт задолго до дедушки, просто лилипуты по природной своей осторожности и скромности помалкивали, ожидая, не выйдет ли каких распоряжений на этот счет от властей. Посыпались благодарственные письма дедушке, тогда еще действующему императору, в которых подданные сообщали, что только теперь открылись у них глаза, и как можно было столько лет пребывать во тьме, и не сообщит ли император еще чего-нибудь в таком же роде. Императора провозглашали светочем рода лилипутского, предлагали во всех лилипутских городах, на всех площадях поставить ему памятники, на пьедестале которых золотом написать слова благодарности лилипутского народа. Другая же часть населения восприняла новшество в штыки. Противники нововведения говорили, что это прямое и кощунственное нарушение традиций, завещанных предками, и оскорбление их памяти, что они не допустят на лилипутской земле такого позора, что скорее умрут, чем когда-нибудь позволят детям своим перейти на богопротивный задний способ (хотя поговаривали, что некоторые из вождей передников – так их и стали называть с тех пор – все же опробовали задний способ и втайне практиковали его, находя в нем известную прелесть и разнообразие новизны). Наиболее оголтелые предлагали откопать из могилы легендарного основателя лилипутского государства и выставить его святые мощи на главной площади столицы в назидание жителям: великий

основатель не то что задний – он и передний-то способ не очень жаловал, а потому, полагали авторы сей идеи, его присутствие устыдит падших, вернет их на путь истинный и положит конец смуте и раздорам. Куда там! В ответ на это предложение на улицы высыпали толпы сторонников нового курса.

Лилипутское общество раскололось. Но настоящая свара началась после того, как отец нынешнего императора оттер от власти своего батюшку (правда, обошелся без отцеубийства и кровопролития, выслав своего родителя в глухую лилипутскую провинцию; я, кстати, посетил там опального экс-императора, добравшись до его жилища за полчаса неторопливой ходьбы. Старик был еще полон сил и замыслов и собирался порадовать свой народ новыми открытиями. Экс-император был импозантен на лилипутский манер и приветлив, как истинный джентльмен; я провел с ним несколько часов в философских беседах и навсегда сохранил самые теплые воспоминания о нем) и сам короновался на лилипутский трон. Основанием для отстранения от власти (которое, впрочем, было инсценировано как отречение) стало то, что экс-император в своих реформах ограничивался полумерами, тогда как передний способ, по мнению нового императора, вообще надлежало запретить, а оголтелых его приверженцев объявить вне закона. Остальных же обязать за две луны окончательно и бесповоротно перейти на задний способ, передний впредь предать анафеме, а замеченных в пользовании им в первый раз наказывать плетьми, а во второй – в сопровождении двух стражей отводить на специальные заведенные для этого участки, где подвергать операции, которая исключит в будущем нарушение закона с их стороны.

После этого указа в стране чуть не дошло до кровопролития – передники бунтовали и мутили народ. По улицам ходили многолюдные толпы, скандируя: «Только спереди! Позор задникам!». По соседним улицам двигались не менее решительно настроенные толпы, кричавшие: «Только сзади! Позор передникам!».

Передники даже пытались устроить подкоп под императорский дворец и подорвать императора со всем его семейством, однако были выявлены бдительной стражей и посажены в узилище. Часть заговорщиков бежала и обосновалась на Блефуску, где была с распростертыми объятиями принята как властями, так и большей частью населения. Не то чтобы блефускуанцы особенно сочувствовали передникам, просто они по-соседски всегда радовались случаю насолить лилипутам, а потому скоро на соседнем острове набралось немалое число врагов лилипутских реформ, от которых постоянно исходила опасность для приверженцев нового курса.

Однако новый император просидел на престоле всего десяток лун. Постоянные заботы о благе государства и подданных подорвали его здоровье, у него начались приступы падучей, и он вынужден был оставить трон, передав власть сыну – нынешнему императору Лилипутии.

Сын, хоть и был молод, отличался мудростью и уравновешенностью, а залысины у него встречались на самом затылке – знак умственных трудов и долгих ночных бдений. На следующий день после принесения присяги, в которой он поклялся придерживаться курса отца, он издал указ, отменявший прежние постановления, и выпустил новый, уравнивавший в правах оба способа: теперь население могло на законной основе пользоваться как задней, так и передней позициями, не подвергая при этом себя опасности судебного преследования.

Часть населения Лилипутии восприняла этот указ с облегчением, другая – хмурилась и говорила, что это откат в темные времена. Беглецы же, обосновавшиеся в Блефуску, не спешили возвращаться домой, справедливо полагая, что помилование помилованием (указ об помиловании беглым передникам последовал сразу же за изданием первых двух), а береженого Бог бережет.

Как бы там ни было, но в государстве во время моего там пребывания установилось хрупкое равновесие. Передники сосуществовали с задниками. Даже говорили, что появились смешанные браки, то есть передники женились на задницах, а передницы выходили замуж за задников. Какому способу отдавали предпочтение в таких семьях, неизвестно, потому что все передники и передницы говорили, что свято блюдут традиции предков, а непримиримые задники и задницы заявляли, что скорее умрут, чем вернутся в прежнее рабское состояние. Знаменем передников стала одна лилипутка, заявившая, что скорее зашьет свое детородное отверстие, чем подпустит к себе кого-нибудь с ненадлежащей стороны. А задники поднимали на щит

лилипута, который изрек, что скорее отрубит себе детородный орган, чем приблизится к кому-нибудь спереди.

Мудрый молодой император занял промежуточную позицию. Он в своих редких выступлениях перед народом бичевал радикалов с той и с другой стороны, призывая к умеренности, выставляя в качестве примера себя, правда при этом он так и не сообщил подданным, каким способом предпочитает пользоваться сам. Но народ в своем большинстве поддержал императора. В государстве воцарились мир и порядок, хотя кое-где еще и вспыхивали стихийные митинги в поддержку той или иной партии. Но таковые происходили все реже и реже, а если и происходили, то особого внимания к себе со стороны лилипутского общества не привлекали.

В это время и произошел известный читателю захват мною блефускуанского флота, в основных чертах верно изложенный в моих опубликованных записках. Однако считаю необходимым добавить к уже известным сведениям несколько исторических фактов.

В древности (согласно лилипутским летописям, это произошло за триста одну луну до моего прибытия) Лилипутия и Блефуску существовали как одно мощное государство с могучим флотом и непобедимой армией. Но поскольку врагов у сего древнего государства не было, то многие сомневались – стоит ли тратить столько средств на содержание огромных вооруженных сил, которым не с кем воевать. Вот тогда-то в Блефуску и организовалась партия отъединщиков, которая стала ратовать за отложение от Лилипутии. Во-первых, мы и сами с усами, говорили они, зачем нам эта тупоголовая вельможная лилипутская братия – у нас и у самих может быть не хуже. А во-вторых, отъединимся, и тогда никто уже не скажет, что военные у нас дармоеды. Вон Лилипутия за проливом – исконный враг, который только и ищет случая прибрать к рукам Блефуску, а не будет у нас сильной армии, то непременно так и сделает. Таким образом у нас появится противник – основание для увеличения военных расходов. Наши военные смогут наконец опробовать в деле свои военные теории и доказать всем жителям Блефуску, что и в самом деле чего-то стоят. Да здравствует Блефуску! Смерть Лилипутии!

И вот в один прекрасный день провинция Блефуску отложилась, а поскольку объединенный флот целиком базировался на Блефуску, которая имела для этого удобную бухту Лосабек, то Лилипутия в тот день осталась без флота. Фикос II, бывший в то время императором Лилипутии, отправил армию по ту сторону пролива – вернуть Блефуску в лоно Лилипутии, покарать зачинщиков, искоренить отъединщицкий дух и навести в провинции порядок, чтобы впредь никому было неповадно. Командиры тут же построили армию в колонны и под крики «ура!» повели ее воевать с Блефуску. Однако ввиду значительной (по лилипутским масштабам) глубины и ширины пролива, разделявшего метрополию и провинцию, хотя и обвязанные рыбьими пузырями, далеко не все из вошедших в воду на лилипутском берегу вышли на блефускуанском – ведь флот, как мы помним, в один день оказался во власти мятежников. Вышедшие же военной силы собой не представляли и стали легкой добычей блефускуанцев. Тогда Фикос II издал указ, предписывающий всем лилипутам строить новый флот. Это был нелегкий период в истории Лилипутии. Все подданные императора с утра уходили на верфи и трудились там, не покладая рук, пока не начинали валиться с ног от усталости. Император смилостивился и разрешил подданным не расходиться на ночь по домам. Это позволило корабельщикам сэкономить немало сил и времени. Они спали прямо при верфях, а утром, не тратя впустую ни минуты, принимались за работу. Всего за десять лун лилипуты восстановили свои военно-морские силы, и блефускуанцы больше не имели подавляющего преимущества на море. Однако Фикос II к этому моменту безвременно скончался, а его сын оказался глуп и ленив – он решил не воевать с Блефуску, а взять ее измором. Измором брал Блефуску и следующий император, и еще один, и еще. Время шло, и все в Лилипутии в конечном счете, хотя и не без скорби душевной, свыклись с тем, что Блефуску более не провинция, а могущественное независимое государство (и, кстати, основание для содержания мощной лилипутской армии). Однако воспоминания о потере флота всегда оставались болезненными по сю сторону пролива, и потому мой поход на Лосабек и возвращение с военным флотом противника были встречены великим ликованием и восприняты как восстановление исторической справедливости.

Я живо интересовался историческими хрониками и современной политической жизнью

Лилипутии, а моя жизнь тем временем шла своим чередом. И теперь, следуя хронологии событий, я должен поведать об одном, казалось бы, малозначительном происшествии, сыгравшем важную роль не только в моей судьбе, но и, видимо, во всей лилипутской истории, поскольку, смею заверить моего читателя, судьба Куинбуса Флестрина оказала заметное воздействие на ход развития Лилипутии. Произошло это не в силу каких-то моих особых достоинств или выдающихся качеств, а, как я уже говорил, лишь по причине моих размеров. Так, великан ростом в сорок футов, появись таковой в моей родной Англии, мог бы в корне изменить ее историю.

Происшествие, о котором я намереваюсь рассказать, случилось в один из обычнейших вечеров, когда я, как уже повелось, принимал десятка три обитательниц веселого дома со всякими случайными и неслучайными гостьями, перед каковыми я никогда не запирал двери своего жилья. Все было как всегда. Дело уже шло к развязке, которая словно бы рождалась где-то в глубинах моего естества, чтобы прорваться наружу через то самое орудие, которое услаждало моих прелестниц. Я крикнул «берегись», но одна из девушек не успела увернуться и была сбита мощной струей (в очередной раз должен оговориться: к преувеличениям я отнюдь не склонен, в особенности, если речь идет о моей собственной персоне; не хочу предстать перед своим читателем этаким хвастунишкой: если я говорю «мощная струя», то естественно имею в виду взгляд на сей феномен пострадавшей), что имело последствия, о которых я в ту минуту не мог даже и догадываться. Бедняжка отделалась легким испугом – через мгновение она поднялась на ноги и не без удовольствия принялась размазывать белесую жидкость по телу. Кто бы мог подумать, что такой пустяк повлечет за собой результаты несоизмеримые?

Как я узнал потом, бедняжка эта в детстве перенесла болезнь, вызвавшую у несчастной хромоту кстати, именно поэтому она и не успела увернуться от моего извержения), однако малютка настолько свыклась со своим недугом, что вела или пыталась вести нормальный образ жизни, ни в чем не отставая от своих сверстниц.

Прошло два дня, и моя случайная гостья уже почти забыла о том происшествии, разве что сохраняла в памяти приятственные стороны своего визита ко мне, но вот на третий день после нечаянной ванны, которую она приняла на моем табурете, малютка почувствовала резкое улучшение. Еще через два дня хромота у нее прошла полностью, деятельность мышц восстановилась, а кожа в местах контакта с моей семенной жидкостью приобрела необыкновенно здоровый и упругий вид.

Обо всем этом мне стало известно неделю спустя, когда я снова увидел уже знакомое мне личико. У девушки в руке было ведерко средних размеров, и она караулила с ним у моего готовящегося к фонтанированию отверстия. Ведерко быстро переполнилось – большая часть жидкости пролилась через край, но моя гостья была довольна. Она попросила меня как можно осторожнее опустить ее на землю и бережно, чтобы не расплескать, понесла ведерко к выходу, словно это был какой-то драгоценный нектар.

Я остановил ее и попросил объяснить, что значит сие странное явление. Выяснилось, что добрая душа несет ведерко к своей престарелой бабушке, страдающей подагрой и прострелом. Тогда же она рассказала мне о том, какое целебное воздействие произвело на нее мое семя, размазанное ею по телу в порыве сладострастия. Я же со своей стороны как врач предостерег ее, просил не впадать в заблуждение. Возможно, ее исцеление объясняется другими причинами, а моя семенная жидкость лишь послужила благоприятным фоном, на котором пошел положительный процесс выздоровления. Однако девушка была полна воодушевления, и разубедить ее мне не удалось. Она твердо обещала сообщить мне, будет ли благоприятным воздействие сей панацеи на ее бабушку. Остальные мои гостьи слушали наш разговор и, видимо, фигурально выражаясь, мотали на ус. У одной из них, еще не успевшей спуститься с табуретки, в руках неведомо откуда взялся пузырек, который она принялась заполнять из пролитой на поверхность лужицы. Другая стала черпать жидкость из лужицы горстями и размазывать у себя по бедрам и груди. Остальные, уже спустившиеся вниз, делали попытки вскарабкаться назад по ножкам табурета, я же чисто машинально, продолжая разговор с моей выздоровевшей прелестницей, подставил им ладонь и перенес наверх. Через несколько мгновений поверхность табуретки была сухой, разве что чуть поблескивала влагой.

Слухами, как известно, земля полнится. И слух о чудодейственной силе моей семенной жидкости распространялся по Лилипутии, как чума по Европе. Число выздоровевших, передавали досужие языки, давно перевалило за все разумные пределы и по всем подсчетам уже превысило все население Лилипутии. Ходили разговоры о чудесных исцелениях: стоило поставить примочку из моих соков на больное место или орган какого-нибудь лилипута на смертном одре, как он вставал с постели и исполнял любимый народный танец – с припрыгиваниями и приседаниями, хлопками в ладоши и переворотами через голову. Не знаю, насколько достоверны были эти рассказы, но ажиотация, поднявшаяся вокруг нового целительного средства, превосходила все мыслимые и немыслимые рамки. Так или иначе, но я благодарен судьбе, занесшей меня на самый край земли, где затерялась эта крохотная страна, которая, смею надеяться, извлекла из моего присутствия немалые выгоды.

Такой поворот событий дал мне счастливую возможность ближе изучить лилипутские нравы. Я был свидетелем не только лилипутской зависти, коварства и скаредности, но и беззаветной любви, которая готова на самопожертвование и не остановится ни перед чем. Такая любовь может явить пример и для наших соотечественников, многие из которых до сей поры пребывают в косности и превыше всего ставят собственное благополучие, повернувшись спиной к материям духовным и чувственным.

Эта пара появилась перед моей обителью ранним утром, когда я еще спал. Он остался сидеть в карете, она ждала моего пробуждения у дверей, так как мой слуга, зная, сколь трудную ночь я провел (число гостей в предыдущий вечер превысило полсотни, и ни одна из них не ушла, не получив того, за чем приходила), отказался впустить ее раньше, чем я проснусь, невзирая на то, что она представилась (хотя имени своего и не назвала) женой нардака и к тому же важной персоны в лилипутской иерархии.

Я благодарен своему слуге за столь искреннюю заботу обо мне. Должен отметить, что все мои слуги – а их число доходило до двух сотен – хотя и были на содержании казны Его Величества, а от меня не получали ничего, кроме доброго расположения духа (впрочем, они неплохо кормились с моего стола и были заинтересованы в том, чтобы я как можно дольше оставался на иждивении Его Императорского Величества), были искренне привязаны ко мне и пеклись о моем благополучии, как если бы я был их отцом или благодетелем.

Дама покорно ждала моего пробуждения; наконец я открыл глаза, приподнялся на своей постели и увидел слугу, стоящего на уровне моей головы на специальной подставке-лестничке, которая была сделана, чтобы слуги имели возможность подниматься на кровать и менять спальное белье, что и делалось регулярно не реже раза каждую луну.

Он доложил, что меня дожидается одна знатная дама и дело, видать, срочное, раз явилась она ни свет ни заря. Я сказал, что готов принять ее немедленно, слуга сбежал по лестничке, и через мгновение – я даже не успел подняться с кровати – появилась хорошенькая лилипуточка в самом расцвете лет. По выражению ее личика я сразу же понял, что ее привела ко мне крайняя нужда, о коей она и не замедлила мне сообщить. Она говорила, смущаясь и отводя взор – по всему видно было, что решение прийти ко мне далось ей нелегко. Она сказала, что наслышана обо мне с самой хорошей стороны, что вся Лилипутия только и полнится слухами о моих достоинствах и безотказной доброте. А уж о том, какие чувства испытывают ко мне больные и убогие, которые моими заботами забыли о своих болезнях и убогости, и говорить не приходится. Она знает о чудодейственном средстве, которое я щедро раздаю народу Лилипутии, и надеется, что я не откажу ей в ее просьбе и выделю малую толику на лечение ее несчастного мужа, который в нетерпении дожидается ее у дверей, изводимый жестоким недугом, не дающим ему и шагу ступить без мучительной боли. Ни сесть, ни встать, ни отправлять государственные обязанности он не может вот уже пятую луну и грозится наложить на себя руки. Ко мне они решили прибегнуть как к крайнему средству, а если я не помогу, то им и в самом деле ничего не останется, как уйти из жизни, потому что она, конечно же, не отпустит в мир иной своего дражайшего супруга в одиночестве, а уйдет вместе с ним.

Клянусь, я был до глубины души тронут таким проявлением супружеской любви и заботы и, конечно же, не смог отказать моей гостье в ее просьбе. Я спросил у нее, знает ли она, что ей придется делать для получения желаемого, она, потупясь, отвечала, что знает и готова ко всем трудностям, которые ее могут ждать.

Я, видя такое самопожертвование, со своей стороны испытывал смущение, поскольку труды, которым предавался с вечера, не способствовали готовности к утренним излияниям. Факт любопытный с точки зрения медицинской науки, которой известно, что занятия того или иного рода способствуют увеличению выносливости организма, укреплению мышц. Так кузнец, работая молотом, приобретает силу и ловкость рук и, предаваясь весь день труду, будучи разбужен утром, готов встать к наковальне и продолжить незаконченное с вечера. Но не то с детородным органом. Видимо, группа мышц, участвующая в механизме его возбуждения, не подчиняется общим физическим законам и, будучи утружденной с вечера, утром отнюдь не готова к исполнению своих функций, а нуждается в некотором восстановительном периоде, который, впрочем, может быть гораздо сокращен при умелом подходе к делу.

Я вскоре имел возможность убедиться, что моя гостья владеет необходимым набором средств, умением и чутьем, которые, хотя и не без усилий, помогли ей сократить названный период и добиться желаемого результата, для коего она припасла специальное ведерко.

Но пока она стояла передо мной, не зная, как ей приступить к делу. Я поначалу тоже было немного замешкался, но потом показал моей гостье ширмочку, за которой она может разоблачиться. Это полезное приспособление было припасено мною специально для случаев, когда являвшиеся ко мне дамы представляли собой образец застенчивости, и нередко оказывалось как нельзя кстати. Она удалилась туда, а через несколько мгновений появилась абсолютно обнаженная, краснея от стыда, руками прикрывая срамные места, как конфузливая Венера. Я подставил ей ладонь, она вошла на нее своими босыми ножками, и я осторожно поднял ее и поднес поближе к лицу, чтобы получше разглядеть. Она абсолютно смешалась, румянец залил ее хорошенькие щечки. Тогда я поставил ее на мою постель, расположив ближе к ногам, чем к изголовью, сам же остался лежать на боку. Моя гостья продолжала прикрывать себя тоненькими ручками, и тогда я вынужден был сказать ей, что ежели она не раскрепостится и не допустит моего взора к сим средоточиям дамской прелести, то не сможет получить желаемого, и отнюдь не по моей прихоти, а по природе мужского естества. Она отняла ручки от своих грудок. Должен сказать, что она и в самом деле была прекрасна, как Венера, – крошечные холмики грудей, совершенно пропорциональные общему ее телосложению, тоненький ручеек волосиков над тем местом, куда я смотрел обычно с особым вожделением, правильные очертания бедер, расширяющихся в тех местах, где оно и подобает женской натуре; только вот на сей раз зрелище, открывшееся мне, отнюдь не вселило в меня желания, хотя и не оставило вовсе равнодушным. Видимо, пресыщение вчерашними радостями еще не успело пройти.

Я, в свою очередь немного смущаясь, сообщил ей, что, судя по всему, ей придется немало потрудиться, чтобы привести меня в чувство, и с этими словами задрал на себе ночную рубаху.

Как же я был забывчив, не предупредив мою гостью, что вид, который ей откроется, может иметь на нее весьма шокирующее воздействие. И она, конечно же, не избежала общей участи – побледнела и упала в обморок. Румянец стыдливости сменился на ее лице мертвенной бледностью, но несколько капель воды скоро привели ее в чувство. Через минуту она открыла глаза, подняла головку и скосила взгляд на то, что повергло ее в столь плачевное состояние.

Я тоже повел взглядом в ту сторону и увидел, что и мое естество, увы, пребывает в состоянии плачевном и постыдном для мужа в расцвете сил – обмякшее, оно лежало недвижимо, не подавая никаких признаков жизни. Я развел руками и испустил тяжелый вздох. Перевел взгляд на мою посетительницу и отметил происходящие в ней перемены. Испуг прошел, и теперь в ее взоре горело любопытство и, показалось мне, даже нечто большее – интерес, недоумение, переходящее чуть ли не в восторг, желание. И еще что-то, что – не берусь описать в точности. Но может быть, похожее чувство зажигалось в глазах римских гладиаторов, выходивших с голыми руками против льва: я тебя все равно одолею.

Следующим своим движением она напомнила мне ноттингемпширских простолюдинок, которые, засучив рукава и задрав юбки, орудуют мокрой тряпкой по заплеванному полу таверны, не боясь испачкать руки неблагодарным трудом. Не берусь, однако, судить, так ли уж неблагодарен был труд, который предстоял моей гостье. Она, впрочем, проявила себя прекрасной поломойкой.

Сон, которым спал мой детородный орган, казалось, был беспробуден. Моя гостья приблизилась к сему спящему зверю и попыталась его пробудить, погладив крохотной ручкой его

холку. Бесполезно! Тогда она прибегла к более действенным мерам.

Я не сомневаюсь, что, придя ко мне, она руководствовалась чисто альтруистическими намерениями и имела одну цель – выздоровление мужа. Однако на пути к этой цели она, видимо, поняла (а скорее это даже произошло неосознанно), что сможет угнаться за двумя зайцами: и удовольствие получить, и уйти со средством для излечения супруга.

Она принялась воздействовать на мое детородное орудие всеми имевшимися в ее распоряжении способами, и скоро ее труды были вознаграждены. Моя плоть пробудилась ото сна – шевельнулась и стала медленно наливаться если еще не желанием, то, по меньшей мере, словно бы раздумьем: не пора ли ей употребиться по делу. Еще несколько движений моей гостьи, еще и еще – и вот уже рядом с ней лежит не объевшийся, обмякший питон, а ощетинившийся аллигатор, увидевший добычу. Но моя гостья оказалась не из тех, кто боится диких зверей, напротив, она проявляла готовность подразнить его, поднести к его зубастой пасти кусок мяса, чтобы он почувствовал его запах, а потом отнять. Она не знала усталости, то становясь наездницей, то работая как матрос, откачивающий воду из трюма тонущего судна. Я жалел, что по естественным причинам моя помощь ей долженствовала быть ограниченной – ведь войди я в раж, для отважной бедняжки это могло плохо кончиться. Поэтому я, как и всегда в Лилипутии, был осторожен и деликатен. Однако она так умело действовала с моим естеством, что не прошло и пяти минут, как я уже был готов наполнить принесенную ею емкость. К этому времени и моя гостья дошла до известных кондиций – она мелко затряслась, сидя на мне, и эти ее движения сопровождались стонами, а потому мне самому пришлось позаботиться, чтобы не пропала втуне материя, на получение которой ушло столько трудов. Я подставил припасенное моей гостьей ведерко в нужное место и пролился в него, испытав такую глубину чувства, что минуту потом лежал, тяжело дыша, не в силах поднять головы.

Вскоре и моя гостья пришла в себя. Она слезла с поверженного крокодила, снова превратившегося в объевшегося удава, – ее слегка пошатывало после такого испытания, но на лице сияла блаженная улыбка. Я вернул ее вместе с ее грузом на пол, она оделась, подняла полное ведёрко – от непривычки к тяжестям ее перекосило на один бок – и, сказав, что, помимо мужа, у нее тяжело болен тем же злосчастным недугом любимый дядюшка, удалилась. Я выглянул в окошко и увидел дожидавшегося ее супруга – он сидел в карете и, отдергивая занавеску, нетерпеливо выглядывал на улицу. Кучер соскочил с козел, перехватил у хозяйки груз и помог ей подняться в экипаж. Затем вернул ей ведерко, запрыгнул на свое место и хлестнул лошадей.

На следующий день мне сообщили, что один из виднейших членов Государственного совета Его Императорского Величества после долгой и тяжелой болезни вновь вернулся к исполнению своих обязанностей. Было известно, что этот член совета страдал от неисцелимого случая осложненного геморроя. Ходили слухи, что излечился он каким-то чудесным образом благодаря преданности и долготерпению жены, попечением и заботами которой единственно и встал на ноги.

Нужно ли говорить, что я был счастлив, сумев помочь моей неожиданной знакомой, но в душу мою уже тогда начали закрадываться опасения: велика Лилипутия, много в ней больных и недужных – смогу ли я помочь всем им и чем это может быть чревато для меня. Но тогда я сумел подавить в себе эту тревогу, потому что с юности страдал оптимистическим характером и никогда не давал опасениям брать верх над здравым смыслом. А здравый смысл говорил мне, что выход может быть найден из любой, самой затруднительной, ситуации, и если жизни моей будет грозить опасность, то я сумею найти способ поправить положение. Так оно и случилось в конечном счете, о чем уже известно читателю. Однако читатель не знает истинных перипетий моего так называемого бегства из Лилипутии. Та же версия, с которой он знаком по изданной фальсификации моих приключений, столь же далека от истины, как Англия от Лилипутии. Впрочем, вернемся к моему повествованию.

Не могу не рассказать о довольно забавном событии, которое произошло, когда с меня снимали мерку для нового камзола. Я посадил себе на плечи трех-четырех лилипуток, которые спустили с меня в разных местах мерные бечевки – одна по спине, другая – по груди, третья – по руке. Наконец, когда все обмеры были сделаны, я спустил моих портных на землю и простился с ними до примерки. Через час ко мне прибежал взволнованный главный

закройщик: потерялась одна из его помощниц – не видел ли я ее, не придавил ли ненароком?

Мы осмотрели все уголки башни, я даже вывернул свои карманы – маленькой белошвейки нигде не было. Закройщик почесал свою лысину, сказал, что, вероятно, девушка ушла куда-нибудь по нужде или убежала домой, хотя обычно без разрешения старшего ни один лилипут с работы не уйдет.

Когда он вышел, меня начало клонить в сон. Время было послеобеденное, и я решил прилечь на часок – набраться сил перед вечерними бдениями, которые в последнее время стали отнимать у меня немало сил.

Я быстро задремал. Мне приснилось мое любезное отечество, Ноттингемпшир, мой дом и любимая моя женушка. Будто лежим мы с нею в супружеской постели, и я, чувствуя под боком теплое тело моей возлюбленной, постепенно наполняюсь желанием. Вот я протягиваю руку, чувствую ее наливные груди под ночной рубашкой, мну их нетерпеливой рукой, слышу ее тихие, хотя и сладострастные, стоны. Потом моя рука опускается ниже, еще ниже. Замирает на шелковистом лоскутке. Несколько мгновений мы пребываем в неподвижности, чреватой вспышкой страсти. Потом моя рука продолжает движение – еще ниже и вглубь.

Мою женушку тоже переполняют желания – я это чувствую по влаге, в которую погружаются мои пальцы. Стоны ее становятся громче. Она тоже не лежит без дела. Я чувствую ее руку – она дотягивается до моего естества и начинает ласкать его. Восторги сладострастия волной накатывают на меня. Но тут я замечаю, что она ласкает меня какими-то странными движениями. Мне кажется, что пальчики у нее такие маленькие – крохотные, как булавки, с острыми ноготками, и она держит меня за мое причинное место не как обычно – ближе к середине, возбудительно смещая туда-сюда крайнюю плоть, а словно бы пытается ущипнуть за головку. Так продолжается несколько мгновений, я лежу, испытывая известное разочарование. Потом мне вдруг начинает казаться, что моя любимая женушка уменьшается на моих глазах – превращается в такую же крошку, как Кульбюль, – и при этом устремляется туда, где что-то щекочет, щиплет меня.

«Куда ты, радость моя, постой! Не уходи! Ты мне нужна!» – кричу я. Но она пропадает из вида там, где между ног у меня налилось желанием мое естество.

Я просыпаюсь. Рука моя покоится в суповой тарелке, которую не успели убрать со столика при кровати расторопные слуги, никакой любимой женушки, конечно же, рядом нет – один лишь детородный орган, рвущийся наружу из штанов, потому что кто-то пощипывает его, щекочет, гладит маленькой ручкой. Я расстегиваю пуговицу на штанах, и мое естество выпрыгивает оттуда, а верхом на нем, держась за холку обеими руками, – недавняя пропажа, белошвейка, которую я сразу же узнаю по одежде.

Время для вопросов к сей отважной девице, которые естественным образом у меня возникли, было самое неподходящее – сначала нужно было довести до конца то, что началось хоть и без моего на то согласия, однако теперь требовало завершения, которое и было достигнуто к обоюдному удовольствию сторон. Кстати, я так никогда и не узнал, упала ли она в обморок при первом знакомстве с моим орудием, ради свидания с которым она отвлеклась от своих обязанностей; если нет – то она, возможно, является самой выдающейся из лилипуток, с каковыми мне доводилось иметь дело.

Сказать откровенно, любезный мой читатель, лилипутские прелести понемногу стали набивать мне оскомину – их миниатюрность хоть и была приятна для глаз, не отвечала потребностям моего органа, далеко не столь деликатного и требующего прикосновений жарких и существенных. Однако как говорит лилипутская народная мудрость, если нет гербовой бумаги, то приходится писать на простой. Впрочем, и простая была не так уж проста, что и доказала мне моя новая знакомая.

Должен сказать, что мое пребывание в Лилипутии было полно подобных оказий. Мне уже и не припомнить всех моих случайных и неслучайных знакомых. Жаль, что я не вел тогда дневника. Читатель узнал бы много презабавных историй.

Правда, далеко не все обстоятельства, в каковых я оказывался, были забавными. И если кто-то решил, что пребывание большого тела среди крошечных весьма забавно, поскольку большое тело якобы не испытывает больших неудобств, тот жестоко ошибается. Вообще-то

человеку свойственно недооценивать мелкое – то, что у него под ногами. Поутру в саду ему ничего не стоит раздавить, даже не заметив, несколько десятков беззащитных улиток, по несчастью, оказавшихся на его пути. Если же он, сойдя с садовой дорожки, захочет прогуляться по сочной траве, еще облитой росой, то, напитавшись свежестью, исполнившись благодарности сущему миру и испытав возвышенное чувство единения с ним, он едва ли осознает, что стал убийцей, причиной гибели многих и многих крохотуль, раздавленных его безжалостными башмаками. И не понесет он за это никакого наказания, и даже сама мысль о попрании чьих-то интересов и посягательстве на чьи-то жизни покажется ему более чем абсурдной, потому что он просто не помнит о муравьях, жуках, кузнечиках, тех же улитках, не говоря уже о гусеницах и личинках… А взять, скажем, комаров, или их братьев москитов, разных там мошек и прочую мелюзгу… Задумывались ли мы хоть раз, сколько на протяжении своей жизни уничтожаем этих крошечных тварей, чья вина лишь в том, что Природе, которая есть Творец, было угодно сделать их кровососущими?.. Причем уничтожаем бездумно, безоглядно, не отдавая себе отчета в своих действиях, повинуясь лишь сиюминутному порыву гнева, вызванному укусом. В чем их вина? Почему нам не приходит в голову простая мысль, что если эти твари существуют вокруг нас, то, значит, они тоже часть божественного Промысла. Так имеем ли мы право своим грубым бездумным вмешательством искажать общую картину, в коей, по некоторым наблюдениям, занимаем весьма скромное место?

Подобные мысли не раз овладевали мною здесь, в Лилипутии, потому что как представитель очень большого я неизбежно наносил бы урон очень малому, если бы не удосуживался смотреть себе под ноги. Дабы не допустить действий, могущих иметь самые прискорбные последствия для окружающих, я обязал себя денно и нощно блюсти собственный закон, гласящий: береги других, и будешь сбережен сам. Это было непросто, ибо

нашей натуре зачастую хочется выскочить из собственного тела; она горазда на широкие или даже отчаянные жесты, на безотчетные порывы и необъяснимые поступки – а в них-то и таится смертельная угроза для очень малого. Взять те же прогулки по столице Лилипутии, стоившие мне немалых волнений, – настолько я должен был быть осторожен и собран, словно канатоходец.

Однако проблемы для лилипутских горожан создавали не только мои огромные башмаки, но и, прямо скажем, многое другое – в частности объемы моих ежедневных выделений, день ото дня все больше и больше заполнявших выгребную яму.

Здесь мне придется вернуться назад – к первым дням моего пребывания в Лилипутии, когда цепь на ноге ограничивала мою свободу, что, как оказалось, доставляло больше неудобств жителям, чем мне. Я уже имел случай рассказать о сей выгребной яме, приспособленной специально для удовлетворения моих естественных надобностей, – ведь в ее отрытии я принимал самое непосредственное участие. Так вот эта выгребная яма спустя всего несколько дней после того, как я впервые отметился в ней, стала причиной больших споров и прений в Государственном совете, к членам которого обращались возмущенные жители соседних с ямой кварталов. Дело в том, что при южных и юго-западных направлениях ветра окрестные кварталы окутывались исходящими из нее миазмами, и спасения от этого зловония не было. Если же ветер дул с севера, то миазмы уносило в пригороды и от них страдали лишь две-три ближайшие деревушки. Благо, сельчане жили не столь кучно, сколь горожане, и к тому же были более терпимы к запаху, напоминавшему тот, что исходил от домашнего скота, содержавшегося в подворье.

Поначалу для решения этой проблемы два десятка плотников сколотили огромную деревянную крышку – по специальному императорскому указу я обязан был немедленно закрывать ею выгребную яму после совершения своих естественных отправлений. На самую же важную с точки зрения здоровья процедуру мне в связи с вышеназванными обстоятельствами отводилось не более трех минут, что иногда представляло для меня определенные трудности, так как скорость очищения моего кишечника напрямую зависела от состава и качества поглощенной и переваренной пищи… Твердые фракции, формировавшиеся грубой пищей, могли бы сослужить мне скверную службу, превратив меня в хронического и злостного

нарушителя императорского указа. Вот почему мне пришлось серьезно пересмотреть свой ежедневный рацион (в чем мне помогло мое медицинское образование). Так я постепенно все больше отказывался от мяса, некоторых крепящих, вроде риса, круп и мучных изделий, и в основном налегал на овощи и фрукты, которые при многих недостатках имели то важнейшее для меня достоинство, что выходили быстро, пусть сам их выход и сопровождался пушечными для местного уха выстрелами, производимыми накапливающимися в кишечнике избыточными газами.

Однако наступил момент, когда и добротная крышка, которую, к счастью, в Лилипутии мог поднять лишь я один, перестала удерживать миазмы в положенном им месте, и стоило мне ее приоткрыть, как по всей округе подобием дурной вести разносилось зловоние, означавшее, что Куинбус Флестрин сел опростаться. Я не оговорился, сказав «к счастью», ибо первая же попытка очистить выгребную яму окончилась смертельным исходом для восьми из пятидесяти пяти мусорщиков, отряженных для исполнения этой обязанности, – четверо упали в нее и утонули, а четверо умерли от удушья прямо на краю ямы.

Это, кстати, и ускорило принятие мудрого решения – освободить меня от цепи, дабы я отправлял свои потребности вдали от города, то есть в трехстах моих шагах от места моего постоянного проживания. Подчас эти триста ежедневных шагов становились для меня поистине испытанием, если моя естественная нужда опережала мой торопливый шаг. Бывало, я не добегал до песчаного карьера, который мне определили для освобождения кишечника, или же добегал, но без специально сделанной для меня лопаты, которую мне надлежало каждый раз иметь при себе, – и тогда Его Величеству непременно приходила жалоба на меня. Избавление от продуктов жизнедеятельности человеческого организма в Лилипутии решалось иным способом, чем, скажем, в родной мне Англии, и только для меня из-за моих размеров было сделано исключение. Читатель, путешествовавший по Старому Свету, конечно, знает, какое зловоние царит у нас на городских улицах, особенно в кварталах бедноты, которая зачастую справляет свои естественные нужды прямо на мостовой. Но много ли отличаются от бедняков зажиточные горожане, имеющие средства для поддержания в надлежащем порядке своих выгребных ям? Ведь тому, что находится в последних, свойственны те же самые дурные ароматы, разве что скрываемые до поры, пока золотарь не остановит подле злополучной крышки своего запряженного в телегу с бочкой битюга. Да, мы чуть не забыли про лошадей, которые роняют на улицах и площадях наших городов груды навоза без всякого пиетета к нашим чувствам, руководствуясь лишь своими собственными животными побуждениями. Вот кто воистину свободен в исполнении требований своего кишечника. Иногда, застигнутый на улице Лондона или Бристоля спазмами в животе или коликами в кишечнике, я искренне жалел, что я не лошадь…

В Лилипутии же, повторяю, все было устроено совсем иначе – что у нас загонялось под землю, у них уносилось в небеса. Для этого в доме каждого лилипута было несколько десятков ночных ваз, во всяком случае, на одну персону их приходилось никак не менее дюжины. Вазы не опорожнялись, а закрывались плотно крышкой и выставлялись на балкон или на крышу под лучи солнца, которое в этих широтах было куда как щедро. То, что содержалось в вазах, быстро подсыхало, и к моменту, когда последние вазы в доме заполнялись до краев, первые были готовы к повторному употреблению, так как их содержимое уже представляло собой сухую консистенцию, которой можно было топить печи и камины. Этим здесь убивали сразу трех зайцев – обогрев жилищ в сравнительно холодное ночное время, поддержание в чистоте окружающего мира, а также превращение ненужного в полезное. А если кто и страдал от дыма, образовавшегося в результате сжигания лилипутских экскрементов, так лишь я один, поскольку таковой дым подхватывался воздушными потоками и проносился как раз на уровне моей головы, вернее – моего весьма восприимчивого носа. По этой причине во время прогулок по городу я старался не выпрямляться в полный рост, а слегка пригибался к земле, что горожане трактовали в свою пользу – как мою заботу о них, моих подножных ближних.

А вот история, которую вполне можно было бы отнести к разряду презабавных, хотя она и оставила в душе моей неприятный осадок.

Тот день ничем не отличался от предыдущих, да и вечер начался, как обычно, разве что

число моих маленьких визитерок оказалось чуть больше, чем всегда, на что я поначалу не обратил внимание, а когда обратил, было уже поздно, потому что, разместившись в рядок на моем естестве, они довели его до состояния, из которого нет пути назад. И вот в такой момент мне бросилась в глаза некая странность – в ряду длинноволосых головок, чьи обладательницы устроили пляски на моем скакуне, обнаружилась одна коротковолосая. Я сразу же понял, что голова сия принадлежит лилипутскому мужчине, разбирательство с которым мне пришлось отложить на некоторое время.

Не буду утомлять читателя рассказом о нахлобучке, какую я учинил сему маленькому бедолаге, а поделюсь соображениями, на какие навел меня этот случай.

Явление лилипута-мужчины среди моих прелестниц шокировало меня до такой степени, что после этого в течение нескольких дней мое естество отказывалось принимать требуемые прелестницами размеры, ибо я вместо того, чтобы наслаждаться, поневоле со страхом искал среди обнаженных красоток какого-нибудь лукавого самозванца.

О существовании в Лилипутии того явления, которым более всего были отмечены наши мужские монастыри, мне, как помнит читатель, было известно и ранее. О нравах, царивших среди монахов, я был достаточно наслышан, и в связи с этим не раз задавался настоятельным вопросом – угодно ли Всевышнему укрощение естественных запросов нашей плоти ради безропотного служения ему? И что сильнее в нас – плоть или дух? И почему в нас ропщет то одно, то другое, будто мы не одно целое, а, по крайней мере, два? И кому тогда выгодно такое наше неравновесное несовершенство? Разумно ли убиение плотских желаний в постах и молитвах? И кто кого породил – плоть ли дух или наоборот? Правда лишь то, что дух, испускаемый плотью, едва ли можно считать животворящим… Но и дух без плоти – что сие такое? И можно ли доказать его присутствие иначе, как запахом? Но тот ли это тогда дух, о котором столько разговоров вокруг?

Говорят, что плоть тленна, а дух бессмертен, и, казалось бы, это хорошо и утешительно, потому что во плоти мы все равно умираем, как бы ни возвышали свой дух. Стало быть, при нашей жизни дух все-таки вторичен, коль скоро не может обеспечить нам бессмертие, и только после того, как мы исчезаем, он якобы берет свое. Жаль, что это нельзя проверить, и что с того света никто ни разу не вернулся, чтобы подтвердить, что это так, – ни святой Августин, ни один из римских пап, ни… я уже не говорю о Платоне, который разбирался в сем вопросе никак не хуже нас с вами… Одно только знаю я досконально: если чересчур рьяно заниматься усмирением плоти, то она зачастую демонстрирует удивительные результаты живучести, при этом выворачиваясь наизнанку или принимая новые изощренные формы, далеко не сразу постигаемые нашим разумом. Это относится и к нравам в наших мужских и – смею сказать – женских монастырях, где человеческая тварь, лишенная, вопреки замыслу Творца, своей пары, обращается с плотскими притязаниями к себе подобной твари…

Сравнивая поведение человека с поведением всех остальных особей тварного мира, живущих вокруг нас, нельзя не заметить, что они не производят над собой подобных экспериментов, не укрощают плоть и не возвышают дух, даже не ходят в церковь и не соблюдают постов, а живут себе в счастье и довольстве, разводя потомство и не думая о бессмертии. Только человек ищет путь к Богу, будто земля ему не дом родной, и будто именно его плоть – главное препятствие на этом пути.

А ведь так было далеко не всегда – плоть воспевали, плотью гордились и в некотором смысле сделали ее бессмертной. Я имею в виду многочисленные образцы греко-римской скульптуры, дошедшей до наших дней. И разве не восхищались наши пращуры, населявшие солнечные берега Средиземноморья, одновременно и мужским и женским, активно любя и то и другое в зависимости от настроения и из душевной прихоти, возникающей по закону контраста… Разве не украшает наши дворцы и гостиные символ мужеской красоты – бюст юноши Антиноя, не того, что верховодил женихами Пенелопы и был убит первой же стрелою вернувшегося Одиссея, а другого, что был любимцем царя Адриана и по слухам утонул в реке Нил?

Впрочем, я отвлекся…

Дни мои проходили довольно однообразно (полагаю, что читатель уже догадывается, что я имею в виду под словом «однообразно»), если не считать редких праздников, которые устраивали Их Императорские Величества. Об одном из них я и хочу рассказать.

Лилипутские праздники – давняя традиция. Их не так уж много – три-четыре на каждые двенадцать лун. Праздники эти установлены в честь памятных дат лилипутской истории. Тот, о котором пойдет речь, знаменует событие многолунной давности, когда Великий Основатель учредил могущественное лилипутское государство. Лилипуты в этот день толпами выходят на улицы, а власти устраивают зрелища и бесплатные раздачи.

Я был приглашен лично Его Императорским Величеством и заранее явился на центральную площадь, образованную с одной стороны императорским дворцом, а с другой – зданием, где проходили заседания Государственного совета, который должен был сыграть немаловажную роль во всей истории моего пребывания в Лилипутии.

Проводя время в ожидании, я сидел на специально для меня приготовленном сиденье, представлявшем собой несколько сколоченных воедино стволов самого распространенного лилипутского дерева.

Я сидел, ведя светскую беседу с фрейлинами, которые расположились поблизости от меня на специально по случаю праздника сооруженных подмостках. Время от времени я вставал и осторожно (дабы никому не причинить вреда) делал несколько шагов, чтобы размять ноги, потом снова садился и снова с удовольствием предавался беседе с прелестницами, многих из которых я имел счастье знать лично.

Я встал, когда появились император с императрицей, и отвесил им почтительный поклон. Император махнул мне в ответ пальчиком, а императрица метнула в мою сторону взгляд, каким она могла бы смерить бегемота, неожиданно ввалившегося к ней в спальню. Понять не могу, чем я так насолил императрице, которая прежде вроде бы питала ко мне материнские чувства, как то и долженствует монархине по отношению ко всем ее верным подданным.

Как бы то ни было, но наконец все расселись на отведенные им места, толпа простых горожан разместилась чуть поодаль, и заиграла музыка.

Праздник начался с парада императорского войска. Прошли, чеканя шаг, гвардейцы Его Величества, затем проскакала кавалерия, оставив за собой облако пыли, потом промаршировали моряки – самое привилегированное сословие лилипутских военных, потому что флоту император уделял особое внимание, ввиду болезненности этого вопроса для Лилипутии, о чем я уже имел случай сообщить читателю.

Потом начались выступления артистов – главным образом это были танцы, исполнявшиеся хорошенькими лилипуточками под музыку, и оживленные комментарии мужской части общества, которая, ничуть не стесняясь своих жен, обсуждала достоинства исполнительниц. Впрочем, я уже достаточно знал о нравах, царящих в лилипутском обществе, а потому вовсе не был удивлен происходившим.

Ближе к вечеру устроили фейерверк, который и стал причиной несчастья. Одна из хлопушек угодила в окно императорского дворца – прямо в супружескую постель Их Величеств. Вскоре запахло гарью, потом в окнах появились клубы дыма, взметнулось вверх пламя.

Надо сказать, что при обустройстве дворца архитекторы не озаботились проведением к нему от морского берега канала, который в таких ситуациях стал бы спасительным средством. В реальности же ближайший водоем располагался на расстоянии ста шлипунгов (около пятидесяти ярдов), что для лилипутов является немалой дистанцией. Слава Богу, что я оказался поблизости.

Я принял единственно верное в той ситуации решение, пусть многие потом и осуждали меня за него. В тот день я выпил немало лилипутского эля, а потому давно уже ощущал давление на свой мочевой пузырь. Не хочу сказать, что этот пожар оказался как нельзя для меня кстати, но я одним выстрелом убил двух зайцев: во-первых, облегчился, а во-вторых, предотвратил катастрофу, грозившую уничтожить весь императорский дворец.

Правда, при этом произошла одна неприятность, вину за которую приписывают мне. При виде моего естества на площади раздался словно бы вздох, и все бывшие в поле зрения лилипутки попадали в обморок. (Хотя я и полагал, что мой детородный орган в невозбужденном состоянии не окажет на них такого воздействия. Правда, потом мои враги утверждали, что он был возбужден, а я, таким образом, явился злостной причиной возникшей паники и давки. Но это ложь чистейшей воды. Сомневающихся приглашаю

попробовать помочиться – а именно для этого я ведь извлек свой детородный орган из штанов – в возбужденном состоянии. Должен к сему добавить, что среди попадавших было немало и лилипутов мужеского пола, однако я не стал бы объяснять их реакцию принадлежностью к лилипутскому племени старадипов: просто зрелище, которому они были свидетелями, многим из них, владеющим всего лишь тонюсенькой соломинкой, могло показаться устрашающим.) Вся площадь на несколько мгновений превратилась в некое подобие поля битвы – всюду лежали бездвижные – и в основном женские – тела, а бывшие при них лилипуты-мужчины пребывали в не менее жалком состоянии, поскольку, с одной стороны, при виде того, что им открылось, прониклись сознанием собственного ничтожества, а с другой, – не знали, как привести в чувство своих любезных жен и подружек.



Здесь я должен оговориться. Сказав чуть выше «все бывшие в поле зрения лилипутки попадали в обморок», я погрешил против истины. Были и такие, кто остался стоять на ногах и даже не изменился в цвете лица. Такое разделение прекрасного лилипутского пола на падающих в обморок и не падающих в обморок имело только одно объяснение. И я полагаю, вдумчивый читатель уже догадался, в чем оно состоит. Какие неожиданные (но, тем не менее, вполне предсказуемые) последствия это имело для меня и для оставшихся на ногах читатель вскорости узнает. А пока нам пора вернуться на площадь.

…Через несколько мгновений упавшие начали открывать глаза, но тут – новая беда. Я уже говорил о чувствительности лилипутского племени к разного рода резким запахам и звукам, которые, с нашей точки зрения, отнюдь не столь ужасающие, какими их воспринимают нежные лилипутские носы или уши.

Я тем временем продолжал действия по тушению разбушевавшегося огня, и к зрелищу, которое только что произвело на толпу столь удручающее воздействие, добавилось шипение заливаемого струей огня и зловоние, которое даже мне ударило в нос, хотя я и был отдален от его источника на расстояние в двенадцать раз большее, чем все остальные присутствовавшие. Император и императрица со свитой на своем помосте напротив дворца подоставали

надушенные платки и заткнули ими носы.

Тем временем разбушевавшееся пламя было моими стараниями укрощено, и в пришедшей в себя толпе даже раздались аплодисменты. Я, правда, не знал, то ли отнести их на свой счет, вернее, на счет моего причинного места, которое произвело столь сильное впечатление, то ли на счет моих эффективных действий по пресечению разбушевавшейся стихии. Я раскланялся, заправляя в штаны тот орган, который помог мне победить огненную стихию, и испытывая некоторую неловкость, вполне объяснимую при моем застенчивом характере.

Я хотел было вернуться на свое седалище близ императорских подмостков, но тут понял, что последние гудят, как растревоженный улей.

Присмотревшись, я увидел картину, по зрелому размышлению совершенно естественную (если бы ситуация с пожаром не требовала от меня немедленных действий, а дала бы возможность поразмыслить и не принимать решения импульсивно, то я вряд ли бы сделал то, что сделал, именно потому, что реакция публики была вполне предсказуемой и с головой выдавала ее): часть благородных дам, хотя и весьма незначительная, все еще пребывала в обмороке, а другая – гораздо более многочисленная – хотя и в добром здравии, имела вид довольно экстраординарный, поскольку им приходилось выслушивать своих мужей, которые, вращая глазами и вытягивая шеи так, что, казалось, вот-вот готовы выскочить из своих мундиров, что-то грозно им выговаривали.

Жены реагировали по-разному. Некоторые – весьма агрессивно, давая отпор своим гневающимся мужьям, другие, потупясь, внимали с виноватыми лицами, третьи стояли подбоченясь и молча мерили презрительным взглядом своих благоверных. Не сразу, но я в этом пчелином жужжании все же разобрал отдельные гневные голоса (один и тот же вопрос повторялся с разными интонациями и с разной степенью желания услышать правдивый ответ: «Куру бытал Куинбус Флестрина дрюк?» – вопрошали мужья).

Более всего выделялись в этом хоре голоса главного казначея Его Императорского Величества (и, как выяснилось, моего главного врага) и министра двора Его Величества. Эти двое с упорством невыспавшихся ослов добивались ответа на свой вопрос, а их жены имели наиболее плачевный вид. Их милые личики были мне знакомы, поскольку… Впрочем, из соображений деликатности я должен поставить здесь точку и перейти к объяснению сей досадной оказии.

Я уже вскользь успел заметить, что мой дражайший Тоссек, которого я до поры до времени считал своим преданным другом, оказался матерым шпионом: обо всем происходившем в моей скромной обители он докладывал не только Его Величеству, но и всему Государственному совету, а тот в свою очередь по таким случаям устраивал специальные слушания (не премину сообщить читателю, что и мне тоже пришлось обзавестись шпионом, исправно докладывавшим мне обо всем происходящем за дверями Государственного совета, почему я с такой уверенностью и могу говорить теперь о том, чему не был прямым свидетелем, а узнал благодаря стараниям преданного друга; по понятным соображениям имени его я назвать, конечно, не могу). Таким образом, члены Государственного совета имели представление не только о том, что происходило вечерами (а нередко и днями) в моей башне, но и о том, как оно происходило. А именно: для них не было секретом, что все без исключения посетительницы, приходившие ко мне впервые, лишались сознания при виде моего естества то ли от испуга, то ли в предвкушении возможностей сладострастия, которые им сулила встреча со столь мощным орудием.

Теперь читателю, надеюсь, стало понятно, что случилось на подмостках: ревнивые и неревнивые мужья, видя, что их жен ничуть не обескураживают размеры моего естества, вполне обоснованно сделали вывод: их прекрасным половинам уже не впервой приходится встречаться с сиим инструментом. Этим и был обусловлен тот вопрос, который они задавали своим женам и который я счел возможным не переводить на английский язык.

Слушая сие скандальное брожение, я еще не представлял, какими последствиями такое ничтожное событие, как тушение пожара в лилипутском императорском дворце, чревато для меня лично. Некоторые прозрения на сей счет у меня появились, когда я увидел императорскую чету.

Его Величество не опустился до пошлых вопросов, однако выражение на его лице не

сулило ничего хорошего императрице, дававшей обычным своим высокомерным видом понять, что ей, мол, не вполне ясно, какие претензии могут быть у кого бы то ни было, включая и Его Императорское Величество, к ней – монархине с незапятнанной репутацией?! Однако, судя по всему, это не было убедительным для Его Императорского Величества, только что получившего довольно веский аргумент, свидетельствующий о неверности его жены, – аргумент в виде неупадения в обморок Ее Величества, тогда как все благонравные жены лежали без чувств на сиденьях и под ними.

Когда багровость лица Его Величества достигла такой степени, что, казалось, не миновать второго пожара, император поднялся со своего места и, тяжело ступая (я уже знал, что такая тяжелая походка императора – знак надвигающейся бури), направился прочь. Праздник закончился. Перед тем как удалиться, император смерил испепеляющим взглядом и меня, на что я только и нашелся сказать:

– Ваше Величество, не лишайте меня своих милостей.

Впоследствии я пришел к выводу, что только навредил себе сим скороспелым высказыванием, однако слово, как говорится, не воробей – поймать его было уже невозможно. По еще больше утяжелившейся походке императора я понял, что лучше мне было бы держать язык за зубами.

Мне (из уже названного мною источника) стало известно, что император тем же вечером учинил пристрастный допрос императрице. Почему, мол, настаивал император, зрелище, которое повергло на землю сотни достойных лилипуток, ее оставило равнодушной. Императрица же отвечала в том смысле, что и у нее подкашивались коленки, а на ногах ее удержало только крайнее возмущение моим поведением. Императору и этот довод показался не очень убедительным, а потому он распространил свой гнев не только на свою дражайшую супругу, но и на меня, своего верного слугу, чьей вины или злого умысла в случившемся не было.

«Лучше бы уж этот дворец сгорел дотла», – таков был вердикт многих присутствовавших на празднике. Думал ли я, что мой порыв, мой поступок, совершенный исключительно из чувства преданности к их монаршим величествам, приведет к столь печальному итогу?!

Впрочем, император, скрепя сердце, на следующий день вынужден был издать указ о назначении меня Главным пожарным императорского двора и награждении орденом «За преданное служение монарху», каковой я как великую драгоценность сохранил и по сей день.

Императору с его двором пришлось переехать в летнюю резиденцию, ничем, впрочем, не отличавшуюся от зимней, поскольку в Лилипутии нет таких резких переходов погоды, как в моем отечестве, – и лето, и зима всегда одинаково мягкие и ровные, если только не случается морозов или каких-либо других природных катаклизмов. Пострадавшее крыло дворца решено было снести, а на его месте построить новое, подтянув к дворцу морской канал.

Тот случай прибавил мне не друзей, а врагов. И теперь, спустя время, я иногда думаю, что лучше было бы и вправду мне остаться безучастным свидетелем пожара и дать императорскому дворцу целиком превратиться в пепел.

Дело осложнилось еще и тем, что государыня оказалась беременной, а император, несколько лет страстно ждавший наследника, теперь якобы не испытывал абсолютной уверенности в том, что именно он (а не я) является отцом будущего ребенка.

Мне доносили, что в покоях Их Величеств происходили шумные сцены: Его Величество грозно топал ногами, а Ее Величество заламывала руки и падала без чувств на кровать, устланную пуховой периной. Приходя в себя, она принималась убеждать мужа в нелепости его подозрений, но Его Величество от этого только еще больше свирепел и сильнее топал ногами, и тогда Ее Величество снова теряла чувства. Наконец, когда оба утомлялись, император сообщал жене: он дождется рождения ребенка, а там уже скажет свое окончательное слово. Но если младенец окажется хоть немного похож на меня, заключал император, то лучше бы ему вообще не родиться. Да и императрице не поздоровится, со мною вместе.

Должен сообщить читателю, что мне доводилось видеть лилипутских грудных младенцев. Зрелище, на мой взгляд, они являют собой слишком уж личинкоподобное. Представьте себе крохотное существо размером с гусеницу – писклявое и краснокожее. Впрочем, звук голоса лилипутских деток настолько тонок, что сравним с комариным писком, напоминая

последний и своей назойливостью. Как предполагал император, отличить своего наследника от моего (если только такое явление допускали законы природы; я имею в виду зачатие лилипутской женщиной от человека европейской комплекции) – ума не приложу. Впрочем, до рождения ребенка оставалось еще не менее шести-семи месяцев, так что пока я мог на сей счет не беспокоиться.

Жизнь моя тем временем шла своим чередом, невзирая на все веяния, какие шли из высоких сфер. Гостьи мои меня не забывали, а я принимал их с удовольствием, к которому, правда, нередко теперь примешивалось чувство, сходное с тем, что я испытал во время первого моего плавания, когда разыгрался шторм и наш корабль стали качать океанские волны… Стыдно моряку признаваться в этом, но я поначалу страдал морской болезнью и нередко перевешивался через фальшборт, чтобы не пачкать палубу. Впрочем, я отвлекся.

Не иссякал поток лилипуток, жаждущих поближе познакомиться с Человеком-Горой, как не иссякал и поток страждущих, надеющихся через меня обрести исцеление. Нередко по утрам, выглянув в окно, я покачивал головой при виде увечных и недужных – кто на костылях, кто ползком, кто поддерживаемый родными или друзьями, – все они с надеждой взирали на окна моей обители, что-то шепча себе под нос – то ли слова молитвы, то ли обращенные ко мне заклинания.

Я не знаю, как это все устраивалось. Видел только, что некоторые из моих посетительниц, жертвуя собственным удовольствием, стоят в готовности с наперстками-ведерками, а потом уносят произведенное мной добро, после чего страждущие приходят в движение, среди них наблюдается какое-то волнение, а через несколько минут все рассасывается, площадь пустеет и до следующего дня вокруг моей обители устанавливается спокойствие.

Я понимал, конечно, что долго так продолжаться не может, поскольку моя природа начинала противиться происходящему. К тому же сборища под моими окнами грозили в скором времени перерасти в волнения – ведь число страждущих не убывало, а количество потребного им целебного материала в силу естественных причин сокращалось.

Перемены наметились в тот день, когда утром меня разбудил чей-то высокий гнусавый голос, что было весьма странно, поскольку, как я уже говорил, слуги никого до моего пробуждения обычно ко мне не впускали.

Я открыл глаза и увидел лилипута средних лет, в клетчатом фраке, какие носят наши стряпчие, в высоких до колен сапогах со шпорами и ездовых штанах, хотя по выдающемуся животу я бы не сказал, что мой посетитель принадлежит к любителям верховой езды. Говорил он, прицокивая языком и жестикулируя больше лицом, чем руками. Речь его к тому же лилась сплошным потоком, опережая мысль, а потому первое время я понимал отнюдь не все из им сказанного. Но все же вскорости я сумел приспособиться и, напрягая слух, начал разбирать, о чем идет речь, хотя удовольствия от общения с ним мне это не прибавило.

Звали моего незваного (да простит мне читатель сей каламбур) посетителя Хаззер, а привели его ко мне соображения меркантильные; правда, пришел он скорее не с предложениями, а словно ставя меня перед свершившимся фактом, который я должен был принять, как принимают Божью волю или непреодолимые обстоятельства, хотя задуманное им предприятие без меня имело не больше шансов состояться, чем акт творения без Господа.

Говорил мой посетитель развязно-уверенно, он даже несколько раз сделал движение ладошкой как бы для того, чтобы покровительственно потрепать меня по щеке. Поскольку дотянуться до сего объекта ему было довольно затруднительно, жест этот у него получался какой-то незавершенный: он чуть наклонялся вперед, а когда его рука не встречала опоры, готов был, казалось, рухнуть со специальной подставки для гостей, на которую я помог ему взгромоздиться, чтобы нам удобнее было вести беседу.

Суть его предложений (впрочем, я уже говорил, что предложения его звучали довольно ультимативно) сводилась к следующему. Он собирался наладить выпуск чудодейственного лекарства для народа Лилипутии. Он собирался сделать народ Лилипутии самым здоровым в мире. Он собирался тем самым заслужить любовь народа Лилипутии и неплохо заработать. Дело было за малым – ему нужно было заручиться моим согласием, потому что производителем сей панацеи был ваш покорный слуга, любезные мои читатели. Но эта

малость ничуть не смущала моего гостя. Для него вопрос был решен.

– Так и быть, – сообщил он мне, – я беру вас в долю. Я даже готов поделиться с вами прибылью из расчета… Вы не поверите, потому что такого выгодного предложения вы еще никогда не получали и не получите. Слушайте меня и постарайтесь не упасть. Потому что если упадете вы, поднимется много пыли. А мне нужен чистый воздух. Я готов взять вас в долю на равных. Мне – девяносто процентов и десять процентов – вам. Только из собственного благородства и симпатии к вам лично. У меня одни расходы, у вас – одни удовольствия. У меня одни заботы, у вас сплошной праздник.

В денежном выражении десять процентов по его расчетам должно было составить колоссальную по лилипутским понятиям сумму в тысячу дрюф ежегодно. Один дрюф можно было бы приравнять к одной гинее, от чего я бы предостерег моего читателя. Для среднего лилипута один дрюф – столько же, сколько одна гинея для среднего англичанина. Но если средний лилипут мог прожить на один дрюф около месяца, то среднему англичанину этой суммы едва хватило бы на четверть ленча в лилипутской таверне (я, конечно, же имею в виду ленч не лилипутский, а способный насытить среднего европейца).

Я слушал моего гостя довольно рассеянно, так как мысли мои были заняты другим. К тому же я не придавал особого значения его словам, потому что он с первого взгляда не вызвал у меня доверия. Я молча кивал на его слова, прекрасно понимая, что эта болтовня ничем не кончится. Я был знаком с таким типом людей в своем отечестве. Главная их цель, кажется, навести тень на ясный день – авось под шумок и удастся как-нибудь погреть руки.

Мой визитер ушел, а я впал в такую прострацию от его лившейся непрерывным потоком речи, что после его ухода даже забыл о нем и о цели его посещения и, возможно, больше никогда об этом не вспомнил бы, если бы не события следующего дня.

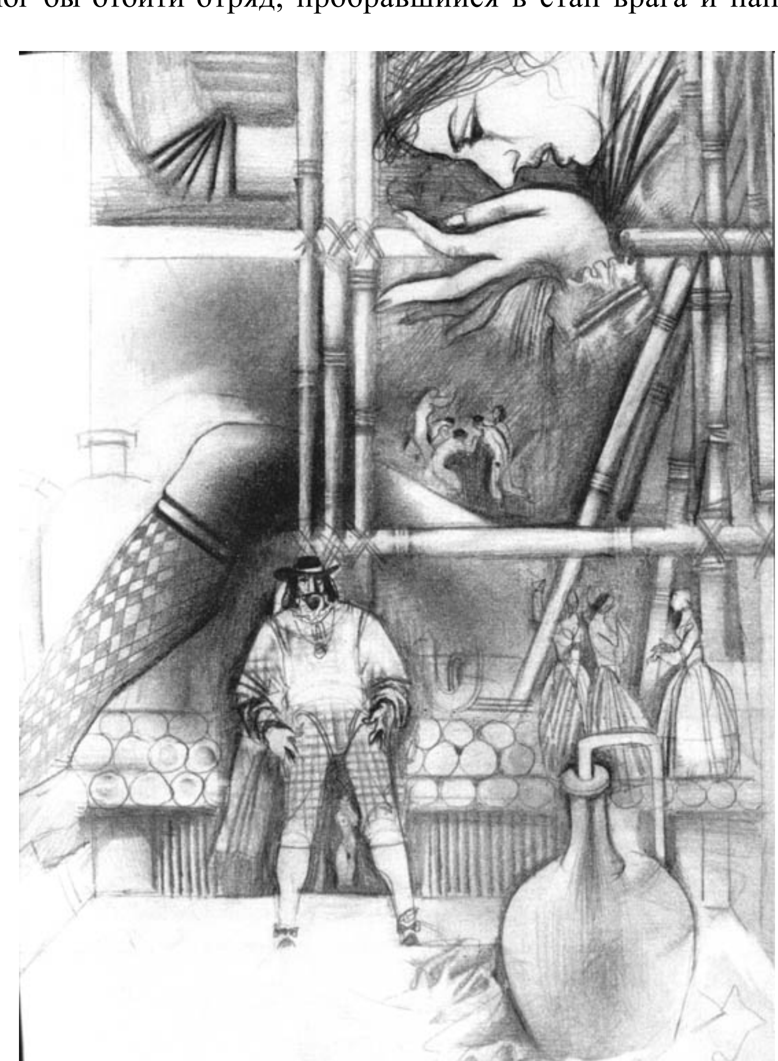
Я был немало удивлен, когда уже на следующее утро обнаружились перемены, которые я поначалу даже не связал с моим визитером. Толпа больных и убогих, которая обычно уже с утра начинала собираться под моим окном, на сей раз почему-то запаздывала. Зато на пустой площадке в дальнем конце площади перед моей башней с раннего утра закипела работа – десятка четыре лилипутов быстро сколотили некое подобие сарая, впрочем, весьма добротного, и тут же принялись за внутренние работы, о качестве и особенностях которых сказать ничего не могу, так как окна у сего сооружения предусмотрены не были, а проникнуть внутрь я, как вы сами понимаете, не имел ни малейшей возможности.

Некоторое время я пребывал в недоумении, но вскоре все разъяснилось. После полудня на площади появился мой вчерашний знакомец. Он быстрым шагом прошествовал в воздвигаемое сооружение, провел некоторое время внутри и таким же быстрым и уверенным шагом направился в мою сторону. Однако на середине пути он остановился, словно вспомнив о чем-то, снова условно потрепал меня по щеке, развернулся и пошел прочь. После его прихода на стройку прибыло еще десятка два лилипутов, затем появились тяжело груженные повозки. Их поклажу – это были какие-то котлы, змеевики, емкости с жидкостями – быстро перетаскали в новенькое сооружение, которое уже подводили под крышу. Если бы я стал свидетелем такого зрелища у себя в отечестве, то наверняка решил бы, что в этом доме поселился алхимик, жаждущий получить золото из воздушного эфира. Однако в Лилипутам, насколько мне было известно, наука еще не достигла тех высот, что были покорены моими соотечественниками, а потому я никак не мог заподозрить в алхимических пристрастиях моего вчерашнего гостя.

Хотя кое-какая ясность уже появилась, но окончательно туман рассеялся ближе к вечеру, когда среди обычной толпы моих прелестниц появились четыре лилипутки в халатах (которые, впрочем, были скинуты, когда дошло до дела), на спине которых красовалась буква лилипутского алфавита, отвечающая английскому h. Та же буква была начертана и на их оборудованных плотными крышечками ведерках-наперстках общим числом около двадцати. Действовали эти девицы весьма энергично в одном ритме с другими, но ко времени моего семяизвержения ловко облачились в свои халатики и со своими ведерками выстроились у дальнего конца моего детородного органа, чтобы ни капли драгоценной жидкости не пропала втуне. Когда я издал протяжный горловой звук, вырывающийся у меня перед заветным мигом сладострастия, одна из них подставила ведерко, а остальные уже держали

свои наготове, чтобы по мере наполнения первого подставить пустое.

Все было как всегда и не как всегда, потому что я ощутил какую-то невидимую руководящую руку в том, что происходило на моей подсобной табуретке и вокруг нее. Девицы в халатиках, получив свое (я имею в виду не только удовольствие, но и то, что они уносили в ведерках с плотно подогнанными крышечками), отошли по заранее намеченным маршрутам, как мог бы отойти отряд, пробравшийся в стан врага и нанесший противнику ощутимый урон.



Нет, конечно, никакого урона я не претерпел, но ощущение осталось какое-то двойственное, будто в нечто естественное и непринужденное вторглось что-то постороннее и искусственное, от чего поведение действующих лиц стало отдаленно напоминать дерганые движения марионеток. Даже участие в этом спектакле моей милой Кульбюль не могло избавить меня от ощущения некоторой неловкости. Однако я решил закрыть на это глаза и понаблюдать за тем, как будут развиваться дальнейшие события. А развивались они следующим образом.

Полные ведерки были скорейшим образом доставлены в отстроенное по соседству сооружение, где, вероятно, тут же начались какие-то работы. Об этом можно было судить по свету, проникавшему наружу сквозь двери, которые время от времени открывались, чтобы выпустить торопливого лилипута с каким-то грузом за плечами.

На следующий же день многое из происходившего разъяснилось. С утра пораньше ко мне заявился мой компаньон Хаззер. На лице у него лоснилась довольная улыбка. Он сообщил, что наше предприятие оказалось очень успешным, и доход от первых продаж превзошел все ожидания.

– Каков же доход? – поинтересовался я.

На этот вопрос я получил весьма уклончивый ответ, из которого, однако, можно было понять, что уже продано от шести до восьми тысяч порций чудодейственного средства, а при стоимости порции в четверть дрюфа… Я произвел в уме несложные расчеты и понял,

что если в Лилипутии хватит больных, то в скором времени Хаззер, а вместе с ним и я станем крупнейшими финансовыми воротилами этой могущественной империи (ах, как иногда можем мы обманываться в наших расчетах!).

Я попытался было выяснить, каким образом одно мое семяизвержение могло дать несколько тысяч порций целебного средства. Но тут объяснения Хаззера стали настолько туманными, что я отчаялся узнать истину и махнул на это дело рукой.

В то утро, чувствуя себя усталым после событий последних дней, я решил немного развеяться и, посадив себе в нагрудный карман мою возлюбленную Кульбюль, отправился на прогулку к берегу, чего прежде не делал.

Путь до моря занял всего несколько минут, я сел на прибрежный уступ и уставился в голубую даль. Впервые за последние несколько месяцев я вдруг почувствовал тоску по дому, по моей далекой Англии, по белым скалам близ Дувра, по ноттингемпширскому воздуху. Я погрузился в размышления.

Кульбюль, чувствуя мое настроение, тихонько сидела в моем нагрудном кармане, выставив наружу головку и тоже устремляя свой взгляд куда-то за горизонт.

Чувства переполняли меня. Наконец я сказал:

– О радость! О счастье! Смотри – там моя страна! Там мой народ![2]

Слезы навернулись у меня на глаза, одна из них скатилась по подбородку, и я вдруг почувствовал прикосновение к щеке нежной крохотной ручки.

– Не плачь, Гулливер, – сказала Кульбюль. – Ты еще вернешься домой. Ты еще увидишь свою страну.

Ее тоненький голосок прозвучал так сочувственно, что у меня еще больше перехватило горло. Заброшенный на край света, без малейшей перспективы выбраться с этого забытого Богом островка – какие у меня могли быть надежды? Соорудить даже самое жалкое подобие лодки из худосочных лилипутских деревьев не было ни малейшей возможности. Хоть бросайся в море и отдавайся на волю волн. Но это сулило верную гибель. Тогда как пока я оставался здесь, надежда могла еще теплиться в моей отчаявшейся душе. Предаваясь этим горестным мыслям, я вдруг почувствовал чье-то легкое прикосновение к моему естеству, пребывавшему в состоянии, вполне отвечавшему настроению, в котором я находился.

Я бросил взгляд вниз: ну, конечно же, моя милая Кульбюль решила утешить меня на свой лад. Она незаметно спустилась по моей рубашке, не без труда расстегнула пуговицы, извлекла на свет Божий своего давнего знакомца и теперь пыталась привести его в чувство. Я покачал головой, глядя на ее тщетные усилия, – уж слишком был угнетен мой бедный разум открывшейся передо мной истиной безысходности моего положения, а мое естество потому пребывало в полном огорчении.

Но Кульбюль, видимо, не знала, как угнетена моя душа, а потому продолжала свои усилия. Как это ни удивительно, но ее действия вскоре возымели успех. Я с изумлением почувствовал шевеление моего орудия, от которого по всему телу разлилась сладкая истома; дурные мысли куда-то исчезли, и я погрузился в блаженство. Дабы облегчить задачу Кульбюль, я улегся на спину, предоставив ей позаботиться о том, чтобы все завершилось к нашему обоюдному удовольствию. Бедняжке пришлось для этого постараться.

---

[2] Отметим литературную перекличку двух великих английских писателей XVII–XVIII веков. Гулливер, герой Свифта, здесь в точности повторяет косноязычную речь персонажа романа Дефо – Пятницы в эпизоде, когда они с Робинзоном приходят на берег и вдалеке в дымке возникают очертания острова. Приведем в оригинале слова Пятницы, подчеркнув еще раз, что именно эти слова обнаружили переводчики в оригинальных записках Свифта: «O joy! O glad! there see my country! there my nation!» – *Прим. Ред.*



Я вдруг вспомнил свою любезную женушку, которая, бывало, не без конфузливости, оседлав меня таким вот образом, нанизывалась на сие орудие так, что оно целиком исчезало в неизмеримых глубинах ее женской природы. Улыбнувшись этому воспоминанию, я скосил глаз на Кульбюль. Она старалась, как могла. Сидя у основания моего вздыбленного органа и обхватив его ногами, она работала как гребец на галере. Бедняжка! Потом, переместившись от основания к более чувствительному окончанию, продолжила свои нелегкие труды, которые, впрочем, и ее не оставляли равнодушной. Ее усердное сопение сопровождалось теперь постаныванием, звучание которого становилось тем тоньше, чем ближе подходили мы к завершению. И вот в тот самый миг, когда ее постанывание слилось в сплошное сладострастное журчание, я издал хрипловатый звук и пролился белесым фонтанчиком, который выстрелил вверх на три-четыре дюйма, а через мгновение накрыл с головой мою ненаглядную.

Некоторое время мы лежали бездвижно, а затем, когда силы вернулись к нам, очнулись к жизни. У моих ног плескался океан, и я, подставив Кульбюль ладошку, перенес мою возлюбленную в теплую, благодатную воду, которая и омыла ее.

Ах, это чудесное приключение на берегу! Разве мог я знать, что мы никогда более не повторим нашего путешествия сюда, не сольемся более в сладострастном единении, которое стирает границы между лилипутами и нами, людьми, похожими на меня и моего читателя.

Мы вернулись в мою скромную обитель, Кульбюль простилась со мной до вечера, отправившись по своим делам, а я прилег отдохнуть на свою койку. Но не успел я смежить веки, как комариным писком раздался рядом с моим ухом гнусавый голос. Я открыл глаза. На гостевой подставке рядом со мной стоял Хаззер. Лицо у него было багровым, он отчаянно жестикулировал, речь его лилась нескончаемым потоком. Наконец, я понял суть его гнева и претензий ко мне. По его словам выходило, что я нарушил наш с ним договор, израсходовав впустую семя, за которым уже выстроилась очередь страждущих. (Каким образом, спрашивал я себя, этот мошенник узнал о нашем с Кульбюль приключении на берегу? Впрочем, поразмыслив немного, я сам себе и ответил на этот вопрос: вряд ли в

Лилипутии может оставаться тайной, куда идет и что делает Человек-Гора.) Он брызгал слюной и говорил, что вычтет из моих дивидендов стоимость сей упущенной выгоды, помножив ее на коэффициент народного разочарования, что он обратится в суд, который подвергнет меня домашнему аресту, дабы здоровье народа Лилипутии не зависело от моих вожделений.

– Ответственность! Ответственность! И еще раз ответственность! – кричал этот лилипут. – Вы хоть понимаете, какое благодеяние я вам оказал, приглашая в столь важное дело?! Как вы можете пренебрегать своими обязанностями, когда великий народ Лилипутии ждет? Как вы берете на себя наглость распоряжаться тем, что вам не принадлежит?! Вы покусились на достояние великого лилипутского народа!

Он вещал таким образом довольно долго, а я слушал его и спрашивал себя – что мне мешает прихлопнуть его как назойливую муху? Вероятно то, что я тут же представил себе, как он лежит в гробу с жизнерадостным выражением на лице. Видимо, Хаззер почувствовал, что при всем моем терпении я дошел до точки, а потому вдруг понизил тон – с комариного писка перешел на шмелиное жужжание, что явно свидетельствовало о достаточной гибкости его характера. Отдаю должное Хаззеру – он был ловким политиком в том смысле, в каком это слово употребляют обыватели.

– Ну да ладно, – примирительным тоном закончил он. – Я погорячился. Но и вы хороши! Я думаю, мы оба извлечем уроки из этой истории. – Он выглянул в окно – на улице уже смеркалось. – У вас скоро гости. Не смею вас больше утомлять своим присутствием.

Он поспешил прочь, а я снова погрузился в свои грустные мысли. Сколько все это может продолжаться, спрашивал я себя. Как мне найти путь домой? Проводить дни напролет на берегу и ждать, что на горизонте появится парус? Но насколько мне было известно, в этот уголок света не заглядывали корабли. В лилипутских хрониках я не встретил ни одного упоминания о каких-либо чужестранцах. Значит, мои шансы быть спасенным каким-нибудь случайным мореплавателем – открывателем новых земель – были иллюзорны. Кажется, впервые в жизни почувствовал я себя в безвыходном положении. Но еще в ранней юности я взял себе за правило – никогда не поддаваться отчаянию. А потому попытался направить свои мысли в более позитивное русло. Но тут за дверями послышались тоненькие жизнерадостные голоса – мои гостьи теперь подчинялись, видимо, расписанию, составленному Хаззером.

Им в этот день пришлось немало потрудиться, моим прелестницам. Но в конечном счете все остались довольны. Даже я, невзирая на все трудности прошедшего дня. По окончании действа девицы в халатиках спешно удалились со своим грузом. А еще через некоторое время я увидел, как перед новостройкой на другом конце площади остановились три телеги, на которые спешным образом были погружены ящики, вынесенные из сооружения. Телеги отбыли, насколько я понял, с новой партией чудодейственного средства. А перед тем как мне улечься спать, в мою обитель заглянул Хаззер, который недовольно пробормотал: «Сегодняшняя порция была в два раза меньше вчерашней. Вот к чему приводит преступное расходование себя по пустякам». Он удалился, а я, улегшись на свою постель, скоро погрузился в глубокий сон. Если бы я знал, что враги замышляют против меня, то, вероятно, спал бы не столь безмятежно.

Дни шли за днями. Фабрика, запущенная предприимчивым Хаззером, успешно работала. Ежедневно к ее крыльцу подъезжало с десяток возов, плечистые лилипуты заполняли их коробками с продукцией, возницы принимались хлестать лошадей, те срывались с места и уносили драгоценный груз в разные концы могущественной империи.

В жизни моей мало что менялось. Вот только во мне зрело ощущение, что тучи надо мной сгущаются. Это ощущение подкреплялось слухами, которые приносили мне друзья. Правда, не все решались открыто заявлять о своих симпатиях ко мне, потому что чувствовали, в какую сторону дует ветер. А то, что он дует не в мою сторону, сомнений ни у кого не вызывало.

Читатель уже знает, что своими трудами на благо Лилипутии и ее народа и своею бескорыстною щедростью завоевал я себе не только сторонников, но и множество врагов (ибо таково уж свойство человеческой природы – на благодеяние отвечает она не всегда одной лишь преданностью и благодарностью; нередко благодеяние необъяснимым образом порождает

в ответ ненависть, что в полной мере и испытал на себе автор этих строк), а среди них довольно могущественных, имевших влияние не только на решения Государственного совета, но и на самого императора.

Моя персона стала камнем преткновения, поскольку грозила разрушить сложившееся равновесие сил в государстве, когда ни задники не имели достаточно сил для проведения своей линии, ни передники не имели возможности вернуть в полной мере свое былое влияние. Но были и такие, кто по тем или иным причинам числил меня в личных врагах. Друзья сообщали мне, что тот памятный пожар, который стал причиной скандала в императорском семействе, нарушил покой не одной только этой супружеской пары. В сердца десятков других важных особ закрались такие же мучительные, если не сказать столь же обоснованные, подозрения, которые я не мог ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку, как уже знает читатель, многие дамы являлись ко мне инкогнито. С другой стороны, запомнить всех моих визите-рок я не имел никакой возможности по понятным причинам их многочисленности (счет моим посетительницам я потерял на второй неделе, когда к девушкам из веселого дома стали присоединяться всевозможные случайные дамочки, прослышавшие о творившихся в моей обители забавах).

Не могу сказать с полной уверенностью, правы или нет были в своих подозрениях те вельможные мужи, у кого таковые родились, но полагаю, что ни один английский суд не принял бы в качестве доказательств супружеской неверности столь иллюзорные свидетельства, как злостное неупадение в обморок при виде детородного органа противоположного пола, пусть и весьма внушительного по размеру.

И уж для чего совершенно не было основания, так это для ненависти ко мне этих считавших себя оскорбленными мужей. Ну в самом деле, задавались ли они когда-либо вопросом, как я мог (да и был ли вправе) отказывать моим посетительницам в их насущных желаниях? Я бы на месте сих государственных мужей прежде всего задал вопрос себе: а что я сделал такого, чтобы моя жена не искала любовных утех на стороне?

Так или иначе, но перед внеочередным заседанием Государственного совета, на котором настояли мои враги, возникла политическая коалиция, получившая название «Мужья падших жен». По иронии судьбы падшими оказались как раз те жены, которые не упали во время злосчастного пожара. Но я уже привык к подобным противоречиям в лилипутской жизни. Ради истины, от которой я никогда не прятался, должен сказать, что и в моем отечестве полно подобных несуразностей.

Мог ли я, простой врач из Ноттингемпшира, когда-либо думать, что моя скромная персона станет предметом ненависти в таких высоких сферах, как императорский двор могущественной державы. Но сказать откровенно, мой любезный читатель, я бы предпочел честную и скромную безвестность тем бурям, которые бушевали вокруг меня.

Коалиция оскорбленных мужей действовала расчетливо и тонко. Ее участники вербовали себе сторонников из мужей неоскорбленных и лиц вообще не имеющих никаких оснований любить или ненавидеть меня. Они провели большую закулисную работу. Они полнили общество слухами самыми невероятными, подсовывали Его Императорскому Величеству записки весьма пасквильного содержания, еще больше возбуждая тем самым его недовольство. Они наушничали императору, плели про меня всяческие небылицы. И император все больше и больше склонялся на сторону наушников.

Императрица, видимо, чувствуя свою вину перед супругом и желая выставить меня в черном свете как интригана и рвущегося к власти заговорщика, тоже плела вокруг меня сети, пыталась привлечь на свою сторону знатных дам, а ежели те проявляли колебания, то тут же объясняла это их порочной связью с Куинбусом Флестрином.

По всем этим причинам ко дню заседания Государственного совета атмосфера вокруг меня создалась самая гнетущая. Судьба моя была предрешена. Об этом сообщали мне мои верные сторонники, среди которых одним из самых заметных был Хаззер, чья заинтересованность в моем благополучии питалась, безусловно, не только дружеским ко мне расположением, какового, впрочем, я в нем не замечал.

Преданным мне до конца оставался и излеченный от геморроя влиятельный государственный деятель, вернувшийся к исполнению своих обязанностей, тот важный муж,

который чуть было не вызвал меня на кровавую дуэль, и некоторые другие честные и порядочные лилипуты, чьи имена я, по понятным соображениям, назвать здесь не могу. Правда, они составляли явное меньшинство, а потому предпочитали помалкивать, учитывая еще и тот факт, что Его Императорское Величество не скрывал своего отношения ко мне, а оно, как помнит читатель, было отнюдь не благодушным.

И вот судьбоносный день настал. Члены Государственного совета собрались в императорском дворце заседаний. Император во вступительном слове очертил общую политическую ситуацию в стране и за ее пределами, а потом предложил высказываться присутствующим.

Первым на кафедру взошел один из моих могущественных врагов. Речь его была проникнута чувствами и не лишена некоторой логики, завоевавшей ему немало сторонников среди колеблющихся. Так, он привел аргумент, выслушав который, Государственный совет проникся невиданным дотоле единодушием.

«Куинбус Флестрин, – заявил сей муж, – уже лабеыв полстраны, и не за горами время, когда он тебеыв всю». (Я намеренно не даю перевода тех глаголов, которые использовал уважаемый член совета, а привожу их в оригинальном лилипутском звучании. Руководствуюсь при этом двумя соображениями. Во-первых, я не сомневаюсь, что мой любезный читатель и сам почувствует, о чем идет речь, а во-вторых, в английском языке нет слова точно соответствующего этому лилипутскому, поскольку ближайший английский аналог не передает оттенков того действия, которое называет сей лилипутский глагол. Поясню свою мысль следующим образом. Действия, производимые, скажем, молоточком ювелира и молотом кузнеца, хотя и похожи, но суть столь различны, что никому не придет в голову обозначать их одним глаголом. На этом объяснения сего феномена заканчиваю. «Для понимающего достаточно», – как говорили древние римляне.) Эта перспектива настолько напугала Государственный совет, что вопрос о моей дальнейшей судьбе тут же был поставлен на голосование и почти единодушно (за исключением двух-трех преданных мне членов, благодаря которым я и узнал о том, что происходило за закрытыми дверями сего почтенного учреждения, и которые из понятных соображений голосовали, как и все) был решен в пользу моего устранения одним из известных способов. Император, правда, пока не сказал своего заключительного слова. Зато императрица, по традиции присутствовавшая на заседаниях, выражала свое одобрение кивками головы и хлопками крохотных ладошек.

Но тут слово взял один из моих ярых сторонников. Ходили слухи, что его речь была оплачена моим другом Хаззером, однако несмотря на это она была проникнута искренним пафосом и сочувствием к моему положению, а также воздавала должное моим заслугам перед лилипутским государством. Помимо всего прочего, он сказал, что известные в Лилипутии и хорошо опробованные яды могут не подействовать на меня или могут подействовать в том смысле, что лишь ускорит наполнение выгребной ямы. А если яды подействуют в желательном для господ членов Государственного совета направлении, то разложение столь огромного тела может вызвать повальные эпидемии с катастрофическими последствиями для населения Лилипутии. Посему, резюмировал выступавший, вопрос должен быть решен в мою пользу, а народ Лилипутии должен продолжать извлекать выгоду из моего пребывания в стране. В подтверждение этого он привел старинную лилипутскую пословицу, гласящую: «Гостей принимай и о пользе своей не забывай».

После этих слов воцарилось молчание. На лице императрицы появилось гневное выражение – эта фурия была решительно настроена покончить со мной и таким образом скрыть свое грехопадение, о котором я, впрочем, в то время вовсе не собирался сообщать миру.

Затем взял слово дед нынешнего императора – специальным указом действующий император возвел деда в ранг пожизненного члена Государственного совета, хотя и без права голоса, и разрешил ему присутствовать на заседаниях, куда он приезжал из своей провинции, покидать которую во всех остальных случаях ему категорически запрещалось.

Дед, который после моего визита к нему проникся ко мне симпатией, сказал, что Лилипутия, будучи государством могущественным и благородным и еще больше укрепившим свое благородство и могущество, приняв на вооружение открытый им задний способ, более не может позволить себе пребывания в варварской дикости, а должна двигаться в заданном им

направлении ко всеобщему благу и процветанию, и было бы, по меньшей мере, неразумно не воспользоваться на этом пути теми возможностями, которое дает мое пребывание в Лилипутии. Он уже не говорит о том, что министерство, отвечающее за здоровье нации, могло бы повернуться лицом в мою сторону и провести научное исследование тех лекарственных средств, которые пока в стране используются на шарлатанской основе, но тем не менее приносят существенные плоды. Императорский дед мог еще долго продолжать в таком же духе, но его оборвал отец нынешнего императора (напомню читателю, что между дедом и отцом отношения не складывались, и последовавшая речь не отличалась сыновней почтительностью).

Отец начал с того, что, хотя его почтенный батюшка, как всегда, и наплел немало околесицы, но на сей раз в его речи было зерно истины, что, впрочем, лишний раз подтверждает старинную лилипутскую мудрость, гласящую, что и у осла четыре мосла. (Замечу в скобках, что у экс-императора тоже были основания чувствовать ко мне благодарность. С помощью моего экстракта его вылечили от падучей, которой он страдал в последние годы.) Дальше почтенный экс-император высказался в том смысле, что не видит целесообразности в столь радикальных мерах по моему устранению. Лабеыв-тебеыв – это, мол, абстракции, а пользы *от* моего пребывания в Лилипутии гораздо больше, чем вреда. Что он лично и может засвидетельствовать.

Чаша весов качнулась в мою пользу. Сам император согласно кивнул, подтверждая слова своего батюшки. После этого выступления было проведено новое голосование, которое на сей раз дало прямо противоположные результаты: лишь двое-трое непримиримых продолжали упрямо настаивать на моем устранении, а остальные уверенно голосовали за сохранение нынешнего статус-кво.

Однако после этого слово взял Его Величество, который и подвел итог дебатам, поддержав, с одной стороны, моих противников, а с другой – моих же сторонников. Умело балансируя между двумя крайними точками зрения, он сказал, что мое пребывание должно быть использовано во благо великой Лилипутии, а потому он своим указом, который не замедлит последовать, узаконит применение продуктов моей жизнедеятельности и установит порядок их отъема. Ниже я еще приведу в моем дословном переводе текст указа Его Императорского Величества, последовавший на другой день за заседанием Государственного совета, а пока расскажу, чем закончилось заседание.

Император в своем заключительном слове отметил также, что находятся еще, к сожалению, любители всяких закулисных махинаций, не упускающие возможности половить рыбку в мутной воде (в своей обычной манере имен император не назвал, хотя прозрачность намека не оставляла сомнения в том, кто имеется в виду) и погреть руки за счет народа Лилипу-тии, присваивая себе то, что по праву принадлежит всем. Однако государство, мол, не будет оставаться в стороне от этих процессов, а потому примет соответствующие меры, чтобы народ не был обижен, казна не терпела убытка, а те, кто проявил свою истинную физиономию, получил по заслугам.

Забегая вперед, скажу, что секретарь, готовивший эту императорскую речь, предупредил Хаззера о ее содержании, и тот к началу заседания уже пребывал вне пределов досягаемости судебных органов Лилипутии, то есть там, где находили убежище все, кто вызвал неудовольствие лилипутских властей, – на острове Блефуску.

На сем присутствующие мужи устроили императору долгую овацию, после которой разошлись по своим неотложным делам, а государственная машина заработала во всю свою невыносимую мощь во исполнение императорской воли.

О содержании указа Его Императорского Величества я узнал на следующий день – мне принес его императорский курьер, прискакавший на взмыленной лошади. Он вручил мне указ под роспись, а сразу же после его убытия мою скромную обитель окружили войска, которые вытеснили за кольцо оцепления всех прочих граждан и никого более пропускать не стали.

Я же тем временем погрузился в чтение указа.

«Мы, Божией Милостию Император Лилипутии и прилегающих морей, сим указом повелеваем:

1. Куинбусу Флестрину, именующему себя Лемюэлем Гулливером, мы продолжаем оказывать наше искреннее благоволение.

2. Означенный Куинбус Флестрин продолжает пребывать в предоставленном нашей милостию ему помещении, являясь нашим верным подданным и преданным слугой.

3. Означенному Куинбусу Флестрину нашей милостию вменяется в обязанность ежедневно и по три раза – утром, днем и вечером – отдавать свои молоки[3] учрежденным нами специальным посланникам, коим предписываем действовать строго по нашему повелению, а именно:

4. Специальным посланникам являться к означенному Куинбусу Флестрину ежедневно поутру, пополудни и перед закатом. В указанное время нашим специальным посланникам осуществлять дойку означенного Куинбуса Флестрина для получения от него молок в удовлетворительных количествах…

5. Полученные молоки использовать во благо подданных Нашего Императорского Величества для чего учредить Надзирательный совет, который пресекал бы возможные злоупотребления.

Подпись: Император Лилипутии.»

* * *

Жизнь моя с того момента в корне изменилась. Я из свободного человека, каким был до указа Его Императорского Величества, снова превратился в пленника, причем в пленника особого рода – которого берегли как зеницу ока. Меня кормили и поили как на убой. Мне по моему желанию приносили из императорских архивов старинные рукописи, благодаря которым я коротал время в одиночестве и знакомился с лилипутской историей. Мне было позволено передвигаться в пределах моей башни и прилегающей площади (из-за чего, кстати, вновь пришлось открыть выгребную яму), но не выходить за кольцо оцепления гвардейцев, которые денно и нощно несли свою службу, не допуская ко мне никого, кроме лиц, определенных императором, впрочем, только на протяжении трех первых дней после издания императорского указа.

«Что же это были за лица?» – спросит мой любознательный читатель. Отвечу: поначалу это были лица, при виде которых я чуть было из верноподданного слуги Его Императорского Величества не превратился в злостного мятежника и бунтаря. Но, к счастью, мне удалось сдержаться, а впоследствии и убедить Его Императорское Величество в том, что ежели он и в самом деле желает, чтобы я приносил пользу его государству, то ему придется внести изменения в тот указ, что скороспело родился после памятного заседания Государственного совета.

Однако объясню все по порядку.

Вскоре после того как вокруг меня сомкнулось кольцо оцепления, прибыла команда из десяти лилипутов во главе с одним из министров без портфеля, коих в правительстве Его Императорского Величества было пруд пруди (портфелей было мало, а желающих занять министерские посты много, поэтому императору приходилось раздавать министерские должности в надежде на то, что со временем у этих должностей могут появиться и портфели, как это случилось и с явившимся ко мне). Сопровождавшие его были все одеты одинаково – в халаты, туго затянутые поясами, и с узкими, облегающими рукавами. Это были довольно плечистые лилипуты, и по их осанке я мог бы предположить, что они служат в гвардии Его Величества. От сопровождавших отделился лилипут с трубой – выйдя вперед, он протрубил какую-то музыкальную фразу (закрой я глаза, то мог бы подумать, что в окно залетела назойливая оса), долженствующую подчеркнуть важность того, что сейчас последует. Затем министр достал из кармана камзола бумагу с печатями и стал зачитывать мне ее. Из этой бумаги выходило, что сия команда и отряжена «отбирать молоки у Куинбуса Флестрина», для чего они будут являться ко мне три раза на дню и производить действия, имеющие целью извержение интересующих их молок, которые тут же будут собираться в специальную емкость и отправляться в специальную Его Величества палатку для дальнейшей утилизации по назначению. Я посмотрел на плечистых лилипутов, назначенных «производить действия», и спросил, какого рода действия они намереваются производить? Ответом мне

---

[3] Так в оригинале: milt. – *Прим. перев*

было: «действия, ведущие к извержению молок».

Если бы не моя природная уравновешенность, я бы вышвырнул вон этого наглого лилипута вместе с его командой. Однако следуя давешнему своему правилу, я ответил, что природа так устроила людей моего племени, что какие бы действия не производили министры Его Величества и их подчиненные, желаемого результата они не добьются. Я как можно спокойнее объявил сему исполнителю монаршего повеления, что, даже будучи верным подданным и покорным слугой Его Императорского Величества, я не смогу выполнить то, что мне предписывается его указом. Я готов и далее проливать блага на народ Лилипутии, однако для исполнения сего требуются совсем другие средства. Невозможно изменить природу человеческую, как невозможно солнце заставить всходить не на востоке. Человека можно сделать несчастным, для этого существует много способов. Но вот счастливым человека против его воли не сделаешь никогда. Посему я покорнейше прошу Его Императорское Величество предоставить мне аудиенцию, на которой я бы мог изложить ему свои соображения на сей счет и предложить ему меры в обеспечение его указа, согласующиеся с моим естеством и потребностями.

Слыша мой решительный тон, министр был немало озадачен. Он смешался, не зная, что сказать. Выручил его все тот же трубач, который снова вышел вперед, протрубил все ту же мелодию, после чего вся команда ретировалась.

В тот день визитеров ко мне больше не было. Правда, вечером через оцепление пыталась прорваться дюжина лилипуток, но солдаты, сомкнув ряды, не пропустили их. Молча они выдерживали напор говорливой стайки, потом вперед вышел офицер, который сказал, что Куинбус Флестрин отныне является личным Его Императорского Величества гостем и вход к нему будет только по разрешению канцелярии двора Его Величества. Это несколько снизило накал страстей. Лилипутки собрались в группку, что-то долго обсуждали. Среди наиболее страстно жестикулирующих заметил я и мою Кульбюль, которая, казалось, была настроена особо решительно и готова идти штурмом, прорвать оцепление и получить то, за чем пришла. Однако благоразумие взяло верх, и мои несостоявшиеся посетительницы отступили перед силой оружия.

Афронт, который я дал министру, возымел незамедлительное действие. Не прошло и трех дней, как прискакавший на ронявшем пену коне гонец сообщил, что Его Императорское Величество намерен дать мне аудиенцию в ближайшие дни, о чем я буду извещен дополнительно, дабы иметь возможность подготовиться к сему великому для меня событию.

Ожидание мое затянулось еще на три дня, по окончании которых я снова увидел гонца, сообщившего мне, что император решил дать мне аудиенцию не в своих покоях, а в моем обиталище, дабы я не смущал спокойствия народа Лилипутии своим появлением в столице (неудобоваримая отговорка – я прекрасно знал, как радуются каждому моему появлению подданные Его Величества).

Старая лилипутская мудрость гласит, что если Блефуску не идет к Лилипутии, то тогда Лилипутия непременно придет в Блефуску.

Когда через два дня, проведенных мною, как и предыдущие, в вынужденном затворничестве, перед моей скромной обителью остановилась императорская карета, я хотел было выйти, чтобы поклониться Его Величеству, однако он подал мне знак рукой, чтобы я возвращался внутрь – аудиенция мне будет предоставлена там.

Произнеся церемониальное лилипутское «Крат комис припак», обязательное при приветствии императора, я сказал, что со дня достопамятного пожара во дворце был лишен милости лицезреть Его Императорское Величество, о чем искренне и со скорбью душевной сожалел все это время.

Видимо, не стоило мне напоминать императору о том злосчастном пожаре, приведшем в конечном счете к разладу в монаршем семействе. Однако я не царедворец и дипломатическим тонкостям не обучен, а потому всегда искренно высказываю то, что у меня на душе. К сожалению, прямота и честность не всюду ко двору, что, впрочем, ни в малой мере не относится к Его Величеству Императору Лилипутии, в чьем лице я неизменно встречал отеческую заботу, доброту и понимание.

Император пожелал, чтобы я перенес его вместе с его троном в мое обиталище и водрузил

на место повыше, чтобы он мог беседовать со мной, глядя сверху вниз, как и подобает монарху глядеть на своего подданного. Я с готовностью выполнил его пожелание, расположил трон на хорах, а сам уселся на свою постель – император сделал мне это снисхождение, хотя от других своих подданных и требовал, чтобы они стояли во время разговоров с ним. В моем случае это было бы затруднительно, поскольку, во-первых, мой рост превышал возможности башни, а, во-вторых, это не позволило бы Его Величеству смотреть на меня сверху вниз.

Я еще раз заверил императора в моих верноподданнических чувствах, после чего перешел к сути моей просьбы. Ни в коей мере не оспаривая необходимости известного указа, я высказал сомнение относительно уместности некоторых его пунктов, регламентирующих воплощение оного в жизнь.

Я сказал Его Величеству, что питаю любовь ко всему народу Лилипутии, но природа устроила меня так, что в некотором смысле мне ближе его – народа – прекрасная половина, которая единственная и может приводить меня в трепетное состояние, тогда как любые попытки добиться того же результата иными средствами обречены на неудачу.

Его Величество нахмурился и вопрошал гневным голосом:

–Вы смеете оспаривать законы?! В моем государстве это никому не позволено. Даже мне.

– Но я пекусь только о благе вас и ваших подданных, – возразил я. – Прикажите меня убить, это в вашей власти, но законы природы не могут быть изменены и лицом самым могущественным.

Услышав этот аргумент, Его Императорское Величество еще сильнее нахмурил брови. Всемогущие монархи не любят, когда им напоминают о том, что и они не всесильны перед лицом Природы. Однако он, видимо, все же не мог мне отказать в некоторой рассудительности, поскольку кроме грозного вида ничего больше в ответ предъявить не мог. Я же, чувствуя убедительность своих доводов, продолжал гнуть свою линию. Я не особенно лукавил, когда говорил, что пекусь о благе народа Лилипутии, но, конечно же, в первую очередь думал я о себе и о том, как буду выглядеть хотя бы и перед самим собой, если поддамся нелепому требованию, которое, так или иначе, останется невыполненным.

После долгих уговоров император наконец-таки смягчился и произнес свой вердикт: он своей властью дозволяет мне на мое усмотрение внести изменения в ту часть указа, которая касается «регламента отбора молок», о чем, однако, известит меня дополнительно. С этим он отбыл в своей карете, будучи предварительно самым осторожным образом вынесен мною из башни вместе с троном, с которого он так ни разу и не сошел за все время визита.

Последствия оказанной мне чести не замедлили наступить уже на следующий день, когда появился известный читателю министр со своим трубачом и огласил повеление Его Величества, предписывающее мне самому распорядиться регламентом действа, призванного – привожу точные слова, произнесенные министром: «произвести извержение молок у Куинбуса Флестрина».

Мои распоряжения были просты и понятны, а потому уже к вечеру этого же дня ко мне был допущен мой обычный контингент во главе с моей милой Кульбюль, которая в буквальном смысле от прилива чувств бросилась мне на шею, для чего мне пришлось поднять ее и поставить к себе на плечо, где она, держась за мою ушную раковину, принялась нашептывать мне нежные слова, от которых я сразу же почувствовал, как тепло разлилось по моему телу, наливаясь увесистым желанием, которое было тем сильнее, что я последние несколько дней провел в затворничестве.

Все прошло по уже заведенному меж нами порядку и завершилось к удовлетворению всех участников сего действа. Плоды моего многодневного воздержания были обильны как никогда, и я удивился тому, что большая их часть (кроме той, которой тут же на месте воспользовались мои гостьи) на сей раз была потеряна втуне, потому что вопреки указу не были подготовлены соответствующие ведерки (замечу, кстати, что ведерки, оставшиеся от Хаззера, были растащены гвардейцами Его Величества и использованы не по их прямому назначению; о дальнейшей их судьбе мне ничего не известно) да и, видимо, ни одной из моих прелестниц не было отдано распоряжений, как им надлежит действовать во исполнение указа Его Величества. Не могу сказать, что транжирство такого рода сильно меня огорчило, тем не

менее, поскольку мои слова о любви к народу Лилипутии не были пустым звуком, мне было жаль, что из-за столь нерачительного отношения к сему целебному продукту потерпят ущерб те, кто мог бы с его помощью избавиться от хворей и недугов.

Распорядок моей жизни с того дня круто изменился. Трижды в день за моим окном раздавался комариный клич трубы, после чего голос министра сообщал: «Куинбусу Флестрину к утреннему (дневному, вечернему) взятию молок приготовиться». Столь торжественное и четкое (всегда в одно и то же время – утром, в полдень и вечером) вступление вовсе не означало, что и сама процедура будет столь же безупречной. Нередко ответственные забывали приносить ведерки, а если приносили и продукт не пропадал на этой стадии, то мог складироваться на улице перед сооружением, воздвигнутым трудами Хаззера, и стоять там без движения по несколько дней кряду (я видел это из окошка моего жилища), что, без сомнения, не шло на пользу их содержимому. По прошествии некоторого времени, однако, процедура вроде бы была отлажена и сбоев в работе происходило все меньше и меньше, но поводы для размышлений и сомнений у меня все же оставались, поскольку к бывшему владению Хаззера, и ныне использовавшемуся для тех же целей, был прокопан канал, из которого новоиспеченные фармацевты отбирали воду в количествах, которое вполне могло свести к нулю все целебные свойства, исходно присутствовавшие в благородном продукте, мною усердно поставляемом.

Забегая вперед, позволю себе донести до читателя следующее. По слухам, которые застали меня уже в Блефуску, благое дело, как это нередко случается, стало приносить злые плоды. Выяснилось, что продукт, выпускаемый фармацевтической фабрикой, стал оказывать совсем не то действие, на какое рассчитывали больные и недужные, за немалые деньги приобретавшие его. Сначала забили тревогу женщины – почти все, кто пользовался сей дешевой поделкой, стали быстро волосатеть, при том не в тех местах, которые были определены природой для женского пола, а именно в тех, которые богаты растительностью у пола противоположного, причем касалось это странное воздействие главным образом ног. После соприкосновения с названным фармацевтическим средством ноги начинали покрываться волосами в таких количествах, какое редко встретишь даже на мужских нижних конечностях, если это, конечно, человеческие особи, а не какие-нибудь обезьяны, представляющие собой жестокую и красноречивую карикатуру на нас. Особенностью этого волосяного покрова было то, что появлялся он за две недели до начала женских кровотечений и опадал по их окончании. Таким образом, бедные лилипутки лишь несколько дней чувствовали себя полноценными. Ибо, сколько они ни старались выбрить свои нижние конечности, уже спустя час их ноги начинали колоться, как терновник, отпугивая мужской пол. Впрочем, самые изобретательные пары приступали к совокуплению сразу после окончания кровотечений, либо же после бритья…

Увы, от поддельного снадобья пострадало и мужское сословие, пытавшееся лечиться с помощью «целебного бальзама» от один только Бог знает каких болезней. Сие целебное средство и на мужчин-лилипутов оказывало совсем не то действие, какого они ожидали: их детородные органы стали постепенно увеличиваться в размерах. Поначалу это радовало носителей новых величин, ибо какой мужчина, будь он даже лилипутом, откажется от того, чтобы у него в известном месте было больше и крепче… Однако рост приводил к такому увеличению размеров, что интимные отношения для лилипутских пар стали затруднительны. Мало того, эти размеры повлияли даже на походку местных мужчин – они при ходьбе стали широко расставлять ноги, как матросы на корабле во время качки, однако многие все равно спотыкались и падали, причем, поскольку центр тяжести тела у них сместился, эти падения совершались только вперед. Вышеописанное послужило причиной многих семейных драм – ведь новые размеры лилипутов-мужчин обретались навсегда. Бедолаги вынуждены были искать удовлетворение своих потребностей в животном мире, где в наличии были довольно крупные самки – от коров до лошадей и верблюдиц… Но, по слухам (сам я не имел возможности в этом убедиться), среди тех, кто ответил на любовные нужды лилипутов, лучше всего зарекомендовали себя местные ослицы. Если по части низа новые возлюбленные сих ослиц оказались сопоставимы с традиционными партнерами, то по части верха, они, несомненно, превосходили последних галантностью и изысканностью манер.

Однако, несмотря на все эти скорбные обстоятельства, повлиять на них я не мог и мне

оставалось только сетовать. А жизнь моя тем временем шла, как заведенная, что при моем бродяжническом нраве не способствовало поднятию у меня настроения, которое падало тем ниже, чем ближе становился срок разрешения от бремени Ее Императорского Величества. «А что если и в самом деле новорожденное чадо будет иметь мои черты? – спрашивал я себя. – Какие это будет иметь для меня последствия?» Самые ужасные – таков был очевидный ответ. А потому мне нужно было поскорее принимать решение об оставлении гостеприимного острова, дабы избежать гнева Его Императорского Величества (замечу в скобках, что я так до сего дня ничего и не знаю о плоде, который принесла императрица: признал ли его император за свое законнорожденное чадо или, обнаружив в нем мои ненавистные черты, отверг и неверную супругу, и принесенного ею бастарда).

Я день за днем обдумывал шаги, долженствующие обезопасить меня от злобной мстительности сильных мира сего. К сожалению, выбор у меня был невелик. Из соображений этических и нравственных я сразу же отверг возможность объявления мною – при неблагоприятном разрешении известного дела – войны Лилипутии. Что ж я, наверное, смог бы даже одержать победу в такой войне, но цена, которую пришлось бы за это заплатить, была для меня неприемлемой. Горы лилипутских трупов ради спасения жизни одного Куинбуса Флестрина – не слишком ли это дорогая плата за похотливое любопытство и минутное наслаждение Ее Императорского Величества.

Если бы я мог найти хоть самую жалкую лодчонку, я бы, не колеблясь, отправился в путь, доверившись стихиям, которые пока были благосклонны ко мне, даже хотя бы и в том, что вынесли мое обессилевшее тело на благодатный берег Лилипутии, а не дали сгинуть в морской пучине. Но кроме нескольких десятков боевых кораблей лилипутского флота (годившихся разве на то, чтобы ноттингемпширские мальчишки пускали их в бескрайних лужах, кои в великом множестве разливаются на улицах английских городов после дождей), у меня не было других средств, а отправляться вплавь в море, надеясь на удачу, было чистым безумием.

Из этого вытекало, что в моем распоряжении остается одна мера, да и та носила, по моему разумению, лишь временный характер. Мера сия состояла в том, чтобы в ближайшие же дни пересечь пролив, разделявший Лилипутию и Блефуску, и принести присягу на верность монарху соседней державы.

Душа моя разрывалась при мысли о том, что придется расстаться с Кульбюль. Я хотел, насколько это было в моих силах, обеспечить ее будущее, и содержимое моего кошелька – свидетельство былой императорской щедрости – понемногу перекочевывало в ее кармашек, против чего она, кажется, не очень возражала. Себе я оставил лишь самую малость – я ведь вовсе не был уверен в том, какой прием окажут мне на Блефуску, а потому хотел иметь хоть что-то на пропитание в первые дни, пока не найду способа зарабатывать себе на хлеб своим трудом.

Рассказываю я об этом для того, чтобы читатель понимал, в какой непростой обстановке приходилось мне принимать решение о бегстве в Блефуску. И хотя со стороны блефускуанских властей я всегда встречал радушие и понимание, среди военных (а особенно моряков) мое появление вызвало глухой ропот. Правда, те же моряки в скором времени помогли мне в починке лодки, на которой я и покинул их остров, но я думаю, делали они это из желания поскорее от меня избавиться.

Однако пока дни шли своим чередом. Фармацевтическое предприятие, чью работу я мог наблюдать в часы досуга (коих было у меня предостаточно), действовали и днем и ночью. Но в глубине души я провидчески знал, что с каждой лишней порцией действенность когда-то чудодейственного средства уменьшается, а его репутация в глазах жителей Лилипутии катастрофически падает. Знал я также, что страдает и моя личная репутация. Я это чувствовал и по косым взглядам, которые бросали на меня министр и его прихлебатели, когда трижды в день являлись ко мне («Куинбус Флестрин, к вечернему взятию молок приготовиться!»), и по тому настроению, которое возобладало даже среди тех избранных, кто был допущен ко мне во исполнение указа Его Императорского Величества и для получения удовольствия. Сей чуткий инструмент чувствовал веяния времени и даже, вероятно, скорое окончание своего неожиданного счастия, а потому глаза у моих дам в последнее время были на мокром месте, и оживлялись они лишь только во время наших скачек, которые по-прежнему доставляли всем

сторонам желанное удовольствие.

Время, однако, шло, подталкивая меня к решительным действиям. Мой скакун временами впадал в отчаяние. Удручал и вид фармацевтического заведения, не прерывавшего работы ни днем ни ночью. Эти труды пробуждали во мне грустные мысли, поскольку я догадывался, что пользы от них, вероятно, больше казне, чем народу Лилипутии. Я даже, как это ни странно, с благодарностью вспоминал Хаззера, который, хотя прежде и вызывал у меня неприязнь, но умел поставить дело так, чтобы и польза была, и самому оставаться не внакладе. Я тогда еще не знал, что скоро снова встречу этого господина в новых обстоятельствах.

Я никак не мог принять решение – говорить ли мне Кульбюль о моих намерениях или поставить ее перед свершившимся фактом. Сомнения терзали меня. С одной стороны, мне казалось невозможным расстаться с ней, не простясь, с другой – я опасался, как бы она невольно не выдала меня и тем самым не затруднила осуществление моих планов.

Я колебался до самого последнего дня. И только после «вечернего взятия молок» в день намеченного мною побега, я попросил ее остаться, а когда все ушли, посадил к себе на ладонь. Кульбюль поглядывала на меня своими глазками-бусинками, по лицу ее гуляла рассеянная улыбка, которая, как я уже успел заметить, всегда появлялась у нее после наших соитий.

Мне не хватило духу открыться ей. Я лишь погладил ее щечку кончиком мизинца и сказал, что просто хотел побыть с ней немного наедине. Потом я подарил ей еще несколько лилипутских золотых и простился до завтра. Сердце у меня разрывалось, когда я произнес эти слова. Я знал, что не будет у нас никакого «завтра».

Ближе к рассвету я, рассовав по карманам свои пожитки и свернув тюком одеяло и прочие спальные принадлежности, отправился к гавани, где стоял на якорях умноженный моими стараниями лилипутский флот. Корабли никак не охранялись, поскольку теперь можно было не опасаться атаки блефускуанского флота, а других врагов у Лилипутии не было. Ножом перерезал я якорные канаты на двух десятках кораблей, на один из них уложил увязанный мною ранее тюк и, таща за собой корабли, взял курс на Блефуску. Через полчаса я почувствовал у себя под ногами дно и оставшиеся до берега четверть мили прошел пешком. С восходом солнца я уже привязывал корабельные канаты к специально для этого вбитым в землю крюкам, простаивавшим без дела с тех пор, как Блефуску лишилась флота. Теперь я возвращал этой могучей державе то, что из-за моего вмешательства перешло в другие руки, но по праву должно было ей принадлежать.

Мое прибытие на соседний остров произвело далеко не такой фурор, причиной какового я был в свое время в Лилипутии – ведь о моем существовании обитатели Блефуску уже знали, как знали и о моем мирном нраве. Оказалось также, что дознались они и о моем женолюбии, но об этом – отдельный разговор. Что касается последнего, то я вскоре узнал, кто распространял в Блефуску эти слухи и в чьих это было интересах. «А не было ли это и в моих интересах?» – спросит слишком проницательный читатель . Нет, – отвечу я. Последние недели моего пребывания в гостеприимной Лилипутии привели к полному истощению моих сил – как физических, так и нравственных. А потому моего перемещения в соседнюю державу ждал я, как ждут манны небесной, как ждут отдохновения после трудов праведных, как ждут света маяка в ночной тьме.

Читатель поймет мои чувства, если представит себя в моем положении – дойная корова лилипутского двора в прямом и переносном смысле. Не удивительно, что на следующий же день после моего бегства император Лилипутии прислал послов к правителю Блефуску, требуя моей немедленной выдачи. Блефускуанцы отвечали уклончиво – окончательно портить отношения с могущественным монархом соседней державы они отнюдь не желали, по крайней мере, пока им не будут ясны мои дальнейшие намерения и цели, которые они желали обратить к своей пользе, о коей – как они ее понимали – я и намереваюсь вскорости поведать читателю.

А пока лишь скажу, что в первые два дня, отдав дань вежливости и почтения правителю Блефуску, я провел в безделье и ничегонеделании. И хотя здесь у меня не было крыши над головой (во всем Блефуску не нашлось сооружения, которое могло бы вместить Человека-Гору), мягкий местный климат да привезенное мною одеяло позволяли мне чувствовать себя вполне уютно по ночам.

Но вот наступил третий день, который вернул меня к реальности, напомнив не только о событиях минувших, но и о необходимости позаботиться о днях будущих. Утром этого дня меня разбудил знакомый голос, который я спросонок попытался было отогнать рукой, как отгоняют надоедливого комара. Но мои пальцы только ухватили пустоту, а назойливый писк не прекратился. Я сделал еще одно такое же движение – тщетно. Пришлось открыть глаза.

Да, это был он, мой знакомый и партнер по столь многообещавшему поначалу предприятию – фармацевтической мануфактуре, которая должна была обогатить вашего покорного слугу и снабдить народ Лилипутии панацеей. Хаззер ничуть не изменился. Все тот же напор и нагловатая уверенность. Необходимость побега из Лилипутии ради спасения собственной шкуры и капиталов ничуть не сбила с него спесь. Он и в Блефуску чувствовал себя как дома и был полон планов, которые с моим прибытием стали приобретать в его мозгу вполне реальные очертания. Он начал было расписывать мне перспективы, но я резко оборвал его, сказав, что не только в его предприятиях больше участвовать не намереваюсь, но горю единственным желанием – изыскать способ переместиться в родное отечество свое, где обитают люди моей породы, где ждет меня семья и дом. Хаззер от такого поворота несколько опешил, но потом, поразмыслив немного, видимо, пришел к заключению, что можно попытаться заработать и на моем желании отбыть в отечество (слава Богу, я обошелся собственными средствами и мне не пришлось прибегать к его услугам), и поспешил отправиться по своим лилипутским делам. А я погрузился в свои тяжкие размышления. Окажись я не в стране крошечных людей, думал я, а в стране великанов, соорудить какую-никакую лодчонку для меня не составило бы труда. А здесь, где самое большое дерево едва достигает мне до плеча, а в обхват укладывается между большим и указательным пальцами, морские путешествия приходилось ограничивать купаниями вблизи берега. Я клялся себе, что если Провидение сподобится каким-либо чудом доставить меня домой, нога моя больше не ступит на палубу корабля. Конечно же, я лукавил. Кто из нас в отчаянную минуту не дает пустых зароков? Видно, такова уж человеческая природа, которая, поддаваясь насущным нуждам, готова прибегать к лживым обещаниям. Я знавал моряков, которые, сходя на берег в порту без гроша в кармане, готовы были посулить представителям дамского сословия чуть не луну с небес, но, получив свое, мигом забывали о своих обещаниях.

К вечеру того дня, когда я окончательно – как я тогда полагал – избавился от Хаззера, у моего блефускуанского обиталища, которое, в отличие от моего лилипутского жилья, было похоже скорее на логово дикого зверя (и в самом деле, трудно назвать жилищем подобие шалаша, сооруженного наскоро из десятка чахлых деревьев, подстилку – пожертвованный мне правителем Блефуску занавес бывшего императорского театра – и одеяло, которое я предусмотрительно захватил с собой из Лилипутии), послышались какие-то шорохи, приглушенное щебетание, как если бы стайка птиц прилетела на новое место и, переговариваясь между собой, решала: стоит здесь остановиться или лучше поискать что-либо иное – более удобное и безопасное. Я прислушался, повертел головой и наконец определил источник сего шороха. Он находился в кустах футах в тридцати от меня. Но когда я поднялся, чтобы исследовать это явление, из куста врассыпную бросились десятка два лилипуток, которые, как вскоре выяснилось, оказались, конечно же, блефускуанками. Однако мое заблуждение было отнюдь не случайным – ведь я столько времени провел в Лилипутии и к тому же лилипутки были похожи на блефускуанок в той же мере, в какой блефускуанки были похожи на лилипуток, а потому отличить одних от других было невозможно.

Я попробовал было криками остановить разбегающихся девиц – а в том, что это девицы сомнений у меня не было: невзирая на миниатюрность форм, некоторые признаки были безошибочны даже на значительном расстоянии, – но они лишь припустили еще быстрее. Преследовать их я не решился, дабы не стать причиной их нечаянного членовредительства.

Я вернулся на свое место и снова погрузился в грустные размышления. Однако из печальных мыслей меня вскоре снова вывел шорох и щебетание в кустах. На этот раз я был осторожнее. Я приветственно помахал рукой в направлении куста и сказал на чистом лилипутском языке:

– Дорогие гостьи, со мной вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Выходите и расскажите, что привело вас ко мне.

Последовало короткое молчание, а потом из куста вышла самая, вероятно, смелая из пришедших ко мне блефускуанок. Она не без опаски приблизилась ко мне и, оглядываясь на своих не столь отважных товарок, объяснила цель их прихода. (Предвосхищая возможное недоумение читателя относительно языка, которым пользуются для общения между собой блефускуанцы и лилипуты, отсылаю его к заключительной части, где я даю разъяснения на сей счет.)

Как оказалось, слухи о моих мужских достоинствах чудесным образом проникли в Блефуску через пролив, разделявший две могущественные державы. Поскольку сношения между двумя странами, несмотря на некоторые сдвиги последнего времени, оставались враждебными, а посему отсутствовали, меня немало удивила такая осведомленность. Каким образом узнали они о моих лилипутских похождениях? Единственным достоверным объяснением, пришедшим мне в голову, был длинный язык Хаззера, который, видимо, преследуя какие-то свои выгоды, сделал достоянием блефускуанцев то, что было хорошо известно лилипутам.

Читатель уже, конечно, догадался, что привело ко мне эту стайку, которая, невзирая на свою пугливость, видимо, была исполнена решимости причаститься тех благ, что в таком изобилии получали их сестры на соседнем острове – иначе, зачем бы они пришли сюда? Тяга к сладострастию и удовольствиям в нас, видимо, сильнее всех страхов и опасений. Разве мог я отказать этим отважным маленьким искательницам приключений? И, тяжело вздохнув, я ответил, что готов удовлетворить их любопытство, однако же ставлю условием: мы не будем превращать сие времяпрепровождение, хотя и обоюдоприятное, в привычку. Я прибыл в Блефуску для выполнения важной миссии и не могу позволить, чтобы какие-либо препятствия, пусть даже и самые усладительные, помешали мне в достижении моих целей.

Не буду утомлять читателя описанием последовавшей за этим сцены – она мало чем отличалась от подобных в башне на окраине лилипутской столицы, хотя и имела некоторую новизну не столько для меня, сколько для моих неожиданных гостий, со всеми вытекающими для них последствиями: обмороками (в чем я вижу подтверждение близкого родства блефускуанского и лилипутского племен, яростно оспариваемого некоторыми учеными мужами из Блефускуанской академии высших наук), закатываниями глазок, тоненькими повизгиваниями и прочими проявлениями их женской природы. Я же в силу моего тогдашнего умственного расположения оставался пассивным участником этого действа и лишь ближе к концу испытал некоторое воодушевление.

Тяжелые мысли не давали мне в полной мере насладиться прелестями блефускуанок, коими природа их отнюдь не обделила. Впрочем, если они чем и отличались от своих сестер за проливом, так это более звонкими голосами и чуть более бурным темпераментом. Тому есть вполне удовлетворительное объяснение: Блефуску лежит несколько южнее империи лилипутов, а, как известно, под южным солнцем созревают и более пылкие страсти.



Я уже заметил, что не мог отвечать моим новым подружкам с прежней своей истовостью, поскольку тяжелые мысли одолевали меня. К тому же я тосковал по Кульбюль, которая оставила неизгладимый след в моем сердце. Ведь я одно время даже подумывал (признаюсь в этом теперь): уж если мне не суждено покинуть эту землю, лежащую вдали от путей цивилизации, то не коротать же весь свой век в холостяцких забавах. Нужно обзавестись семьей, трудиться и воспитывать детишек. И хотя моей компанией не брезговали и самые знатные особы, лучшей спутницы жизни, чем Кульбюль я во всей Лилипутии не видел. И не моя вина в том, что судьбе было угодно распорядиться иначе.

Таким же горьким размышлениям предавался я и после ухода моих посетительниц, которые заставили меня обещать хотя бы изредка оказывать им честь. Я как истый джентльмен заметил, что напротив, это они оказывают мне честь своим желанием видеть меня, и я буду рад по мере возможности и благорасположения встречаться с ними, о чем буду извещать их особым знаком, о котором мы специально условились.

Спал я плохо, часто просыпался от холода и неустроенности, а утром меня посетил полномочный посол в ранге министра, присланный блефускуанским правителем Макуком XIII.

Здесь я должен сделать небольшое историческое отступление и сказать несколько слов о государстве Блефуску. Если у читателя сложилось впечатление, что Блефуску – монархия, то я спешу развеять это заблуждение. Монархия в этом государстве была ликвидирована после отъединения Блефуску от Лилипутии. Тогда же всенародным собранием была принята временная конституция, с тех пор так и действовавшая без всяких ревизий, если не считать нескольких десятков поправок, которые в корне изменили ее содержание.

Правители Блефуску, согласно той всеблефускуанской конституции, избирались всенародно: один раз в каждые двенадцать лун народ сходился на центральную площадь столицы, где и волеизъявлялся самым необычным из известных мне способов. Претенденты на высший государственный пост становились на специальные помостья, а народ забрасывал их гнилыми фруктами и яйцами. Тот, кто оказывался наиболее закиданным и считался

победителем. Сожалею, что не довелось стать свидетелем столь необычного зрелища и могу поведать о нем читателю не как свидетель, а лишь как прилежный собиратель диковинок, узнавший об этом странном обычае из рассказов участников оного.

Замечу также, что блефускуанская конституция запрещала избирать на высший государственный пост одно и то же лицо больше трех раз, и я, будучи представлен Макуку XIII, решил было, что народ Блефуску питает какое-то особое пристрастие к этому имени и неизменно на высший пост в государстве избирает Макуков. Оказалось, что я ошибался. Первый же (и пока единственный) правитель так пришелся по душе народу Блефуску, что тот пожелал выбрать его и в четвертый, и в седьмой, и в тринадцатый раз. Но дабы не нарушать закон при каждом новом (после узаконенных трех первых) избрании полюбившегося правителя переименовывали: так он из Макука I стал Макуком II, потом Макуком III и так далее до нынешнего своего явления под именем Макука XIII. Блефускуанцы, таким образом, проявили незаурядную изобретательность, сумев остаться законопослушным народом и в то же время ради общественного блага разрешив неразрешаемую, казалось бы, юридическую коллизию вот таким простым и изящным способом.

Правда, до меня доходили слухи, что блефускуанцы просто не могли отказать себе в удовольствии закидать своего правителя тухлятиной, а потому вольно или невольно продлевали мандат Макука, который вполне мог рассчитывать отойти в мир иной, сидючи в верховном кресле под именем Макука тридцатого или сорокового. Дай Бог долгих лет этому выдающемуся правителю.

Однако не буду предаваться досужим домыслам на сей счет, поскольку по другим сведениям блефускуанцы всей душой любили своего правителя и, закидывая его по народной традиции гнильем, выражали тем самым свое искреннее желание видеть его на высшем посту государства. И хотя мое знакомство с Макуком XIII было весьма непродолжительным, я могу со всей ответственностью утверждать: нет ничего удивительного в том, что он пользовался всенародной любовью и в день выборов уносил на себе знаки этой любви, в отличие от других кандидатов, уходивших с центральной площади в том же виде, в каком они там появились. Он был статен, красив, умен и, самое главное, отвечал на народную любовь не менее пылкой любовью, проводя дни и ночи в неустанных отеческих заботах о благе граждан Блефуску.

Впрочем, я отвлекся, а теперь пора рассказать читателю о деликатной миссии, с которой прибыл ко мне посол по особым поручениям правителя Макука XIII. Прежде чем начать беседу со мной, он приказал сопровождавшему его отряду блефускуанской гвардии выставить оцепление и никого под страхом наказания не подпускать ближе, чем на пятьсот кундюмов (около сотни футов). Из этого я сделал вывод, что секретность его миссии весьма высока, и не ошибся.

Невзирая на принятые меры и отсутствие вблизи чужих ушей, посол говорил вполголоса и мягким движением руки дал и мне понять, чтобы я понизил голос и никто не мог услышать нашей беседы. Соблюдение конфиденциальности потребовало, чтобы я подставил ладонь и, как в похожих случаях в Лилипутии, поднес посла поближе к своему уху.

Тут я должен сделать еще одно краткое и неожиданное отступление и удивить читателя сообщением о том, что посол сей был женского пола, а это, кстати, немало говорит о продвинутости блефускуанского общества относительно лилипутского, где в рамках абсолютной монархии роль женщины ограничена домом и светскими приемами. И хотя отдельные лилипутские особы умеют держать своих мужей под каблучком (в чем я имел возможность убедиться), в целом это ситуации не меняет, и лилипутская женщина оказывается лишенной многих из тех прав, какими осчастливлена женщина блефускуанская.

Итак, посол при ближайшем рассмотрении оказался очень миленькой блефускуаночкой, что совсем не вязалось с важной миссией, о которой она сообщала, расположившись на моей ладони и блестя бисеринками глаз, в которых я читал не только чиновничье бесстрастие, но и любопытство, неизменно присутствовавшее, когда я имел дело с особами женского пола будь то в Лилипутии или в Блефуску. Ей, видимо, приходилось делать над собой немалое усилие, чтобы подавлять это свое любопытство (забегая вперед скажу, что это удалось ей лишь до поры до времени – женская природа взяла свое), дабы вначале изложить свою миссию, которая

сводилась к следующему предложению от имени Макука XIII.

Правитель изъявлял мне свое дружеское расположение и предлагал покровительство и защиту от преследований со стороны императора Лилипутии, который уже потребовал моей немедленной и безусловной выдачи. Макук XIII доводил через своего посла до моего сведения, что о выдаче не может быть и речи, однако в то же время он не хотел вконец портить отношения с могущественным соседом, который к тому же до недавнего времени обладал подавляющим преимуществом на море. Здесь посол сделала паузу, чтобы у меня не осталось сомнений на тот счет, кто несет ответственность за столь несправедливое в недавнем прошлом соотношение военно-морских сил.

Затем последовало и само предложение, которое сводилось к следующему: точно таким же манером, каким я прежде лишил флота Блефуску, я теперь лишаю флота Лилипутию, восстанавливая тем самым справедливость. Правитель, конечно, понимает, что в Лилипутии теперь, видимо, готовы к такому развитию событий, а значит, флот усиленно охраняется и вернуть его будет не так просто, как просто было похитить. Поэтому правитель предлагает восстановить великанскую лодку. «Какую лодку? – сразу же спросил я себя. – Что это еще за лодка?» Объяснение не замедлило последовать: лодку, которую прибило к блефускуанскому берегу некоторое время назад, и с ее помощью осуществить операцию по лишению Лилипутии флота.

Я старался, слушая посла, не проявлять нетерпения и не задавать лишних вопросов – в особенности касательно «великанской лодки». Эта лодка представляла для меня, конечно же, особый интерес, который я, естественно, намеревался тщательно скрывать от власти, чьи планы разнились с моими. Я ответствовал в том смысле, что буду счастлив служить правителю и народу Блефуску. Но мне, конечно же, понадобится осмотреть лодку, чтобы понять, насколько она пригодна для намечаемой операции. Лодка, как выяснилось, находилась неподалеку от моего обиталища, и мне было обещано показать ее в тот же день, а пока…

Но прежде чем покончить с официальной частью своего визита, посол добавила, что и со своей стороны тоже обещает мне покровительство, а ее слово имеет солидный вес в государстве Блефуску. (И почему так много лилипутов, а потом и блефускуанцев желало оказывать мне покровительство, до сих пор никак не могу взять в толк.)

После этого в ее интонации появились более непринужденные нотки: она доверительно сообщила мне, что хотела бы лично убедиться, насколько верны (а лично она, будучи блефускуанкой образованной и просвещенной, убеждена, что неверны абсолютно) те слухи, что доходили до нее через пролив (типичные блефускуанские обороты: «через пролив», «за проливом» – блефускуанцы, словно не желая утруждать свой язык именем соседней державы, широко используют для этих целей слова-заменители). Опустив глазки и чуть зардевшись, она сообщила, что имеет в виду слухи о моих мужских достоинствах, которые считает пустыми россказнями, потому что никак не может поверить в подобные небылицы. В первую очередь, конечно, она имеет в виду размеры, которые вызывают у нее большие сомнения. Она читала древние лилипутско-блефускуанские сказания о происхождении мира, так даже там, в повествованиях о могучих великанах, нет и намека на что-либо близкое тому, что довелось ей выслушивать обо мне. Ну, например, эти нелепые утверждения, будто все (буквально все!) лилипутки (я мог бы ей сообщить, что уже и не только лилипутки, но не стал этого делать) при виде моих достоинств впадают в некую временную прострацию. «Это просто бредни какие-то!» – возбужденно восклицала она, взмахивая миниатюрными ручками.

Моя милая посетительница искусно и дипломатично представляла дело так, будто преследует чисто научные, так сказать, интересы и всего лишь намерена своим авторитетом развеять вредное заблуждение, утвердившееся в обществе, и я, щадя ее чувства, делал вид, что соглашаюсь с нею и готов содействовать установлению научной истины, утверждению в народе здравомыслия и искоренению вредных и нелепых слухов, будоражащих население. В этих целях я был готов представить все необходимые доказательства и лишь выразил сомнение, не повредит ли репутации ее превосходительства, если наши взаимные изыскания во имя установления истины и успокоения народонаселения станут достоянием общественности. На это она мне ответила:

– Не будем же терять попусту драгоценное время, – в ее голосе вдруг послышалась

неожиданная хрипотца. – Гвардейцы стоят на почтительном удалении, и ввиду того, что речь идет о деле государственной важности, – я не стал уточнять, какую часть своей миссии имела в виду моя посетительница – первую или вторую, – им отдан строжайший приказ не поворачиваться к нам лицом. Так что мы можем приступить к нашим исследованиям, не подвергаясь опасности породить нелепые слухи.

Не буду докучать читателю описанием того, что ему и так уже хорошо известно. Скажу лишь, что дальнейшие исследования проходили в обстановке истинного научного самозабвения, которому предшествовало-таки довольно продолжительное пребывание ее превосходительства в состоянии прострации, вызванной впечатлением, что оказало на нее то самое орудие, относительно размеров которого она испытывала необоснованные сомнения. Добавлю также, что ее любознательность превосходила все, до сих пор мною виденное, а усердие в состоянии было превозмочь самую беспросветную ипохондрию, каковой я страдал до ее визита. Труды ее превосходительства не пропали даром; смею выразить убеждение, что и она не была разочарована в своих ожиданиях и предвкушениях, если таковые у нее имелись, поскольку в мгновение наивысшего любострастия ее превосходительство, забывшись, испускало звуки столь громкие и недвусмысленные, что стоявшие в охранении гвардейцы, несмотря на строжайший запрет, стали в тревоге поворачивать головы. Однако сей конфуз скоро подошел к благополучному разрешению, и, умывшись моими соками (интересно было бы узнать, какое благотворное действие произвело на нее сие медицинское средство), госпожа чрезвычайный посол вернулась к мирским реалиям. Приведя себя в порядок, благо близость океана вполне компенсировала отсутствие бочонка со свежей водой, моя гостья сообщила мне, что завтра поутру мне будет выделено сопровождение, которое доставит меня к месту нахождения той самой великанской лодки, на которой строил свой стратегический расчет правитель Блефуску. А там по результатам осмотра сего мореходного средства мы совместно примем решение о грядущих действиях во благо и славу народа Блефуску.

Проводив с нескрываемым почтением свою гостью, я отметил про себя, что нравы в Блефуску не менее свободные, чем в Лилипутии, и будь на то мое желание, я и здесь мог бы дни и ночи проводить в чувственных забавах, благо недостатка в особах, желающих делить со мной ложе наслаждения, судя по всему, не предвиделось: не прошло и нескольких дней моего пребывания на сей благодатной земле, а особы прекрасного пола уже осаждали меня своим естественным любопытством. Однако не то было у меня на уме. К тому же следующий день приблизил мое прощание с гостеприимными блефускуанцами.

С утра пораньше ко мне во весь опор прискакали десятка два гвардейцев. Они предложили мне следовать за ними. Путь, по их словам, предстоял неблизкий. Расстояние, которое нам предстояло преодолеть, по блефускуанским оценкам, было довольно значительным, по моим же – оно не превышало и двух миль. Солнце еще не достигло зенита, когда оказались мы в небольшой бухточке. Тут же громоздилось нечто наспех сколоченное и напоминающее небольшой амбар. При ближайшем рассмотрении оказалось, что под его крышей покоится лодка, ради сокрытия которой от лилипутских шпионов и воздвигли блефускуанцы сие сооружение. Лодка оказалась в плачевном состоянии: несколько пробоин в днище (видимо, лодку ударило о скалы, перед тем как вынести на берег, поскольку с такими пробоинами она не могла долго держаться на плаву), разбитый руль и раскуроченные в двух-трех местах борта. Чтобы привести ее в порядок, нужно было изрядно потрудиться, но меня это отнюдь не пугало. Напротив, увидев это творение рук моих соотечественников (в том, что это английская лодка у меня не было никаких сомнений, потому что на носу по-английски было начертано название корабля, которому она когда-то принадлежала – «Ливерпуль»), я пришел в радостный трепет, который, однако, хотя и не без труда, но скрыл от сопровождавших меня блефускуанцев. На меня при виде этой лодки повеяло ветерком долгожданной свободы, а я не хотел, чтобы мои подспудные мысли стали достоянием власть предержащих.

Я сказал офицеру, возглавлявшему отряд сопровождавших меня гвардейцев, что мне придется перенести свое жилье в эту бухту. Я сообщил ему также, что мне нужно как можно скорее снестись либо с ее превосходительством, осчастливившей меня вчера своим визитом, либо с самим Макуком XIII. Он обещал доложить о моей просьбе по инстанциям, а я сказал,

что отправляюсь за своими пожитками и вернусь сюда некоторое время спустя.

К вечеру я перенес свое имущество в лодку, где и оборудовал для себя новое временное пристанище – гораздо более удобное, чем предыдущее. Эта перемена места обитания была мне на руку, поскольку таким образом я избавлялся от моих хотя и милых, но довольно-таки докучливых визитерок, чьи претензии теперь только препятствовали бы осуществлению моих планов.

Я и не подозревал, что этим вечером меня ждет одно немаловажное и приятное событие.

Я одиноко сидел на бережку, глядя в бескрайнюю океанскую даль и размышляя о возможностях, которые открываются передо мной в связи с неожиданной находкой. План мой был достаточно прост, и я не видел препятствий к его осуществлению. Однако нужно было, конечно, соблюдать осторожность, дабы неосмотрительным словом не выдать свои намерения, а тогда я не то что не смогу рассчитывать на помощь блефускуанцев, а даже наверняка столкнусь с их противодействием.

Мой взгляд, устремленный в океан, разглядел какую-то точку. Поначалу я даже решил было, что это утомившиеся глаза играют со мной шутку, но точка медленно увеличивалась в размерах. Тогда я достал свою подзорную трубу и, приложив окуляр к глазу, навел ее на сие непонятное явление природы. Все сразу же объяснилось. В лодке были двое лилипутов: один сидел на веслах, а другой на корме, видимо, управлял рулем. По мере приближения лодки, я разглядел, что за рулем сидит лилипут женского пола, а когда лодка приблизилась еще на несколько десятков ярдов, сердце мое отчаянно забилось, потому что я узнал ее – мою Кульбюль, которая, даже не имея никакого увеличительного средства, увидела меня гораздо раньше, чем я ее, и теперь отчаянно размахивала руками.

Счастье мое было ни с чем не сравнимо, хотя я и понимал, что появление Кульбюль чревато для меня известными осложнениями, а возможно и станет препятствовать воплощению в жизнь моих планов побега. Но в первые минуты этого замечательного явления, напомнившего мне о рождении Афродиты из морской пены, я забыл обо всем на свете.

Столкновение большого и малого неизменно требует осторожности со стороны большого (в чем я имел возможность убедиться на собственной шкуре), а потому я должен был сдерживать проявления своей радости, опасаясь, как бы не повредить малютку Кульбюль, которая была рада нашей встрече не меньше моего, но, проявляя свою радость, могла не опасаться за целостность моих членов. То была ночь самой искренней и горячей любви, и восторги ее останутся со мной на всю жизнь.

Мы свили свое гнездышко в лодке и в свете полной луны предавались любовным утехам, проявляя изобретательность и смекалку, поскольку разница в размерах требовала от нас недюжинной выдумки. Конечно же, ни я не был волком, ни моя возлюбленная – овцой, и гармонии нашего соединения могли бы позавидовать многие из тех, кто, идеально подходя друг к другу по размерам, не могут найти тех струн, от прикосновения к которым мы с Кульбюль воспаряли к небесам.



Когда мы успокоились после первых страстных объятий, Кульбюль рассказала мне, что, не в силах вынести расставания со мной, наняла лодочника, которого, правда, ей пришлось долго уговаривать, поскольку в такие дальние путешествия редко кто из лилипутов отваживался отправляться в утлой лодчонке. С другой стороны, всякие сношения с Блефуску были строжайше запрещены всем лилипутам, и лодочник (а вместе с ним и Кульбюль) рисковал не только погибнуть в морской пучине, но и быть задержанным береговой стражей со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Но оставленные мной золотые сыграли свою роль, и лодочник согласился доставить мою любезную Кульбюль на Блефуску, где, как ей стало известно (об этом говорила вся столица), пребывал я. Она полагала, что найти меня на соседнем острове ей не составит труда, но на такую удачу – увидеть меня на берегу – даже не рассчитывала.

Я в свою очередь рассказал ей о нескольких днях, проведенных мною на этом острове, не скрыв и своих любовных приключений, которые, впрочем, не очень огорчили мою ненаглядную – она была щедрая душа.

Если я что и скрыл от Кульбюль, так это мои планы по использованию лодки, несколько разнившиеся с планами блефускуанских властей. Однако моя возлюбленная была особой проницательной, в чем у читателя еще будет случай убедиться.

Следующие дни я проводил в трудах, приводя в порядок лодку, открывавшую мне путь к свободе. Помогали мне в этом сотни три плотников, выделенных правителем Блефуску. Работа у нас спорилась. Несколько телег подвозили корабельный лес – самые рослые деревья, какие существовали в Блефуску. Они достигали высоты трех футов и, конечно, не очень годились для моих целей, но за неимением лучшего приходилось пользоваться тем, что было.

Через три луны лодка была уже на плаву, еще через три все работы были закончены, и я просил передать правителю, что, прежде чем осуществить атаку на Лилипутию, мне нужно провести испытания отремонтированной лодки – я намеревался, не отдаляясь на берега,

испробовать сие плавательное средство, которому предстояло нешуточное путешествие.

Незаметно для всех своих помощников, охранников и даже для Кульбюль, я копил себе пропитание и питьевую воду, так как даже и предположить не мог, сколько дней мне придется провести в море, прежде чем встретится на моем пути хоть какой-нибудь корабль. Впрочем, я допускал и вероятность того, что затеянное мною предприятие закончится для меня плачевно, однако желание вернуться в отечество было сильнее страха смерти в морской пучине или от голода и жажды.

В один из дней появилась ее превосходительство чрезвычайный посол Макука XIII. Видимо, ее приезд носил инспекционный характер, но она не исключала – при благоприятных обстоятельствах – возможности продолжения своих научных изысканий. Однако обстоятельства ей не благоприятствовали. К. тому же ее смутило присутствие Кульбюль, которая все эти дни была неотступно со мной.

Дальнейшая судьба Кульбюль омрачала мои мысли, целиком настроенные на близкое убытие с сей благодатной земли. У меня оставались несколько золотых английской пробы, которые мне удалось вместе с подзорной трубой утаить от лилипутских чиновников, досматривавших меня, и я подумывал о том, чтобы приобрести для моей милой дом в окрестностях столицы, где бы она смогла завести свое дело, наподобие того, каким занималась в Лилипутии, и получать устойчивый доход, который непременно приносило бы ей любвеобилие блефускуанцев. Замечу, что за время моего пребывания в Блефуску я не смог так досконально изучить эту страну, как изучил Лилипутию. Однако слушая разговоры помогавших мне плотников, я пришел к заключению, что любострастие более других тем занимает умы и помыслы обитателей сего малого острова, затерявшегося в океане. Все их разговоры сводились в основном к обсуждению планов на предстоящий вечер или рассказам о событиях вечера минувшего. А планы и события были до уныния однообразны, из чего я сделал вывод о том, что услуги Кульбюль и еще десятка-другого таких же милых особ будут для блефускуанцев мужеского пола как нельзя более кстати, к тому же внесут здоровый дух конкуренции в монотонную жизнь единственного пока в Блефуску заведения, предоставлявшего услуги такого рода.

Я сказал Кульбюль, что готов способствовать приобретению приличествующего таким намерениям особняка, а ей же придется поискать девиц, готовых посвятить себя сему благородному занятию. Она после недолгих размышлений ответила, что события последнего времени изменили некоторые ее взгляды, и теперь она вряд ли с прежним воодушевлением сможет заниматься тем, чем занималась до встречи со мной. Я не настаивал – ведь я и сам не без содроганий душевных делал эти предложения моей возлюбленной.

Я с нетерпением считал дни, оставшиеся до намеченного убытия, а пока занимался подготовкой моего плавательного средства к нелегкому походу. Испытания прошли успешно – лодка более не текла, однако тяжелые весла натирали мне руки, а потому я решил обустроить лодку еще и мачтой, на которой можно было бы закрепить парус – для этого у меня были мое одеяло и подстилка, служившая когда-то занавесом в театре. На обустройство мачты ушло еще три дня, и наконец все было готово.

На сердце у меня было тяжело, поскольку я так и не сообщил еще Кульбюль о своих намерениях и не знал – стоит ли это делать вообще. Я склонялся к тому, чтобы оставить ей золотую монетку и убыть по-английски, не прощаясь. Этой монетки ей вполне хватило бы на несколько лет, а там при ее сноровке и хорошеньком личике она наверняка не пропала бы – нашла бы своего спутника в жизни, родила бы детишек и, может, вспоминала бы меня время от времени добрым словом. К сожалению, все вышло не так.

В один из дней меня посетил сам правитель Блефуску – Макук XIII. Я сообщил ему, что днями буду готов к походу на Лилипутию, и блефускуанские моряки скоро будут торжествовать. Довольный правитель, потирая руки, сообщил мне, что я после совершения подвига буду награжден высшим орденом Блефуску. Я заранее выразил ему признательность и заверил, что не пожалею живота на службе великому и славному народу Блефуску.

Усыпив таким образом бдительность властей, я целиком и полностью погрузился в приуготовления к скорому отплытию. Впрочем, подготовка была необременительна, поскольку сводилась главным образом к созерцанию звезд на ночном небе и прокладке по ним

предположительного курса моего утлого суденышка к торговым путям, где возрастала возможность встретить корабль. А еще я возносил молитвы Господу и призывал свою удачу, которая до недавнего времени сопутствовала мне во всех моих похождениях. Да и сам факт моего пребывания в Лилипутии и Блефуску можно было назвать немалой удачей – кому еще, кроме меня, довелось побывать в этих краях и описать их с такой беспристрастностью?

За день до намеченного моего убытия случилось несчастье: пропала Кульбюль. Сколько я ни искал мою славную лилипуточку – все без толку. Я звал ее, ломал в отчаянии руки, умолял Господа вернуть мне мою возлюбленную – тщетно! Видимо, ее смыла волна и унесла в бескрайний океан, где она обрела вечный покой.

Скорбь моя была ни с чем не соизмерима. Я даже подумывал – не отказаться ли мне от моих планов покинуть Блефуску, не остаться ли на сем несчастном острове, чтобы всю жизнь оплакивать эту безвременную утрату. Целый день провел я в безутешных размышлениях. И лишь вспомнив, что назавтра назначена операция по похищению лилипутского флота, я принял решение: в мои планы никак не входило нарушение сложившегося баланса сил, я больше не собирался вмешиваться в распри двух враждующих держав, а потому, как только звезды вспыхнули на небе и луна проложила по воде серебристый путь, я столкнул лодку в воду, сделал несколько шагов в воде, разгоняя мое суденышко, потом навалился животом на борт и перебросил ноги внутрь. Сев за весла, я принялся мощно грести, и вскоре злосчастный остров навсегда скрылся за горизонтом. Но я не остановился – держа курс на юг, делал один мощный гребок за другим: ведь впервые за долгое время я оказался в среде, отвечавшей моим размерам: лодка, весла, океан, к тому же я испытывал потребность утомить себя тяжелым трудом гребца, чтобы забыть о моем горе. Я греб, пока хватало сил, и лишь когда весла стали валиться из рук, я втащил их в лодку, уложил вдоль борта и, укрывшись своим лоскутным одеялом, растянулся на днище и сразу же заснул, вручив свою судьбу морским ветрам и течениям.

Спал я плохо, ворочаясь на жестком и сыром днище. Меня мучили кошмары – мне снилось, будто меня поглощает морская пучина, будто, забыв о своей прежней междоусобной вражде, меня окружают толпы лилипутов и блефускуанцев, поражая тысячами стрел из своих луков. Мне виделись впавшие в раж сотни и тысячи крошечных женщин, гроздьями виснущих на мне, требующих своей доли плотских радостей; я отдирал их от себя и швырял в бушующее море, однако на место сброшенных неизвестно откуда прибывали новые и новые, они открывали свои крохотные рты в требовательном комарином писке, скидывали с себя платья, подбирались к моему причинному месту, тщетно пытаясь привести его в чувство. Потом откуда ни возьмись явился Хаззер. В руках он держал огромное по лилипутским меркам ведро, а на физиономии у него гуляла наглая ухмылка. «Сейчас мы тебя подоим, Куинбус Флестрин, – произнес он зловещим голосом, прозвучавшим на удивление громко для такой тщедушной фигурки. – А ну-ка, крошки, за дело!» (Забегая вперед, скажу, что Божьим промыслом после того несчастного сна мне более не доводилось видеть сего дьявола в лилипутской плоти.) Словно полчища муравьев поползли по моему телу, устремляясь к его средостению, которое удивительным образом сместилось к моему паху. Я закричал диким голосом и проснулся.

Солнце стояло уже довольно высоко. Море было спокойным. Моя лодчонка, влекомая неведомым течением, двигалась по водной поверхности. Меня мучила жажда, я достал из-под досок один из припасенных мною блефускуанских бочонков и отпил немного – воду нужно было беречь: кто знает, сколько еще суждено носиться мне по этим безбрежным просторам.

Придя окончательно в себя и поняв, где нахожусь, я испытал облегчение: кошмар сновидения был гораздо хуже суровой реальности и даже возможной гибели в морской пучине. Но погибать я вовсе не собирался. Сориентировавшись по солнцу, я понял, что неведомое течение несет меня на юго-запад, то есть именно в том направлении, в каком я и предполагал двигаться. Поэтому я решил не тратить сил, утруждая себя работой гребца, а предаться размышлениям о пережитом, подвести итоги моего многомесячного пребывания в земле маленьких людей, которые несмотря на свои размеры не уступают нам по накалу страстей, по умению любить и ненавидеть. Я и не догадывался, что подводить итоги рано, потому что мне еще предстояло кое-что узнать о лилипутах.

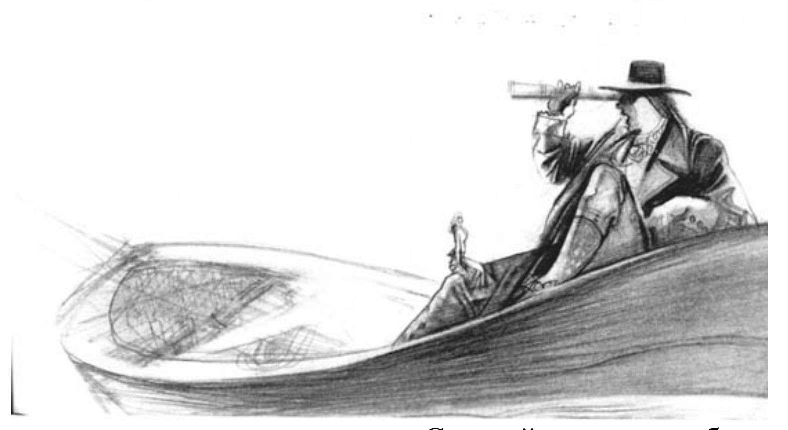
Не знаю, доведется ли кому-нибудь после меня оказаться в Лилипутии. Но если это случится (а к тому же при более благоприятных, чем мои, обстоятельствах), то я прошу

передать этому маленькому народу глубокое уважение Куинбуса Флестрина, память о котором наверняка сохранится и в новых поколениях, – слишком уж заметным событием в лилипутской истории я стал. Позволю себе сравнить мое пребывание в Лилипутии с падением огромного небесного камня, след от которого долго, если не навсегда, остается на земле. Не менее глубокий след остался и в моем сердце, которое до сего дня кровоточит, когда я вспоминаю о тех веселых и одновременно печальных днях, что я провел в этой стране.

Предаваясь этим мыслям, я скользил взглядом по бескрайней морской глади – ничто не нарушало ее однообразия. Меня вдруг охватило отчаяние ввиду безбрежности этого простора и моей собственной ничтожности перед этим огромным пространством. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этой безграничности и немного прийти в себя. Перед моим мысленным взором возникли потерявшиеся теперь в морских просторах островки, на которых расположились Лилипутия и Блефуску, я снова видел крохотные фигурки, слышал тонкие голоса. «Куинбус Флестрин, ах, Куинбус Флестрин, какой же ты большой и глупый!» – слышал я голосок моей милой Кульбюль. «Бедная моя Кульбюль», – подумал я и снова услышал ее голос: «Да открой же ты глаза и посмотри на меня!». Я вздрогнул и открыл глаза. Передо мной на днище лодки стояла маленькая фигурка – такая знакомая и такая желанная. Я протер глаза, полагая, что галлюцинирую, – такое нередко случается с моряками, долго не видевшими берега. Видимо и я стал жертвой такого болезненного состояния. Но фигурка передо мной улыбалась, махала мне рукой и даже разговаривала. «Подставь мне ладошку, Куинбус Флестрин, и поднеси к себе поближе».

Нет, это был не мираж, не сон наяву – на днище стояла живая Кульбюль, неведомо каким образом оказавшаяся со мной в лодке. Я протянул руку, ощутил на своей ладони ее босые ножки, и только после этого у меня не осталось никаких сомнений в том, что я не сплю. Тем не менее, я пребывал в полном недоумении, рассеявшемся лишь после рассказа Кульбюль, который был прост и очевиден; как же я, спрашивал я себя, зная Кульбюль, не предугадал, что она, решившаяся ради меня преодолеть пролив между Лилипутией и Блефуску, не остановится перед тем, чтобы последовать за мной и в края для нее неизвестные. А она, предчувствуя мои возражения, не стала спрашивать моего согласия, а, поняв, что день пришел и я собираюсь навсегда оставить ее, просто пробралась в лодку, решив отправиться со мной в неизвестность, и если будет суждено, то и погибнуть. Я не мог не восхищаться беззаветной любовью этой отважной маленькой крохи, которая бросила все – дом, родителей, отечество ради неопределенного будущего со мной.

Она не решилась объявиться сразу же по отбытию лодки от блефускуанского берега, так как опасалась, что я могу вернуться и высадить ее, теперь же, когда и Блефуску, и Лилипутия остались далеко за горизонтом, она могла не опасаться, что я поверну назад.



Противоречивые чувства переполняли меня. С одной стороны, я был, конечно, счастлив, что Кульбюль жива. С другой стороны, я отчетливо понимал, что, если фортуна будет к нам благосклонна и мы доберемся до моего отечества, судьба моей маленькой возлюбленной будет не самой сладкой – я на себе испытал, как непросто жить на чужбине. Но ее положение будет несравнимо с моим: положение мышки в клетке со слонами, вынужденной каждую минуту беречься, чтобы ее не растоптали ненароком. Не могло не тревожить меня и отношение моей женушки к возможному появлению в нашем доме малютки Кульбюль. Ах, если бы мы жили в мусульманской стране, где правят законы Магомета… Я, конечно же, не ратую за то, чтобы моя пуританская Англия встала под знамена Аллаха, но, зная некоторые обычаи стран Востока, не могу не испытывать перед ними определенного восхищения.

Но думать об этом пока не имело смысла: отечество мое лежало далеко за бескрайними океанскими просторами, и доберемся ли мы до него – о том ведомо было одному лишь Господу. А потому мне лишь оставалось радоваться счастливой судьбе, скрасившей мое одиночество столь чудесной спутницей, которая могла дать мне все, что требуется мужчине в расцвете сил, и в то же время не грозила моим скудным припасам – ведь затянись наше путешествие на две-три недели, нам придется страдать от голода и жажды. Но более чем скромные потребности Кульбюль в еде и питье ничуть не усугубляли тяжелого положения.

Чувства переполняли меня – я испытал прилив желания, и мой порыв тут же сообщился малютке Кульбюль, которая, не мешкая, разоблачилась, и мы предались любовной игре.

Находясь в Лилипутии и Блефуску, я не раз испытывал сожаление в связи с тем, что не имею здесь возможности совокупляться с местными женщинами в позиции, которая более всего подобает мужчине. Но представить человека моей комплекции, взгромоздившимся на какую-нибудь пусть и самую рослую лилипутку было невозможно, а потому мне приходилось довольствоваться тем, что давала судьба. Должен отметить, однако, что ощущения, испытываемые мною во время любовных утех с Кульбюль, заставляли меня забыть обо всех

слабых сторонах моего положения великана в стране малюток.

В своих скитаниях я слышал, что более всех преуспели в плотских утехах индийцы, однако после знакомства с Кульбюль я испытывал в этом большие сомнения, потому что не могу себе представить кого-нибудь более искушенного в любовных ласках, чем она. Ах, как ее искусство скрашивало наше в остальном довольно безотрадное путешествие!

Так начался наш дрейф по океану, который в конечном счете оказался благосклонен к нам, хотя и случались моменты, когда я думал, что, пустившись в сие путешествие от отчаяния, погубил не только себя, но и невинную душу Кульбюль. Несколько раз на море начинало штормить, и тогда я сворачивал свой самодельный парус из лоскутного одеяла и, сев за весла, старался держать нашу лодчонку по ветру, чтобы боковая волна не опрокинула нас, что было чревато неминуемой гибелью если не для меня, то уж для Кульбюль наверняка, поэтому я при первых признаках шторма привязывал мою ненаглядную к мачте и строго-настрого запрещал ей высовываться и отвязываться. Она отчаянно страдала морской болезнью, но хуже всего было то, что, перевернись лодка, Кульбюль была бы обречена. Держалась она неизменно мужественно и даже подбадривала меня, когда мои руки опускались. Однако Господь был милостив, и сильные шторма обошли нас стороной.

В предвидении удачного завершения нашего плавания, я решил, что если нам суждено достичь берегов цивилизации, то пора начинать знакомить Кульбюль с христианской верой (я уже имел случай заметить, что вероисповедание лилипутов наподобие языческого, и это немало меня удивляло – при столь значительных достижениях лилипутской мысли, этот народ продолжал пребывать во тьме в том, что касалось вечных истин). Кульбюль была девицей не только искушенной в плотских забавах, но и сообразительной и, несмотря на маленькую головку, быстро все схватывала. Обладая хорошей памятью, она через два-три дня уже знала назубок «Отче наш», хотя и не догадывалась, что кроется за неизвестными ей английскими словами, которые она произносит. Однако я рассчитывал, что мы уйдем дальше механического запоминания и кое-какие азы христианских истин она сумеет усвоить.

Дни шли за днями, запасы наши таяли, хотя мы и питались скудно, дабы растянуть имеющееся на как можно больший срок. Говоря «мы», я грешу против истины, потому что я не делал никаких ограничений для Кульбюль.

Но в чем мы воистину себя не ограничивали, так это в любви, которой предавались с упоением, будто предчувствуя, что наши счастливые дни сочтены.

Пестрый парус был поднят на мачте, ветерок надувал его, неся нас в неизвестность, а мы пользовались этой блаженной возможностью и снова и снова сходились в амурной схватке, и мне даже иногда казалось, что моя возлюбленная превосходит меня в силе любовного напора. Воистину неисчерпаемым было ее любвеобилие.

И вот в одно из таких мгновений, когда мы сошлись в очередном сластолюбивом исступлении, я вдруг услышал крик на чистом английском языке: «Эй, на лодке!». Поначалу я снова было решил, что галлюцинирую, но, посмотрев на Кульбюль, увидел, что она соскользнула с моего детородного органа, как бродячий акробат соскальзывает с шеста, и смотрит куда-то в том направлении, каковое было закрыто от меня парусом (что оказалось как нельзя кстати, так как с корабля – а это и в самом деле был корабль – не видно было ни меня, ни Кульбюль, и невозможно было догадаться и о занятии, которому мы предавались). Я оправился и, выглянув из-за паруса, увидел совсем рядом корабль, матросов, собравшихся у фальшборта и махавших мне руками.

Сердце мое восторженно забилось: значит, не напрасны были все перенесенные страдания – вот оно спасение, вот она долгожданная возможность вернуться домой! Вероятно, я ненадолго потерял самообладание, а придя в себя, слабо махнул рукой в ответ, попробовал было что-то сказать, но спазм сдавил мне горло. Я бросил взгляд на Кульбюль – на ее лице отразился страх, к которому, правда, примешивалось и любопытство. Быстро спрятав мою милую в нагрудный карман, я побросал свои пожитки в мешок, сел за весла и подвел лодку вплотную к кораблю. Мне тут же сбросили трап, я поднялся на борт, услышал родную речь и от избытка чувств чуть было не свалился на палубу, но сильные руки поддержали меня. Ко мне подошел капитан и, признав соотечественника, любезно предложил мне занять каюту рядом со своей. Видя мое состояние, он отложил все расспросы, за что я был ему благодарен. Мне и самому хотелось

задать ему немало вопросов, но не теперь. Теперь мне хотелось одного – прийти в себя после всех испытаний последних месяцев, осмыслить все со мной случившееся.

Капитан проводил меня в каюту и вышел, а я, вытащив из кармана Кульбюль, пристроил ее в безопасном месте, свалился на койку и сразу же заснул мертвым сном. Спал я без сновидений. Никто меня не разбудил – ни Кульбюль, которая и сама, наверное, после всех выпавших на ее долю переживаний спала как убитая, ни капитан, ни кто-либо из членов команды. Проспал я не менее суток, а когда очнулся, первая моя мысль была о моей маленькой спутнице, которая словно ждала моего пробуждения, и как только я открыл глаза, была тут как тут. Проведя тоненькими пальчиками по моей щетине, она сказала: «Все будет хорошо, Куинбус Флестрин». Словно я, такой большой, рядом с ней, такой крохотной, нуждался в утешении. Я поднес ее к губам и, поцеловав в лобик, тоже сказал: «Все будет хорошо, Кульбюль».

Ах, если бы знать, что наши поцелуи уже сочтены! Хотя чем бы нам помогло это знание – что мы можем против судьбы, которая распоряжается нами по своему усмотрению, не спрашивая нашего желания? Колесо судьбы все равно не остановило бы свой скрежещущий ход, зато мы с Кульбюль провели оставшиеся нам несколько дней в атмосфере блаженства и покоя, хотя теперь, в отличие от дней в лодке, нам и приходилось таиться от чужих ушей и глаз.

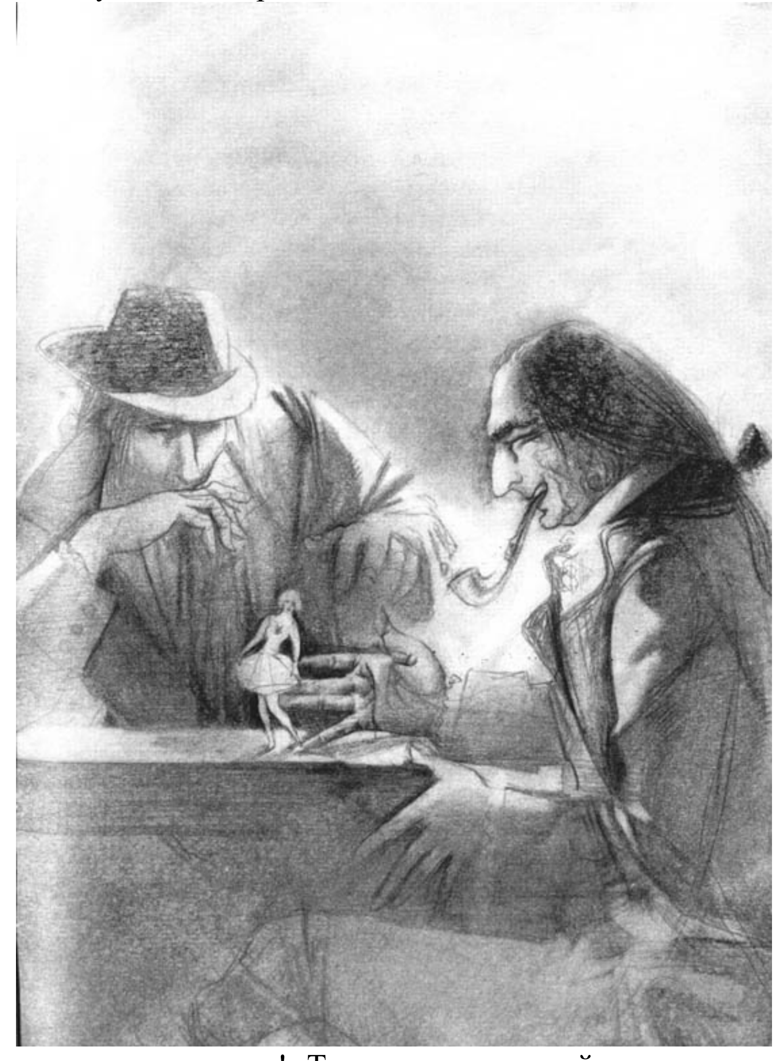
Приведя себя в порядок после столь долгого сна, я вышел на палубу, оставив Кульбюль в каюте и строго-настрого наказав ей сидеть тихо, а если кто войдет без моего ведома, затаиться в самом дальнем углу и ни под каким видом не выдавать себя.

На палубе я сразу же столкнулся с капитаном, который радостно приветствовал меня и поздравил с чудесным спасением. Он пригласил меня в свою каюту, чтобы расспросить о моих приключениях и рассказать о своих планах – ведь я даже не знал, куда держит курс его корабль. Мы уселись за стол в его каюте, и капитан для начала предложил мне рома, который после легкого лилипутского вина показался мне обжигающим, как огонь. Однако подействовал он на меня благотворно, язык у меня развязался, и я впервые за столько месяцев заговорил на своем родном английском. Капитан слушал меня с недоверчивым выражением на лице, на котором время от времени появлялась ироническая улыбка. Но я продолжал рассказ о своих похождениях, о моем пленении доблестным лилипутским воинством, о моем житии-бытии в лилипутской столице (из соображений скромности о моих амурных впечатлениях я по большей части умолчал), о моем похищении блефускуанского флота…

Наконец капитан перебил меня. Он сказал, что, конечно же, не сомневается в достоверности моего рассказа, но ему кажется, что мне нужно еще немного отдохнуть от всего пережитого – столько дней, проведенных в одиночестве на море, видимо, неблагоприятно сказались на моем душевном состоянии, и я еще не успел полностью восстановиться. Я возразил, сказав, что чувствую себя отменно, и стал было продолжать свой рассказ, но капитан опять прервал меня: он, мол, рад меня слушать, потому что история, которую я излагаю, довольно интересная и из нее мог бы получиться неплохой роман, но он умеет отличать роман от действительности, он старый морской волк (капитану по виду было не больше тридцати) и много повидал на своем морском веку, но страна людей-коротышек – это уж слишком.

Его слова задели меня за живое, и я спросил, что он скажет, если я предъявлю ему доказательства. Он ответил, усмехнувшись, что доказательства, чтобы он поверил, должны быть весьма вескими. Тогда я попросил его подождать минуту. Когда я вернулся, капитан еще раз наполнил наши кубки крепчайшим ромом. Я сделал глоток и, заглянув капитану в глаза, спросил, готов ли он познакомиться с доказательствами? Он ответил, что готов, и тогда я извлек из кармана костюм блефускуанского гвардейца, который купил по случаю незадолго до моего отплытия. Капитан недоверчиво разглядывал крохотный мундирчик, сверкавший серебристыми погонами, потом перевел взгляд на меня и сказал, что сам он давно уже не играет в солдатиков, а потому это доказательство для него неубедительно. Ну что ж, сказал я, тогда мне придется предъявить что-нибудь более весомое. С этими словами я сунул руку в нагрудный карман и вытащил оттуда не какую-то чахлую блефускуанскую лошадку (как сообщалось о том в сфальсифицированных моими издателями записках), я предъявил

капитану то, что наш великий соотечественник назвал когда-то «венцом творения»[4] – живую лилипутскую женщину, которая вежливо поклонилась нашему гостеприимному хозяину и произнесла своим тоненьким голоском на английском языке приветствие, выученное ею специально для такого случая днями ранее.



Надо было видеть лицо капитана! Теперь пришел мой черед поглядывать на него с усмешкой, потому что зрелище он и в самом деле являл собой комическое: брови уперлись чуть не в затылок, глаза вылезли на лоб, рот раскрылся до самых ушей. Он не мог произнести ни слова, лишь делал какие-то невнятные движения руками, словно немой, пытающийся что-то объяснить своему собеседнику на пальцах. К тому же с его лица еще не успело исчезнуть скептическое выражение, что делало весь его вид еще более нелепым. Ему казалось, что глаза его обманывают, потому что такое, на его взгляд (а как я уже говорил, это был взгляд человека немало повидавшего, всеми морями битого и к любым неожиданностям готового), было невозможно. Недоумение, любопытство, испуг, неверие – все это одновременно отражалось на его лице.

Наконец он овладел собой и, словно желая проверить – не обманывают ли его глаза, протянул руку к Кульбюль, которую я поставил на стол. Кульбюль прикоснулась своим пальчиком к его ладони и повторила заученное приветствие. Дабы она не стояла неглиже перед посторонним мужчиной, я одернул на ней платьице, которое вызывающе задралось, покуда она пребывала в моем кармане. Капитан при этом сглотнул и перевел дыхание.

– Это невероятно, – сказал он, взглянув на меня. – Прошу меня простить за сомнения, но я и представить себе такого не мог! Неужели где-то в океане и в самом деле есть такая страна?

Мне оставалось только продолжить рассказ, прерванный недоверчивым капитаном, который остальную часть моей истории дослушал, затаив дыхание. Кульбюль при этом присутствовала и даже смешно поддакивала мне, когда чувствовала в этом необходимость:

---

[4] Шекспировская аллюзия, см. «Гамлет». Акт II. – *Прим. ред.*

«Опледеленно», – говорила она и улыбалась во весь рот. Моей плутовке не давался английский звук «р».

Наконец моя история, включая и последние дни отчаяния и надежды, проведенные нами в океане, была закончена. Я смотрел на капитана – прежнее недоверчивое выражение навсегда ушло с его лица. Теперь он окончательно пришел в себя, хотя что-то словно мешало ему – он все время косил взглядом на Кульбюль, одаривая ее какой-то нарочито-неестественной улыбкой. Наконец он тяжело вздохнул, перевел глаза на меня и сказал: «Только Бога ради не показывайте ее команде».

Я опытный моряк, и меня можно было не предупреждать на сей счет: я и сам прекрасно понимал, что команде, давно не сходившей на берег, лучше не знать о маленькой пассажирке. Непреложный морской закон даже запрещает женщинам подниматься на борт судна, дабы не вводить в искушение команду, которая месяцами не видит прекрасного пола. Известно, что моряк может долго терпеть одиночество, но стоит ему увидеть женщину – и он становится невменяемым и неуправляемым. Известны даже случаи, когда жертвами их необузданного вожделения становились вполне невинные животные, волею провидения оказавшиеся на корабле. Не могу понять и осуждаю сию извращенную похоть, хотя и сам, случалось, немало страдал от одиночества во время своих долгих морских странствий, но, спешу заверить читателя, до скотоложества никогда не опускался.

Я поблагодарил капитана за внимание и любезность, и спросил, куда направляется его корабль. Капитан ответил, что держит путь в Англию (сердце мое радостно забилось), а в трюме у него драгоценный груз – ведь перед этим он побывал на Молуккских островах[5]. Выяснилось, что подобрал он мою лодчонку неподалеку от мыса Доброй Надежды, который теперь уже остался у нас за кормой, и мы направлялись на север вдоль африканского побережья.

Я попросил у капитана навигационную карту, и мы после недолгого ее изучения пришли к выводу, что Лилипутия и Блефуску лежат к северо-востоку от Мадагаскара в безбрежных просторах Индийского океана. Точнее определить координаты сей маленькой земли не представлялось возможным. Капитан показал мне точку, в которой мы находились теперь, и сообщил, что, по его расчетам, если ветра и погода будут нам благоприятствовать, мы через три недели должны добраться до Англии.

До конца дней буду я благодарен этому отважному покорителю морей за его доброту и благосклонность ко мне и моей милой незабвенной Кульбюль.

Мне осталось рассказать совсем немногое. Мое злосчастное путешествие подходило к концу. Я уже видел в своем воображении меловые скалы близ Дувра, рисовал себе встречу с любезной моей женушкой, представлял себе наш тихий дом. Все это случилось, вот только Кульбюль не суждено было увидеть той земли, ради которой она оставила свой дом. Я так до сего дня и не знаю, что случилось с ней. То ли ее сожрали корабельные крысы, то ли она задремала у меня в брючном кармане, а мне приспичило справить нужду и… В горле у меня встает комок, когда я думаю об этом. Тот, кто когда-либо бывал на наших торговых судах и заходил в эту пахучую кабинку по нужде, вполне поймет, что я имею в виду – заведения сии сообщаются напрямую с морем, и если мои догадки на ее счет верны, то судьба моей бедняжки была ужасна.

Слезы душат меня. Я обрываю рукопись на этой трагической ноте, рассчитывая встретиться с моим любезным читателем в следующей части, в которой намереваюсь рассказать о моих приключениях в стране, не похожей на ту, из которой *я* возвратился, как ночь может быть не похожа на день, как гора – на бездну.

Однако заключая рассказ о своих похождениях в Лилипутии, мне бы хотелось сделать несколько замечаний.

Не могу не сказать о языке лилипутов и блефускуанцев, предваряя тем самым вопросы, которые могут возникнуть у любознательного читателя.

Собираясь перебраться из Лилипутии в Блефуску, я был готов к трудностям, с которыми мне придется столкнуться на первом этапе моего пребывания в этом соседнем государстве, однако мои способности к языкам давали мне все основания к тому, чтобы не испытывать на

---

[5] Молуккские острова – часть Малайского архипелага в современной Индонезии. В XVII веке Молуккские острова были основным поставщиком пряностей в Европу. – *Прим. ред.*

сей счет особого беспокойства. Но, как выяснилось, блефускуанский язык не представляет никаких трудностей для тех, кто сумел овладеть лилипутским. Так, скажем, на блефускуанском Куинбус Флестрин звучало как Хуынбус Флестрын. Однако блефускуанцы с такими же напористостью и яростью, с какими лилипуты настаивали на противном, утверждали, что между двумя языками нет ничего общего. Лилипуты же упорствовали, говоря, что блефускуанский – это всего лишь испорченный лилипутский, блефускуанцы же гнули свое, приводя в ответ самый убийственный аргумент: «Вы на себя лучше посмотрите!». Мне трудно судить, кто из них прав, но я повторюсь, сказав, что, очутившись в Блефуску, испытывал трудности в общении с местным народом, ничуть не большие, чем лондонец, попавший в Эдинбург.

Не могу не высказаться и на следующий счет. С моей легкой руки после публикации искаженного варианта моих записок названия Лилипутия и лилипуты стали нарицательными, утвердившись за предметами мелкими как по размерам, так и по существу восприятия. Однако же восстанавливая справедливость и будучи, по всей вероятности, единственным в Англии (если не во всей Европе) знатоком лилипутского, должен внести ясность в этот вопрос и довести до читателя истинное значение, которое вкладывают сами лилипуты в свое самоназвание. «Ли» на древнелилипутском означает «великий», удвоение же слова в лилипутском используется для называния высшей степени качества; таким образом «лили» означает «величайший из великих; великий в высшей степени». Что же касается второй части слова, то хотя кое-кому она может показаться происходящей от английского глагола put, должен сказать, что такая трактовка абсолютно неверна. «Пут» – это имя легендарного лилипутского вождя, сведения о котором сохранились только в народных преданиях, и, судя по древним лилипутским толковникам, имя это означает «страх и ужас вселенной». Все вместе, таким образом, можно передать по-английски как «народ, обретший счастье в своем вожде». Чувствуя недоумение читателя, сообщаю, что я и сам недоумевал по поводу такого несоответствия составных частей и целого и неоднократно задавал этот вопрос самым авторитетным представителям лилипутской науки, которая наиболее сильна в такой области, как знание языков. Ученые только разводили руками и поясняли, что таковы необъяснимые законы языка и нужно родиться лилипутом, чтобы понять, каким образом происходят столь сложные языковые трансформации. В подтверждение того, что мой перевод слова «лилипут» точно передает содержание последнего, привожу лилипутский первоисточник, записанный мной со слов Анука Акуна, который во время моего пребывания в Лилипутии исполнял должность Главного научного мужа Лилипутской академии двора Его Императорского Величества: «народ, обретший счастье в своем вожде» по-лилипутски звучит так: «турк блекос карим ум бранкос нитюк».

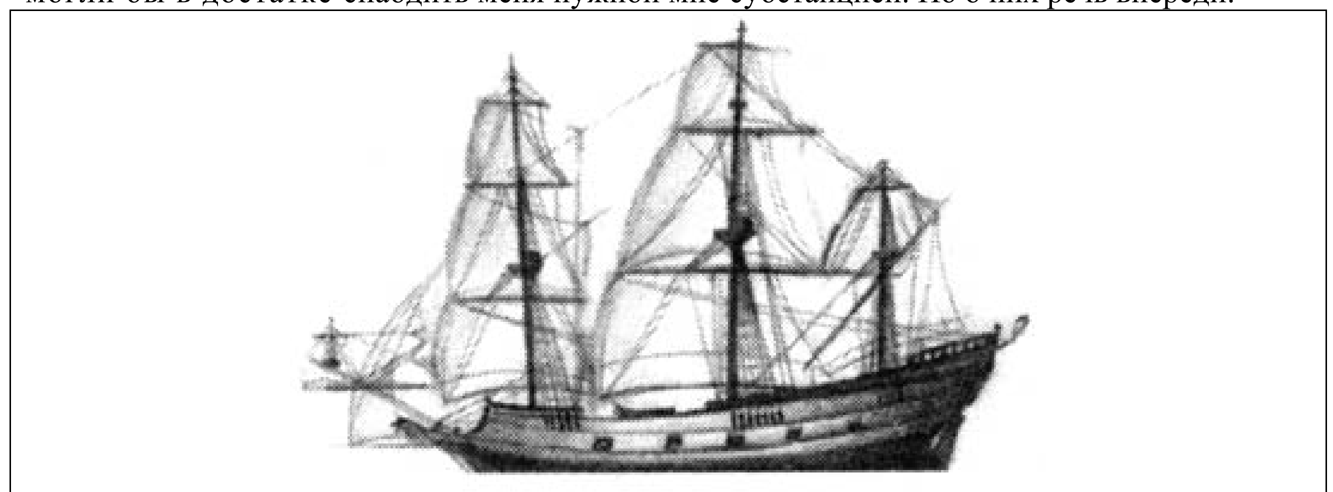
Завершая эту мысль, должен добавить, что это только на наш взгляд лилипут мал. На взгляд же лилипута он вполне велик и соразмерен, что лишний раз подтверждает относительность наших представлений о мире и о самих себе. Настраиваясь иногда на философский лад, я думаю, что, скажем, попади в Бробдингнег (о котором речь еще впереди) не я, а какой-нибудь лилипут, то его, видимо, вообще не заметили бы, а если бы и заметили, то лишь через огромную лупу. И даже самая сладострастная лилипутка, которая приходила в восторг при виде моего естества, вряд ли вдохновилась бы зрелищем детородного органа какого-нибудь бробдингнежца, который в свою очередь, в отличие от меня, не смог бы воспламениться прелестями лилипутки. Точно так же как моя любезная бробдингнежка Глюмдальклич вряд ли смогла бы испытать все те удовольствия, что испытала со мной, окажись на моем месте не я, а какой-нибудь пусть и самый рослый и сильный лилипут. Природа распорядилась разумно, не сталкивая крайностей.

В подтверждение сказанного могу добавить, что, повествуя о своих похождениях в Лилипутии, я нередко пользуюсь эпитетами «огромный» и «гигантский» применительно к тому самому моему органу, определяя который в Бробдингнеге я пользуюсь атрибутами «крохотный» и «маленький», хотя сие орудие за время, прошедшее между двумя этими путешествиями, ничуть не изменилось в размерах.

Не могу в заключение не сказать о научных исследованиях, которые я, будучи патриотом любезной мне Англии, не мог не провести, вернувшись в родные края. Ведь если я мог

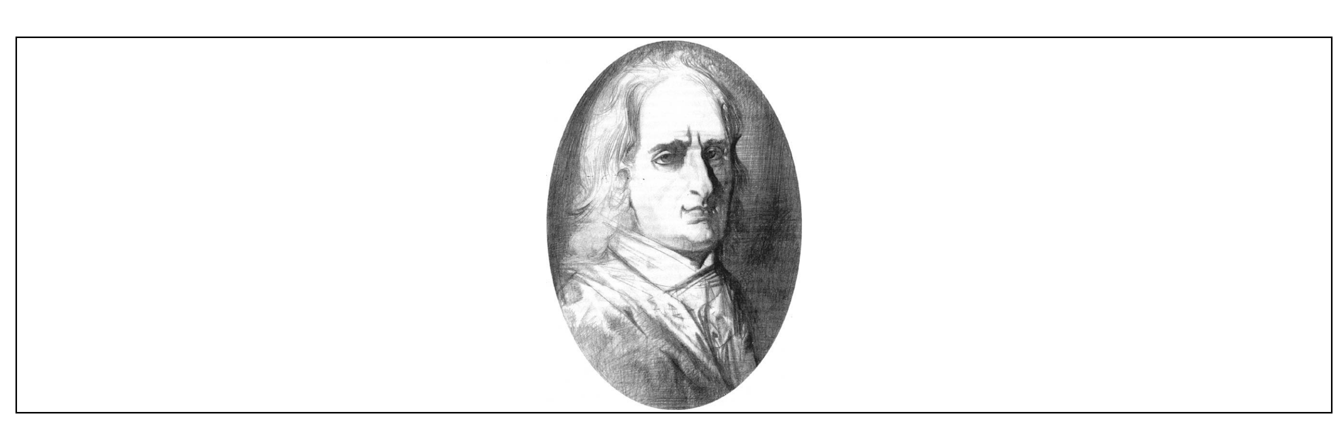
эффективно лечить лилипутов, то, может быть, я смогу оказать такую же неоценимую услугу и моим соотечественникам – такая мысль не давала мне покоя. Иными словами, меня как врача интересовал целебный эффект, производимый моими семенными выделениями. Я ставил перед собой несколько вопросов, на которые пытался найти ответы. Вопрос первый: только моя ли семенная жидкость имеет целебные свойства или же выделения других лиц могут быть использованы в тех же целях? Вопрос второй: оказывает ли моя семенная жидкость целебный эффект только на лилипутов или и на людей моей породы? Я поставил обширный эксперимент по проверке сего тезиса. Из двух тысяч персон, обработанных мною названным целебным средством, выздоровлению подверглись пять десятков, судьба остальных мне не известна.

Читатель, конечно же, вправе спросить, как же мне удавалось добывать сие целебное средство в таких количествах. Ведь Англия – не Лилипутия, и англичане – не лилипуты. На этот вопрос я могу только развести руками и сказать, что нехватка сего средства была просто катастрофической, и нередко дальнейшее проведение моего эксперимента оказывалось под угрозой. В те времена я еще не знал, что есть на свете страна, могучие жители которой могли бы в достатке снабдить меня нужной мне субстанцией. Но о них речь впереди.



ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОБДИНГНЕНГ





Вместо эпиграфа

Эта книга вышла бы, по крайней мере, в два раза объемистее, если бы я не взял на себя смелость выкинуть бесчисленное множество страниц, посвященных ветрам, приливам и отливам… а также подробнейшему описанию на морском жаргоне маневров корабля во время бури.

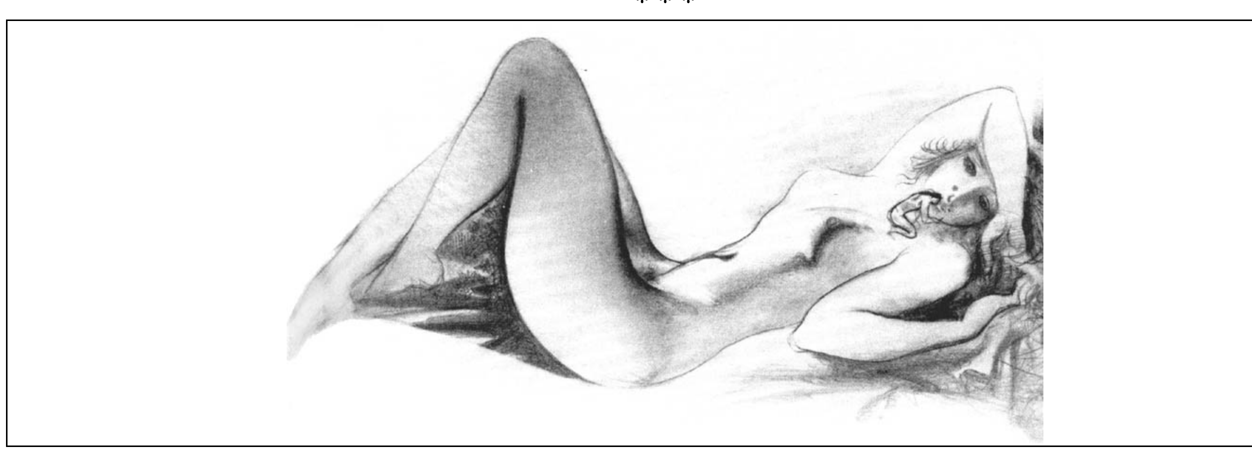
Да дорогой читатель, эти слова взяты из опубликованной версии моих путешествий, но написал их не я и даже не вымышленный мною бедняга Симпсон. На самом деле книга стала вдвое тоньше по воле издателей, выкинувших из нее целые главы, посвященные, как далее станет очевидным, вовсе не «приливам и отливам»… Скажите откровенно, кто, находясь в доброй памяти и здравом рассудке, будет на сотнях страниц расписывать маневры корабля? Кто станет это читать? Издатели же руководствовались тем сомнительным соображением, что надобно всенепременно считаться с ханжеской моралью нашего общества, парадоксальным образом уживающейся с крайней распущенностью его нравов, и не смущать ограниченные умы слишком дерзкими или тем паче фривольными высказываниями и картинами, касающимися образа жизни великанов, среди которых волею судьбы, решившей меня испытать, я оказался. Как и в Лилипутии, здесь, в Бробдингнеге, я был свидетелем, а то и участником, поразительных событий, рассказ о которых впоследствии был вычеркнут ради

якобы моего же блага. Какой гнев своих соотечественников, говорилось мне, навлек бы я на себя, познакомься они с моими подлинными живописаниями, сделанными непосредственно с натуры, иногда по горячим следам, и в какой ужас пришли бы они, особенно их нежная половина, узнай они о нравах и обычаях, царящих в этой стране. Хотя, если прямо посмотреть правде в глаза, в великаньем сообществе я ни разу не встретил и не наблюдал ничего такого, что в том или ином виде не было мне известно по прежней моей «нормальной» жизни среди подобных мне, чего не творилось бы за глухими стенами домов родного мне Ноттингемпшира, да и в нашей славной столице, повсеместно знаменитой не только своими королевскими дворцами, но и, смею сказать, злачными местами, а точнее – притонами, где воистину дают пышные всходы злаки наших человеческих слабостей, где и я, бедный раб страстей своих, проводил часы своей молодости… Удивительно устроен человек – он предается пороку легко и безоглядно, с чистой совестью и невозмутимостью во взоре, пока сей порок не назван и не показан ему в подобии зеркала, коим может служить назидательная литература. Когда же оное происходит, то человек чаще всего не направляет взор внутрь себя, не корит себя за содеянное, не обращается с молитвой ко Всевышнему, дабы получить отпущение грехов, нет – чаще всего он обрушивается с проклятиями на того, кто поднес ему это зеркало… Ибо давно замечено: ничто людей так не оскорбляет, как правда…

Тщательно описывая все, что произошло со мной в Бробдингнеге, я велел себе следовать одному завету, а именно – говорить только правду, ничего, кроме правды. Только она, в этом я глубоко убежден, преодолевает время, сковывающее наши умы и сердца, нашу дерзость, наше желание идти дальше отцов по пути истины, – только она, правда, и дорога мне в том, о чем я пишу. И если, рассуждал я, этим запискам суждено пережить своего автора, то в немалой степени этому будет способствовать его намерение мужественно описывать то, что было на самом деле, не опускаясь до сиюминутных соображений выгоды, до корыстного желания сорвать аплодисменты низменной толпы… Нет, – рассуждал я, – гораздо достойнее и дальновиднее поступить так, чтобы тебе аплодировало будущее! Вот с какой целью я благоразумно сохранил главы, изъятые издателями из моей книги, и передал их на надежное хранение. Правильно ли я поступаю? Уверен, что да. Признаюсь, меня весьма согревает мысль, что спустя какую-то сотню лет, когда человеческие нравы, несомненно, исправятся, когда на земле наконец-то восторжествуют истина и справедливость и воцарится разум, обуздав плоть, а о самом плотском грехе и некогда бытовавших нравах будущий читатель едва ли сможет узнать из старых книг, чаще всего лишь вводящих в заблуждение на сей предмет, мое письменное свидетельство сослужит ему в этом верную службу. Встреча с этим будущим читателем заставляет сейчас, в промозглый зимний день 1727 года, когда я пишу эти строки, взволнованно биться мое сердце.

Итак, укрепив оное мужеством, я приступаю к сей деликатной теме, которую запретило мне мое время, лишенное многих добродетелей, зато исполненное многих пороков…

* * *



Истинные обстоятельства моего пленения несколько отличались от тех, что опубликованы в печатном варианте моих приключений. В действительности же работник, который оказался возле меня на том злополучном ячменном поле, был далек от того, чтобы ненароком растоптать меня или разрубить серпом. Все на самом деле выглядело трагикомичнее, ибо тот работник отошел в сторонку от своих сотоварищей, чтобы справить крайнюю нужду, для каковой цели он и присел

среди колосьев ячменя… Воле провидения было угодно, чтобы он затеял сей акт, естественный для живого существа, будь оно даже гигантских размеров, над тем самым местом, на котором я тогда находился, а именно – в борозде, напоминавшей мне ров с меня ростом. Представьте себе мой ужас, когда я увидел, как надо мной, закрыв все небо, нависли две огромные половины зада и оттуда, предваряя естественное извержение переваренной пищи, раздался оглушительный выстрел, подобный залпу всех орудий одного борта королевского фрегата, результатом коего явилось то, что меня сбило с ног и унесло зловонными ветрами в сторону… Это скорее всего и спасло мне жизнь, ибо, когда изрядно помятый и перепачканный в земле, со звоном в ушах, на время заменившим мне все естественные звуки живой природы, я поднялся на ноги, то стал свидетелем возникновения на борозде исходящей паром горы высотой не менее чем в четыре человеческих роста. Гора источала такие миазмы, что голова моя закружилась, и я потерял сознание, а когда оно вернулось ко мне, я был уже на высоте, намного превышающей высоту грот-мачты, стиснутый пальцами этого опроставшегося работника. На меня смотрел его огромный, с суповую тарелку, глаз, зрачок которого напоминал дуло судовой пушки, при том, что постоянно менял направление, дабы получше меня разглядеть. Да, таковы были истинные обстоятельства моего пленения…

Позволю себе также занять внимание читателя и некоторыми подробностями первой ночи, проведенной мною в доме фермера. Дело в том, что дочки хозяев, заботам которой меня препоручили в дальнейшем, в ту пору по причинам, мне неизвестным, не было дома, и ночевать меня оставили в спальне хозяев, где мне было постелено на полке, дабы я снова не стал приманкой для крыс, с парочкой которых я столь доблестно расправился днем (о чем читатель, знакомый с моими изданными записками, должен помнить), но которые могли попытаться отомстить мне ночью за гибель своих сестер. И вот, с этой весьма высокой точки, как если бы с башни городской ратуши, я стал невольным свидетелем ночных плотских утех моих простодушных хозяев. Посчитав, что я сплю, а то и вовсе забыв про меня или же обращая на меня не большее внимание, чем мы на своих домашних любимцев кошек и собак, когда совокупляемся в их присутствии, мои хозяева предались удовольствиям известного толка… Естественно, я тогда еще не знал, что это первый день здешней осени, когда вся страна занимается тем же. Но не буду забегать вперед – обо всем по порядку.

Надо сказать, что как врач и хирург я был немало захвачен открывшимся зрелищем, тем более что на тот момент еще далеко не полностью составил себе представление, с какого рода живыми существами столь гигантских размеров свела меня моя поразительная судьба, и насколько их манеры, повадки, образ действий и мыслей соответствуют привычным мне, свойственным нашему человеческому обществу. В этом смысле лилипуты были как бы сильно уменьшенной копией нас самих, и я надеялся, что и эти великаны, кроме как размерами, не слишком будут отличаться от нас, в противном случае меня ждала бы пугающая неизвестность. Представить себя среди существ с иными, чем у нас, ценностями и предпочтениями было бы крайне затруднительно да и смертельно опасно – ну как если бы я оказался, скажем, Одиссеем в пещере циклопа Полифема, спокойно пожирающего моих несчастных товарищей. В этом смысле акт, которому предались мои гостеприимные хозяева, уверил меня, что сии великаны представляют собой просто некую аномалию в виде гипертрофированных человеческих особей, ибо в их плотских утехах я не обнаружил ничего исключительного и выходящего за рамки привычного или, точнее, известного мне. А я повидал разное да и, грешен, часто сам не проходил мимо соблазна, тут и там предоставлявшегося мне, здоровому мужчине, полному жизненных сил и тяги ко всему новому и неизвестному.

Как наблюдатель я был, конечно, свидетелем удивительной картины, когда в свете ночника, как при готовящемся к ночи небосклоне, с которого недавно ушло за обложенный облаками горизонт дневное светило, оставив среди них лишь одну полную багряного сияния прореху… когда при таком вот театральном освещении стали спариваться две горы. Они то и дело меняли свои очертания, мыча, стеная и охая; при сем одна гора, скорее – хребет, что сверху, вклинивалась в другую гору, что снизу, разделяя ее на две широко отстоящие одна от другой вершины и находя удовольствие между ними в некой седловине, а точнее расселине, откуда раздавались чмоканья и хлюпанья, как будто там плескалось стадо бизонов… Этот

природный катаклизм продолжался довольно долго, так что я даже стал зевать, задавая себе вопрос – не другая ли в этой стороне света мера времени? Но, поразмыслив, я решительно отмел эту досужую мысль, ибо мера времени у нас, обитателей земли, может быть только одна. Тем удивительнее было признать, что на земле, на коей мы, я имею в виду себя и этих великанов, одновременно обитали, наличествует столь широкая шкала физических размеров живого мира. Впрочем, меня, естествоиспытателя, это не должно было особо удивлять и шокировать, ведь в сравнении с человеческим миром, к коему я уже отнес моих великанов, мир животных давал нам еще более поразительные примеры образцов бесконечно большого и малого…

Я хочу сказать, что время соития показалось мне слишком затянувшимся лишь по той причине, что это были мои первые сутки пребывания в Бробдингнеге (самого названия страны я, естественно, еще не знал), и я порядком устал от впечатлений и был душою опустошен. В противном случае я бы не удержался от удивленных восклицаний, увидев при перемене мест, когда верхняя горная система стала нижней, огромное орудие удовольствия, представшее перед моим взором, прежде чем на него опустилась вторая горная система, то бишь обнаженная хозяйка, – орудие это в буквальном смысле им и являлось, – этакий шестифутовый ствол главного калибра, стоявший на вооружении королевского флота Англии… Возможно, оно было не столь большим, как таран, коим еще в славные времена Древней Греции и Рима били в главные ворота осажденных крепостей, принуждая последние к сдаче, а пропорционально размерам самой горы выглядело и вовсе скромно, но все же, даже находясь от него на расстоянии тридцать ярдов, я отдавал себе отчет о его размерах – оно явно превосходило меня и в росте, и ширине. Только теперь я вполне осознал, какое впечатление производил мой собственный детородный орган на милых моему сердцу лилипуток.

Итак, не издав ни звука, частично ради собственной безопасности, частично из-за избыточности впечатлений, я крепко заснул и не видел, чем кончилась эта схватка-игра верха и низа, но легко мог это себе представить. Дальнейший мой опыт действительно подтвердил первичное, наспех сделанное предположение, что плотским утехам здесь предаются хорошо известным мне образом. Поначалу я даже испытывал легкое разочарование, ибо в глубине души был готов к чему-то новому, неизвестному… Увы, в этом смысле, мои новые впечатления были вызваны лишь самими гигантскими размерами, с которыми я столкнулся, то есть – голой формой, но не содержанием. Но и это, как оказалось, было немало…

Больше мне ни разу не пришлось лицезреть любовные схватки моих хозяев, ибо на следующий день меня препоручили заботе их объявившейся девятилетней дочки. Это ей я обязан своим именем Грильдриг, хотя, признаюсь, оно мне перестало нравиться с тех пор, как я узнал, что на языке великанов оно обозначает «карлик». Ведь карликом я себя не считал, особенно после встречи с настоящим карликом при дворе короля… Но об этом речь впереди. Я ее ласково называл Глюмдальклич, то есть «нянюшка» по-бробдингнежски. Да, ей было всего девять лет, но в этой стране, как вскоре я узнал, созревали рано, весьма почтенного возраста достигали в сорок лет, а до пятидесяти доживали немногие, считаясь при этом глубокими старцами. Поэтому девять лет здесь – это был возраст умственной и физической зрелости, и в том, что Глюмдальклич, в отличие от ее сверстниц не выдали замуж, была лишь одна причина – заботы обо мне, которые вскоре стали ее основной обязанностью.

Здешние брачные традиции заметно отличались от наших. Королевский указ предписывал каждой девятилетней девице создавать собственную семью, ибо с каждой семьи в королевскую казну взимался солидный налог, трижды превышающий тот, который, начиная с пятилетнего возраста, выплачивался подушно до самого вступления в брак. Это серьезное налоговое бремя плюс огромный разовый взнос в казну за право вступления в брак само собой отсекали от невест юношей того же возраста. Последние могли заработать на брачный взнос не ранее, чем по достижении пятнадцати лет, почему в брак вступали только зрелые по местным меркам мужчины, уже накопившие соответствующий капитал. «Недорослям» же предписывалось, окончив учебные заведения, служить в армии, а также работать на соляных копях или на королевских рудниках, где добывалась медная и железная руда в основном для нужд той же армии. Женщины же занимались лишь домашним хозяйством и воспитанием детей, и хотя двери учебных заведений были для них открыты, лишь немногих привлекал

мир отвлеченных знаний, посему семьи здесь были, как правило, крепкие и дружные, как если бы бробдингнежки догадывались, что во многом знании много печали, и предпочитали радость, пусть даже они и платили за нее неведением.

Реально получаемое бробдингнежцами жалованье составляло почетную десятую часть от всего заработанного – девять же десятых отдавалось в казну, треть которой всемилостивейший король затем щедрой рукой выделял в помощь нуждающимся, таким образом уменьшая разницу между бедными и богатыми и тем самым выкорчевывая один из главных пороков – зависть, ведущую к революциям и гражданским войнам, столь пагубно отражающимся на благосостоянии общества и его нравах. Как и в Лилипутии для лилипутов, вступление в брак было основным событием в жизни бробдингнежцев и их главной целью. Не вступившие в брак считались неудачниками, их не принимали на государственную службу, над ними смеялись, о чем свидетельствовала бробдингнежская поэзия и литература. Быть мужем здесь считалось престижно, каждый муж носил на золотой цепочке отличительный знак в виде рогов марала, отлитых в золоте, – священный марал считался здесь символом супружеской верности.

Однако было бы чудовищной нелепостью предположить, что не имеющие ни права, ни возможности вступать в брак до пятнадцати лет половозрелые, способные к детовоспроизводству мужчины, вынуждены поститься – нет и еще раз нет! Неусыпная королевская забота распространялась в равной мере на всех подданных Его Величества без исключения, и потому «недорослям» было даровано всемилостивейшее право неограниченно заниматься самоуслаждением. Единственным узким местом этого более чем разумно устроенного общества было лишь то, что воспользоваться вышеназванным правом почему-то стремилась и мужская половина представителей узаконенных брачных союзов, что ей было категорически запрещено под страхом кастрации, в случае которой согрешившие и пострадавшие переходили, независимо от дарований, в категорию поэтов, и были обязаны до конца своих дней сочинять оды, эклоги и мадригалы во славу своего короля. Быть поэтом, литератором здесь считалось наказанием, поскольку эта категория граждан получала такие крохи за свой труд, что практически находилась на иждивении государства.

Глюмдальклич устроила мою постель на навесной полке, сшив мне постельные принадлежности из лоскутков для кукол, подушку же набила нитью непарного шелкопряда, – это был самый нежный материал, который ей удалось найти окрест, ибо пух местных кур оказался слишком жесток, и о его в первую же ночь вылезшие из подушки иглы я весьма болезненно оцарапал себе лицо и плечи. Сначала я укладывался в постель без участия моей доброй нянюшки, – ей оставалось лишь перенести меня к кровати от моего умывальника, где она ставила для меня блюдце с водой, которое было с хорошую ванну, и кружку размером с нашу бочку, но в дальнейшем, посмотрев, как я раздеваюсь, она выказала желание помогать мне, и, признаюсь, я получал удовольствие, ощущая своей обнаженной кожей прикосновение ее пальцев, каждый из которых хотя и был размером с мою ногу, но источал в моем направлении такие нежность и тепло, что несовместимость наших размеров отходила на второй план…

Как-то она, неловким движением зацепив ногтем вместе со штанами мое исподнее белье, случайно (если не намеренно) обнажила нижнюю часть моего тела, и жадно впилась глазами в то, что имелось у меня между ног. В тот момент наших соприкосновений, которых я, слабое и грешное человеческое существо, ждал каждый вечер, мое естество было в слегка приподнятом состоянии, и Глюмдальклич, догадавшись, даром что была юной и неопытной, в чем дело, протянула указательный палец и осторожно прикоснулась к нему, будто это был хоботок неведомого ей насекомого. Хоботок, разумеется, подпрыгнул, и Глюмдальклич испуганно отдернула палец, словно опасаясь быть ужаленной. Она тут же посмеялась над собой и повторила опыт. Хоботок, поскольку жил своей собственной жизнью, ей охотно ответил. Тогда она высунула трепетный кончик своего языка и прикоснулась к уже полностью открывшейся головке моего желания. Ни с чем не сравнимое ощущение охватило меня при этом соприкосновении с большой, горячей и влажной подвижной плотью ее языка. Сравнения тут невозможны и неуместны, но если все же прибегнуть к образам, то в голову прежде всего приходит большая добрая корова, вылизывающая своего только что родившегося теленка. Именно счастливым теленком, тающим от материнской нежности и ласки, почувствовал я себя

в тот незабываемый момент. Раскинув руки, я обнял ее язык, прижался к нему, опустил на него голову, и вдруг Глюмдальклич, осторожно взяв меня, открыла рот и вобрала в себя мою нижнюю часть, полностью уместив ее на своем языке, тогда как выше пояса я остался снаружи. Девочка охватила губами мою талию и, придерживая двумя пальцами за бока, стала тихонько посасывать то, что было у нее во рту. Поначалу я запаниковал, решив, что она ненароком может меня проглотить, но затем, видя, что ничего плохого со мной не происходит, а даже наоборот – в нижней части тела разливается приятная истома, я целиком и полностью отдался охватившему меня чувству. Видимо, подобное чувство испытывает тот, кто достиг единения с Богом. Могу смело утверждать, что теперь я знаю, что это такое. Мне известно, что некоторые восточные учения, сведения о которых принесли нам наши отважные мореплаватели, используют соитие для выхода в состояние просветления. Не буду лукавить – то, чем догадливая Глюмдальклич занималась со мной по своей собственной прихоти, что, кстати, снимало с меня всяческие могущие возникнуть у моих соплеменников обвинения в мой адрес, я считаю именно просветлением, то есть высшим состоянием наших разума и чувства. К тому же должен отметить, что, судя по поведению моей нянюшки, ей были уже знакомы те приемы галантной любви, которым обучают наших невест перед первой брачной ночью. И пусть ханжи и моралисты попридержат свои языки – никакого совращения с моей стороны не было и быть не могло, – это был обмен высшей нежностью, на какую только способен мир, между очень маленьким и очень большим, ну, как если бы, скажем, ящерка полюбила муравья…



Я потому говорю о любви и нежности, что не прошло и пяти минут ее влажных горячих посасываний, чуть втягивающих меня в недра ее рта и тут же отпускающих, как я почувствовал сильнейший прилив жизненных соков к своему паху и в следующий момент разразился выбросом семени, может быть, самым изрядным за всю мою жизнь. Не знаю, то ли моя нянюшка ощутила на своем языке капельку исторгнутого из меня вожделения, то ли уловила перемену в состоянии моего естества, уже не такого крупного и задиристого, но она вынула меня изо рта и нежно обтерла от слюны краем моей же простыни. Еще трепеща от испытанных мною

чувств, я стоял обнаженный перед ней – слезы благодарности навернулись мне на глаза – и дребезжащим голосом, с трудом сдерживаясь от рыданий, причиной которых по парадоксальности человеческого поведения бывает состояние исключительного счастья, я по-бробдингнежски спросил, могу ли каким-то образом отблагодарить мою нежную госпожу за доставленные мне минуты наивысшего блаженства. Вместо ответа Глюмдальклич, которая сидела передо мной на стуле, снова взяла меня и, подняв, осторожно опустила прямо в вырез платья, приподнятый ее хорошо сформированными грудями. Поначалу я судорожно ухватился за край этого выреза, боясь сорваться и упасть то ли ей в подол, до которого было никак не менее двадцати футов, то ли соскользнуть внутрь по животу, прямо туда… но тут же ощутил, что она сделала мне опору в виде подставленной ладони, так что я оказался между тканью платья и обнаженной грудью. Преодолев страх и осознав, что мне желают только добра и ждут от меня только ласк, я тронул ее сосок, размером с небольшую дыню. Обе мои ладони почти прикрывали его. При желании я мог уцепиться за него и повиснуть в воздухе, болтая ногами, но я тут же подавил в себе приступ ребячества, каковые мы иногда испытываем перед лицом чего-то очень большого… Заметив, что ткань ее платья стесняет меня в движениях, Глюмдальклич ослабила тесемку выреза и платье, державшееся на плечах благодаря сборке, сползло ей на бедра, открыв обе груди, которые были прелестны в своей юной красе, несмотря на то, что размерами превосходили все пределы, мыслимые самым сладострастным воображением. По форме они были действительно девичьи, а соски озорно торчали чуть ли не вверх, видимо, возбужденные нашей игрой… Моя прелестница подносила меня на ладони то к одному, то к другому соску, чтобы я пощупываниями и покусываниями (ничего иного просто не приходило мне в голову) засвидетельствовал им свое почтение и восторг. Нельзя было не заметить, что, несмотря на свои смехотворные размеры, я ухитряюсь доставлять своей нежной подруге массу удовольствий, – она то и дело закрывала глаза, шумно выпускала воздух трепещущими ноздрями, и над верхней губой у нее выступили капельки пота.

Тут у меня и мелькнула впервые мысль, что я, пожалуй, был бы готов на нечто большее по отношению к своей нянюшке, и только я подумал об этом, как она, словно прочитав мои мысли, взяла меня и перенесла на свою кровать, благо мы с ней спали в одной комнате. Опустив меня возле своей подушки, Глюмдальклич медленно на моих глазах разделась, оставшись в одних исподних панталонах такого тонкого шелку, что сквозь него в причинном месте проступала темная растительность, покрывавшая холм Венеры, то бишь лобок. Поколебавшись, раздеваться ли ей совсем, моя юная подруга все же не решилась на это, просто опустилась на простыню рядом со мной, так промяв, видимо, уже отслуживший свое матрас, что я кубарем покатился по склону прямо к ее бедру. Это так насмешило мою нянюшку, что она подхватила меня и, словно для безопасности, сунула под шелк своих панталон. Я, конечно, прекрасно понял намек. В спальне было довольно светло от огня двух толстых свечей, горящих по углам ее кровати, тем более что каждая из них была вдвое больше меня, так что и под шелковым исподнем света хватало. Во всяком случае, я довольно прытко миновал заросли, покрывавшие ее выпуклый лобок и напомнившие мне высокую траву на солнечной поляне в августе месяце, когда она уже, вымахав в полный рост, позолотев и подсохнув, клонится к земле, и оказался в преддверии того, к чему я всегда стремился… Но то, что ожидало меня теперь, требовало осмысления и каких-то иных, доселе неопробованных мною подходов, ибо любое мое неосторожное движение грозило мне если не гибелью, то, во всяком случае, членовредительством. Когда моя нянюшка, глубоко вздохнув, раздвинула ноги, я, глянув вниз с бугорка, который мог быть ничем иным, как кожной складкой, прикрывающей clitoris, определил, что до простыни, прямо между ног, откуда ко мне восходил влажный чистый жар девства, по меньшей мере, шесть с половиной футов, что превышало мой рост, коим я гордился, считаясь среди своих соплеменников довольно высоким человеком.

Не скажу, что когда до моих ноздрей донесся знакомый и желанный дух, мною овладела нестерпимая похоть, – ведь, как помнит читатель, она уже была удовлетворена более чем экзотическим образом, но тем не менее я весь трепетал от азарта первооткрывателя и первопроходца, ибо стоило, опираясь руками о внутренние стороны бедер моей скромницы, спуститься и раздвинуть ее большие створки, что далось мне на удивление легко, как я тут же обнаружил, что передо мною чистая и непорочная дева. Да, вход в священную обитель

нашего неугасимого желания был сверху целомудренно прикрыт девственной hymen, то есть плевой, имеющей несколько отверстий неправильной формы, и я испытал сильнейший искус заглянуть сквозь них внутрь. Однако, почитая сдержанность одной из высших добродетелей, я позволил себе лишь слегка погладить открывшиеся мне прелести, пусть и невероятных размеров, что делало их на мой вкус еще более влекущими и загадочными. Так порой наше желание мысленно увеличивает предмет нашей страсти настолько, насколько велико само. Должен признаться, что дефлорация никогда меня особо не прельщала: кровь, боль – ее неотъемлемые спутники, делали таковую в моем понимании лишь хирургической операцией без хотя бы примитивных инструментов, где роль хирургического ножа доставалась довольно грубому и тупому орудию. Более того – признаюсь, что я никогда близко не рассматривал сей цветок: во-первых, для этого он обычно был недостаточно освещен, а во-вторых, для подробного изучения понадобилась бы лупа, которой, читатель, надеюсь, со мной согласится, обычно не бывает под рукой в нужный момент… Теперь же как раз такой случай мне и представился, я как бы глядел через оптическое стекло с двенадцатикратным увеличением – напомню, что именно во столько раз великаньи размеры превосходили обычные человеческие… Устройство этого органа, явленного передо мной в подобном увеличении, показалось мне чудом природы, точнее – искуснейшим произведением Творца, потрудившегося на славу, дабы оно, это чудо, никогда никому не приедалось и обретало все новых и новых поклонников, почитателей и обожателей, дабы цепочка рода живых существ в человеческом обличье никогда не обрывалась, дабы воплощался великий завет Творца: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю!».

Позднее в королевской библиотеке я провел немало часов и потратил немало сил, чтобы докопаться до истоков происхождения этих гигантов, не без основания полагая, что это некая умершая ветвь человечества, сохранившаяся в данных местах лишь благодаря их географической удаленности и обособленности. Ведь и в Англии в известняковых откосах южного побережья не раз уже находили скелеты древних животных, многократно превосходящих размерами нынешних. Гиганты и лилипуты – это, видимо, отвергнутые самим Творцом опытные образцы, выжившие лишь кое-где по исключительному стечению обстоятельств, как бы вопреки мировому закону развития, что еще раз подтверждает идею умеренности как основополагающего условия продолжения жизни. Развитие в сторону гигантизма – несомненная ошибка природы, поскольку, подобно власти в лице мудрого короля или двухпалатного парламента, института, в Бробдингнеге абсолютно неизвестного, она по преимуществу стремится к экономному и рациональному устройству, дабы все в ней – от муравьев до слонов – находилось в круговороте взаимной пользы и выгоды. Опять же закон земного тяготения, открытый моим великим соотечественником Исааком Ньютоном, позволяет сделать вывод, что всему гигантскому труднее преодолевать притяжение земли, нежели тому, что находит себя в разумных размерах, посему, на мой взгляд, у великанов Бробдингнега в принципе не было и не могло быть того лучезарного будущего, которое предрекали нормальному по своей физической кондиции человечеству наши лучшие умы. У бробдингнежцев же, если они хотели жить, не было иного выбора, как постепенно уменьшиться в росте, иначе их существование на земле должно было прекратиться за какие-нибудь несколько десятков поколений. В этом смысле им следовало бы уже теперь сделать ставку на карликов и карлиц, чтобы те рожали как можно больше детей, тогда как всем остальным позволить не более одного ребенка. Один ребенок не восполняет уход двух родителей – таким образом со временем число гигантов существенно сократилось бы, а карликов – возросло. Примерно так наши терпеливые любители домашних животных выводят маленьких собак или лошадей…

Но вернемся к Глюмдальклич, у причинного места которой, как помнит читатель, я стою, замерев в непреходящем восторге… Она с благосклонностью приняла мои ласки, направленные на поверхностные части ее удивительного естества, опушенного дорожкой довольно жестких волосков, но, когда я прекратил свои скромные посягательства на ее целомудрие, которое я не смел да и не смог бы нарушить, она аккуратно, чтобы не повредить, обхватила меня всеми пальцами, как подсвечник, чтобы я не смог пошевелить ни рукой, ни ногой, и сначала потерла мною clitoris, размером с голову спрятавшегося под капюшоном

монаха, разве что гораздо мягче и приятнее, а затем, к полной моей неожиданности, стала погружать меня ногами вперед в нижнюю часть своей юной vulva, не перекрытой девственной плевой. Мне ничего не оставалось как подчиниться этой новой прихоти своей нянюшки, и я заботился лишь о том, чтобы держать руки крепко прижатыми к бокам (чуть не написал – по швам, но читатель помнит, что я давно уже полностью обнажен, и швы остались на снятых с меня камзоле и рубашке). Предосторожность эта оказалась далеко не лишней, так как моя скромница довольно энергично окунала меня в свое отверстие и пока оно в достаточной мере не увлажнилось, я рисковал получить вывих своих конечностей. Отверстие это отчасти походило на рот моей возлюбленной, разве что в нем не было зубов, которые, честно признаюсь, в первом случае столь близко оказывались возле моего обнаженного тела, что, казалось, вот-вот перекусят меня пополам… Теперь же, если поискать аналогий, это походило на принятие ванны из бьющего из-под земли горячего источника, которыми начали столь увлекаться мои современники, специально для этого съезжающиеся на курорты Висбадена и в другие места германских княжеств, где некогда еще лечили свои члены воины Древнего Рима.

Мое безропотное послушание, видимо, хотя и нравилось Глюмдальклич, но было недостаточным для осуществления ее желаний, и, быстро догадавшись, чего же недостает ей в конфигурации моего тела для того, чтобы испытать весь набор чувств, закономерно приводящих к пику сладострастия, я стал по вхождении в vagina с вытянутыми носками ног, как при нырянии в воду солдатиком, тут же распрямлять их внутри, так что на пути обратно мои ступни торчали в разные стороны, а ноги даже слегка раздвигались, чтобы увеличить трение, в котором нуждалась моя скромница, ведь именно оно, как известно, и споспешествует возгоранию чувственного огня. С той же целью я по входе внутрь расставлял локти и растопыривал пальцы рук. По усилившимся вздохам своей любимицы я понял, что оказался сообразительным угодником, и спустя еще минуту-другую моя нянюшка разразилась жалобным стоном, давая мне знать, что достигла желаемого. Она несколько раз судорожно дернулась, оставив меня наполовину в себе, и я почувствовал, как мышцы ее vagina попеременно охватывают меня своими кольцами. Слава Богу, что сокращения эти были не настолько сильны, чтобы сломать мне тазобедренный сустав, но ощущение было такое, словно я попал в объятия нежного удава, с той лишь разницей, что они были горячи.

Однако моя нянюшка не совсем потеряла голову, и если и забыла обо мне и особенностях моего телосложения, то лишь на краткий миг, после чего она осторожно вынула меня, перенесла прямо в блюдце, полила на меня из чашки остатками воды, еще теплой, и, запеленав в лоскут холста, уложила на моем законном месте, хотя я готов был остаться с ней. Потрясенный пережитым и чувствуя крайнюю усталость и легкую ломоту во всех членах, я вскоре заснул.

Так я стал возлюбленным моей заботливой и нежной Глюмдальклич, но наше ничем не замутненное счастье продолжалось недолго, потому что далее начались утомительные поездки по этой бескрайней стране с моими цирковыми выступлениями, которые иногда длились по десять часов в день и крайне отрицательно сказались на моем здоровье. По вечерам у меня не оставалось ни сил, ни желаний, чтобы предаваться утехам со своей возлюбленной, да и она чувствовала себя не лучше, – от верховой езды у нее начались боли в спине и она плакала по ночам на казенных кроватях в гостиницах, где мы останавливались. О своих выступлениях я рассказал достаточно подробно в опубликованной версии, где издатель опустил один номер, который я исполнял по специальному зрительскому заказу за отдельное вознаграждение, втрое превышающее входную плату на мой аттракцион, и без того немалую. Номер этот придумал мой хозяин-фермер, отец Глюмдальклич, человек одержимый неизбывным желанием разбогатеть. Фермерский труд, содержание работников и всего хозяйства, видимо, утомили его и представились бессмысленными с того момента, как он начал зарабатывать деньги на мне. И теперь все силы своего небольшого, но весьма практичного ума он направлял на то, чтобы извлекать как можно больше материальной выгоды из владения мною…

Так вот, однажды, когда Глюмдальклич только опустила меня под вырез платья потеребить ее соски, в комнату неожиданно вошел отец, – девочка забыла закрыть дверь на щеколду. Услышав грохот и не поняв его природы, я имел глупость высунуться наружу, где и был увиден изумленным родителем. Надо отдать ему должное – он не стал устраивать скандал своей

дочери: то ли действительно не представлял себе, насколько далеко мы с ней зашли в галантных отношениях, то ли решил, что такое крохотное существо, как я, не представляет никакой опасности для невинности его дочери, то ли в тот момент корысть и алчность пересилили в нем все прочие чувства. Он только, ухватив пальцами левой руки меня под мышками, поднял высоко в воздух и, помахав перед моим носом указательным пальцем правой руки (задень он меня хоть раз – и я бы остался без головы), рявкнул: «Вместо того, чтобы лазить по моей дочери, старый развратник (о моем возрасте он судил по моей бороде, которую вскоре мне пришлось сбрить, хотя в родной мне Англии она была отнюдь не символом старости, как здесь, а признаком мужественности), лучше бы уж ты щекотал моих зрительниц!».

К несчастью, несмотря на бурные протесты его дочери, моей нянюшки, ее слезы и объяснения, что под ее платье я попал исключительно по ее неосторожности, выскользнув у нее из рук при переносе с пола на полку, фермер сдержал свое слово, и к представлению прибавился еще один номер, исполнявшийся по специальному заказу за тройную плату. Номер этот имел среди моих зрительниц исключительный, просто ошеломляющий успех, хотя сопровождался не громом аплодисментов, а слухами, которые передавались шепотом на ушко…

В Бробдингнеге общество было устроено по патриархальному принципу, у власти во всех ее видах и разновидностях находились особи мужского пола, отсюда даже в вопросах полового воспитания и удовлетворения половых чувств господствовала исключительно мужеская точка зрения, в каковой интересы женщин учитывались лишь в самой малой мере, или скорее всего – вообще не учитывались. Быть свободными в любви и выбирать себе любовные развлечения и удовольствия, как я вскоре узнал, здесь могли лишь представительницы высшего света, графини, маркизы и прочие, подобные им богатые дамы. Остальные же, а таких, естественно, было большинство, находились в зависимости от мужеских интересов и были, по сути, вынуждены продавать себя и свои чувства в обмен на ту или иную степень благополучия. Да, меня поразило, что хотя рабства в стране не было, почти все жены в Бробдингнеге продавались и покупались. Поскольку же они по мудрому указу короля были вправе сами назвать свою цену, суды были завалены жалобами истцов (бывших или настоящих мужей), с этой ценой не согласных.

Неравенство полов порождало много проблем, и хотя более чем справедливо высказывание древних римлян, согласно которому мы меняемся вместе с переменой времен, здесь же общественная мысль и господствующая мораль давно застыли на месте. Негласно считалось, что равноправие полов неизменно приведет к размыванию государственных устоев, зиждившихся на последнем слове, сказанном Его Величеством, как если бы оно было и самым первым. Дуализм официально провозглашенного мироустройства, когда, обозначив мужское начало, следовало сразу же поискать и начало женское, существовал только теоретически, на бумаге, в основном для потакания умам, бредящим реформацией и идеями никому не нужной личной свободы. На самом же деле для образцово устроенного государства не было лучше идеи, чем монизм или даже монотеизм, когда король как наместник Бога на земле, равнозначен ему, и любить своего короля так же естественно, как и дышать. Вообще человеку как существу, вынужденному принимать решения, живется гораздо легче с Богом или королем, поскольку человек боится себя самого. Подозревая, что женщина не совсем человек и, скорее всего, сильней его, как сама Мать-Природа, мужское начало Бробдингнега благоразумно держало женский пол на безопасном расстоянии от власти.

Таким образом, для бробдингнежек в этом мире было не столь уж много удовольствий и развлечений, особенно если, например, учесть, что любовь женщины к женщине под принятым у нас названием трибадия, каралась здесь усекновением clitoris, без которого женщина, не теряя своей способности к деторождению и половому удовлетворению мужчины, становилась бесчувственной. Поэтому слух о том, что можно за определенную плату поместить себе под платье некое маленькое существо, отчасти похожее на местного зверька сплекнока, но только разумное да еще мужеского полу, и разрешить ему там делать, что заблагорассудится (даже в строгом бробдингнежском кодексе полов такая ситуация никак не регламентировалась), вызвал настоящую прибойную волну охотниц изведать неизведанное, и очередь из них к нашему балагану выстраивалась еще с вечера. Все эти энтузиастки были из зажиточных семей, ибо

выложить за десять минут удовольствия сумму, равную стоимости на рынке трех полугодовалых поросят, могла позволить себе далеко не каждая.

Номер же заключался в том, что зрительница входила в специально отведенное для этого помещение, украшенное флажками из тонкой рисовой бумаги и мишурой, садилась на скамейку, и моя верная Глюмдальклич (ее имя до сих пор ласкает мне слух в моих ностальгических воспоминаниях) запускала меня под платье посетительницы, строго-настрого предупредив, чтобы та по возможности оставалась неподвижной и не шевелила руками, дабы случайно меня не повредить. Моя же задача заключалась в том, чтобы пощекотать грудь посетительницы и любым доступным мне способом хотя бы немного ее воспламенить. Никогда, ни до ни после, не имел я (чуть не сказал – удовольствия, что было бы неправдой и лишь вежливо-формальной фигурой речи) возможности лицезреть и трогать столь большое количество грудей разнообразных форм, размеров, оттенков и запахов, – на их описание у меня ушло бы слишком много времени. Я не жалею, что видел их, касался их, садился на них или висел, ухватившись за сосок, мял, щипал, даже кусал (о, им нравились мои укусы…), как не жалею и о том, что теперь напрочь лишен такой возможности. Впрочем, со мной случилось то, что и должно было случиться, когда проводишь слишком много времени в обстоятельствах, которые ты не в силах ни изменить, ни преодолеть, – я полюбил эти обстоятельства, я прикипел к ним душой, сердцем и своими чреслами, и по возвращении в Англию так и не смог найти себе подругу, соответствующую моим новым запросам. Так долгосрочный узник, выпущенный на свободу, тяготеет к своему узилищу. Чтобы возбудиться, мне теперь нужна была женщина-гора, но где я мог такую найти? Мои друзья-острословы, знающие о моем тайном несчастье (жена, конечно, ни о чем не подозревала), то ли в шутку, то ли всерьез, советовали завести мне зоофилический роман со слонихой или бегемотихой, или на худой конец, если я хорошо плаваю, с самкой финвала… Что, между прочим, было бы не лишено смысла, отзовись эти гигантские твари на мужской призыв моего тоскующего естества. Но я для них наверняка представлялся бы ничтожеством, и даже обычный осел с их точки зрения был бы много более подходящим самцом.

Итак, я делал все возможное, чтобы за небольшой отрезок времени доставить каждой даме максимум удовольствий и отработать сумму, оставляемую ею в кошельке бывшего фермера, а теперь успешного антрепренера, но длилось это недолго, недели две. А потом мой хозяин, хотя его алчность и росла с успехом его предприятия, вынужден был отказаться от данного номера. Получилось так, что пока моя Глюмдальклич пересчитывала целую горсть монет, чтобы передать их отцу, очередная посетительница, на грудь которой меня посадили, то ли ненароком, то ли намеренно стряхнула меня вниз. Я кубарем прокатился по животу, слава Богу, округлому, что замедлило мое падение протяженностью по меньшей мере в пятнадцать футов и, еще не успев осознать случившееся, оказался у дамы прямо в исподнем белье, точнее, в ее панталонах, о чем нетрудно было догадаться по специфичному запаху, ударившему мне в ноздри. Впрочем, он был не столь специфичен, сколь характерен, из чего можно было заключить, что в лоно дамы незадолго до этого пролилось мужское семя, и от густоты этого запаха у меня закружилась голова. Я стал подпрыгивать, чтобы ухватиться за обширную жесткую растительность и вылезти хотя бы на лобок, где можно было бы перевести дух, но хитрая дама, видимо, не желая, чтобы я ускользнул из ее заветного местечка, пальцем, сквозь материю платья надавливала мне на затылок, и я ничего не мог поделать. Чувствуя, что теряю сознание, я отчаянно закричал, зовя Глюмдальклич, и хотя зов мой был тих и приглушен тканью платья и нижними юбками, моя нянюшка его услышала, и, догадавшись, в чем дело, тут же пришла мне на помощь. В следующий момент она, без лишних церемоний задрав даме подол платья, вызволила меня на свет. Дама в конфузе убежала. Я же был почти недвижим и покрыт холодным потом – явный признак асфиксии и сердечного недомогания. Прибежавший на шум фермер, решив, что я при смерти, и не желая терять такой верный и безотказный источник доходов, завернул меня в носовой платок и бегом отнес к лекарю, по счастью, жившему неподалеку, где мне сделали примочки и напоили настоем ромашки, по заверению лекаря, немедленно выводящим яды из организма, включая те, что вызваны летучими миазмами, повредившими мне трахеи и бронхи. Выздоровление длилось всего четыре дня, но после этого еще с неделю по настоянию непреклонной Глюмдальклич я был освобожден от выступлений и

проводил время или на ее руках, или в своем ящичке-домике на гостиничном подоконнике, вдыхая свежий воздух маленького, по здешним меркам, внутреннего сада, занимавшем часть территории заднего двора, куда выходило окно.

* * *

По моим наблюдениям, народ в Бробдингнеге не был избалован развлекательными зрелищами… Кстати, ни в одном доме, где мне довелось потом побывать, я не видел картин на стенах, коими столь кичатся мои именитые соплеменники в родной мне Англии, собирая целые коллекции из полотен знаменитых художников прошлого и настоящего, тратя на это огромные деньги, ибо знают, что таковые предметы только растут в цене от времени… Ничего подобного здесь не было – эта нация не имела тяги к изображению эстетически прекрасного… Здесь в основном процветало лишь военное искусство, которое в отсутствие реального противника (ученые и философы Бробдингнега давно уже сделали вывод, что их народ – один во всей Вселенной и потому является законоправным хозяином ее), проявляло себя в самых разнообразных формах физических упражнений с булавами, мечами, саблями, алебардами, копьями и ядрами метательных орудий. Стрелкового оружия здесь не знали, поскольку не имели никакого представления о том, что такое порох, мое же предложение назвать его состав было королем категорически отвергнуто.

Военное искусство возникло здесь еще в глубокой древности, когда, как гласили местные предания и легенды, мифы и исторические хроники, у бробдингнежцев был реальный враг в лице соседнего государства под названием Брибтибрея. Брибтибрейцы, естественно, тоже были великанами, имели свой язык и свою письменность и, как говорят хроники, на протяжении столетий поддерживали дружеские отношения с Бробдингнегом. Там тоже была монархия, и королевские дворы соединялись узами родства, так чтобы на корню гасить гипотетические распри. Так и жили эти два народа в благости и процветании, не зная, что такое холодный лязг мечей и предсмертный крик зарубленной жертвы… Но, как гласит дошедшая до наших дней летопись Бробдингнега, пятьсот пятьдесят пять лет назад брибтибрейский король Иуфбр XII (Темный), взявший в жены принцессу бробдингнежского царствующего дома Здрупу-Затворницу, обнаружил в первую же брачную ночь, что его невеста не девственница, а созванный наутро консилиум врачей, обследовавший рыдающую невесту, лишь подтвердил открытие разгневанного жениха… По законам Брибтибреи такой брак не мог быть признан, а потому развенчанная Здрупа была заключена под стражу и отправлена в тюрьму, где ее посадили в одну камеру с самыми отпетыми бандитами и разбойниками, которые не преминули воспользоваться предоставившейся им возможностью и надругались над ней, а затем, простоволосая, в одной ночной рубашке она была отпущена на родину, до которой шла, босоногая, девять ночей и дней под насмешки и улюлюканье толпы, которой было позволено плевать в нее и бросать гнилые овощи (только мягкие, чтобы не повредить ее членов и не нанести ей поверхностных ран, как будто они могли быть существенней ее внутренней раны…). Так Иуфбр XII (Темный) мстил за вероломный удар, нанесенный ему в самое сердце бробдингнежским двором, видимо, настолько погрязшим в пороке и разврате, что даже нареченную невесту не мог сохранить в надлежащей целости и невинности. Остаток своей жизни Здрупа-Затворница провела за семью дверями, в келье монастыря… Медицинские же светила Бробдингнега, освидетельствовавшие ее причинное место, и в самом деле не найдя никаких следов разрыва плевы, ни ее самой, пришли к однозначному выводу, что таковой у Здрупы не было от рождения, – невинность же ее и непорочность была подтверждена на Втором церковном соборе Бробдингнега, после чего еще при жизни Здрупа была причислена к лику святых, и к ней, пока она была жива (еще целых тридцать три года из отпущенных ей сорока шести), не прекращался поток страждущих и алчущих исцелиться, – в основном женщин. И действительно, даже прикосновение к краю одежды Здрупы излечивало бесплодие, останавливало или наоборот, если в том была нужда, вызывало месячные, снимало болевые ощущения, вызванные разрывом девственной плевы. Ее поруганная ночная рубашка стала священной реликвией страны (изображение оной вошло в герб) и раз в год в день Святой Здрупы выставлялась в главном храме столицы для обозрения. Прикасаться к ней, чудотворной, уже было нельзя по причине ее крайней ветхости, но и лицезрение ее творило чудеса, реестр которых велся в специальной книге.

У этой до основания потрясшей страну истории была и другая сторона. Когда на девятый день Здрупа, переступив условную границу своего государства, была узнана своими согражданами и, прикрытая попоной, доставлена во дворец, ее отец, король Бробдингнега Дакельблюр III объявил Брибтибрее войну. Первые сражения проходили на кулаках, палках и дубинках, которые вырубались из ствола дерева кракрок, имевшего такую плотность и вязкость, что дубинка не трескалась даже при встрече с лобной костью черепов брибтибрейцев, отличавшейся невероятной прочностью (потом из нее победившие бробдингнежцы будут вытачивать гребни для волос). В дальнейшем же в связи с открытием железа возникло и холодное оружие, в силу чего поражаемость противника многократно возросла (у твердолобых брибтибрейцев железа не было).

Уже в нынешние времена, когда в умах началось легкое брожение (если одни идеализируют прошлое, то другие тут же начинают смотреть на него свысока), были предприняты попытки ревизии той давней истории, объединившей бробдингнежцев в борьбе с обидчиками. Нашелся безумец, который утверждал в своем исследовании на основе изучения мемуаров и документов эпохи Дакельблюров, что принцесса-заточница действительно досталась Иуфбру XII (Темному) недевственницей, но что причиной тому были вовсе не поползновения некоего ее тайного возлюбленного, имя которого история не сохранила, а исключительно собственная неосторожность принцессы в юном возрасте, когда она, получая удовольствие известным способом, скорее всего, сама повредила себе плеву. Но когда слухи о новых материалах, связанных с этим давно уже ставшим сакральным событием, дошли до ушей правящего монарха, пытливый исследователь по приговору суда получил два легких удара по голове дубинкой из дерева кракрок и, отпущенный на свободу, немедленно прекратил свои изыскания, поскольку лишился памяти и должен был начать жизнь сначала, с чистого листа… Кстати, этот приговор был вполне гуманный, поскольку критическое число легких ударов дубинкой по голове равнялось четырем, что означало неминуемый смертельный исход.

В результате кровопролитной войны, спустя всего лишь одно поколение Брибтибрея лишилась своей независимости и превратилась в колонию, поставлявшую метрополии все необходимое, в том числе и рабочую силу. Но смежность границ и этническая общность привели к тому, что победители и побежденные перемешались, растворившись друг в друге и в конце концов Первой унией был закреплен новый статус Бробдингнега как единого государства, вобравшего в себя прежнюю Брибтибрею, с новыми границами, которые являлись естественными границами полуострова, с трех сторон омываемого мировым океаном, а с севера перегороженного непроходимыми вулканами. Парадоксально, но факт, – у бробдингнежцев, в отличие от лилипутов, морского флота не было, ибо еще на Первом Сходе ученых-географов и математиков, создававших карты и математические модели своей страны, было официально провозглашено: «За морем жизни нет!». Эта историческая фраза стала крылатой и тут и там использовалась в пословицах и поговорках. Если, например, в нашем сознании вечной занозой застряло выражение: «Там хорошо, где нас нет», то у бробдингнежцев оно звучало с точностью до наоборот: «Там хорошо, где мы есть». Самодостаточность этой второй тезы вкупе с первой, основополагающей, на века породила в нации географическую индифферентность – здесь не было путешественников, никто не стремился открывать новые земли. Всем было хорошо и без того.

Поначалу, как и было закреплено в пунктах знаменитой Унии, государственных языков у новой исторической общности было два – бробдингнежский и брибтибрейский, но так как на последнем говорило лишь низшее сословие бывшего противника, поскольку высшее было полностью истреблено, а литература, наука и культура чувствовали себя комфортнее на языке победителя, то постепенно язык покоренных был вытеснен из обихода и в настоящее время представлял интерес разве что для кучки лингвистов. От языка брибтибрейцев осталось лишь несколько междометий, которые мне не воспроизвести вслух по причине их труднопроизносимости, но которые вполне по силам речевому аппарату бробдингнежца, привыкшего артикулировать любые гортанные звуки, вроде «гкхххфрпго!» или «фптхргкхххххкпу!» – кстати, первым междометием здесь выражают восторженное удивление, а вторым – брезгливое неприятие, что-то вроде наших «Ого (о-ляля)!» и «Фу (бе)!» Лингвисты же скрещивали копья в основном по поводу того, есть ли у этих двух языков некие общие

корни, или же они порождены разными праязыками, соотносящимися лишь по принципам дуальности, как левое и правое, верх и низ, мужское и женское. Само собой, что язык побежденных был классифицирован как более слабое, женское начало…

* * *

Как читатель уже знает, мои злоключения закончились в один прекрасный день, когда за сумму, равную тысяче гульденов, я был продан королеве Бробдингнега, и в придачу при дворе была оставлена моя любимая Глюмдальклич, ибо никто, как она, не мог знать столь хорошо мои нужды и потребности, никто иной не мог бы окружить меня такой заботой и вниманием, и (между нами) никому иному она не стала бы чуть ли не каждый вечер поверять свои девичьи тайны.

Моя жизнь во дворце столицы Бробдингнега, города под названием Лорбрульгруд, описана довольно подробно, и у читателя может сложиться приятное заблуждение, что, стало быть, есть, пусть и в очень удаленной части земли, где-то между Японией и Калифорнией, хотя бы один королевский двор, где жизнь полна мудрости и достоинства, где члены королевской семьи своими нравами и манерами демонстрируют подданным достойные образцы для подражания. Но таковым заблуждением любезный читатель обязан тем, кто вымарал добрую половину моих страниц и таким образом утаил истину. Не будем забывать правило, которое действует везде, не исключая и запредельных королевств, затерянных в океане столь основательно, что среди представителей нормальной человеческой расы, обладающей средними физическими размерами, я был первым, кто их открыл, – правило, гласящее, что если ты нашел левое, то поищи и правое, а на всякое белое найдется столько же (если не больше) черного. В данном случае я имею в виду мораль этого общества и прежде всего – его двора, которая оказалась такой же двойной, или, скажем по-философски, – дуальной, как и во многих королевствах Европы, по дорогам которой я немало потрясся в карете или верхом на лошади. Увы, об этом я знаю не понаслышке и даже больше, чем мне бы хотелось.

Как понял я позднее, именно из-за испорченности дворцовых нравов я и был куплен у моего фермера, ибо вероятней всего, слава моя как существа, дарящего здешним дамам новые неслыханные ощущения, успела достичь королевских покоев, обычаи которых – говорю об этом как впоследствии свидетель и участник нескольких непристойных действ – были весьма далеки от нравственного целомудрия. Но поначалу я об этом даже не подозревал и тешил себя надеждой, что наконец-то вижу перед собой идеальных страноуправителей, высокообразованных и милосердных, терпимых к слабостям других и нетерпимых по отношению к своим собственным, кои выжигались на костре самопожертвования исключительно ради блага народа, судьба которого была вверена отцам нации по велению Творца. Ведь сказано в Писании – кому много дано, с того много и спросится. А с великанов и спрос должен был бы быть великий… Во всяком случае, мое первое впечатление о королевской чете было превосходным, и я хоть и сильно тосковал по утраченной мной родине, все же утешал себя тем, что год-другой, проведенные в этих никому не известных краях, сослужат мне немалую службу, и знаниями, которые я здесь с благодарностью приобрету, я смогу щедро и безвозмездно поделиться со своими менее счастливыми и благополучными соотечественниками, в обычае которых было вздыхать о прошлом и молиться о будущем, при этом никак не замечая настоящее или разве что хуля его, и пуская язвительные стрелы критики, словно таким образом можно исправить его или отделиться от него, завернувшись в мягкий белый кокон собственных фантазий.

Здесь же, мнилось мне, и найден ответ на проклятые вопросы бытия. Если хорошо не где-нибудь, а там, где мы есть, то это означает, что мыслящее существо вполне довольствуется сущим; ему, мыслящему существу, хорошо просто так – просто оттого, что оно благодарно осознает проживание собственной жизни как подарка Творца.

Бробдингнежцы были от рождения фаталистами и со школьной скамьи знали таблицу периодичности времен. Периодичность эту еще за сто лет до моего появления здесь открыл один из величайших светил Бробдингнега, философ и математик, фамилию которого мне все равно не воспроизвести даже на бумаге, настолько она экзотична. Он заявил, и впоследствии это подтвердилось, что история Бробдингнега имеет свою цикличность, а события – последовательность, и если однажды выстроить всю их цепочку от начала и до конца, то можно с легкостью предсказывать подобную же череду событий и на будущее. Историческая длина этой

цепочки равнялась, приблизительно, жизни одного поколения с небольшой подвижкой туда-сюда, поскольку возраст жизни поколения колебался в пределах плюс-минус семи лет; так что, изучив звенья этой цепочки, можно было больше не мечтать, не гадать, не ждать неизвестно чего, не надеяться на Бог знает что, а просто жить, время от времени освежая память с помощью разнесенных по годам предначертаний, которые неизменно сбывались. Так, например, каждый бробдингнежец знал, что он обязательно умрет и не искал эликсира бессмертия или способов продления жизни, дабы не нарушать предустановленного таблицей порядка вещей.

Как это прекрасно, размышлял я, глядя вокруг умиленным взором, что счастье здесь обретается просто так, а не в результате долгого пути преодоленных страданий и испытаний, не высокой ценой самоограничений, принесенных на алтарь внутренней свободы, и не через принятия на себя всех грехов человечества, дабы собственной жертвой их затем искупить… Ведь такое – думаю, читатель со мной согласится – не по силам не только обыкновенному рядовому сознанию, но и даже сознанию выдающемуся, гениальному, иначе бы мы имели многих и многих, подобных Иисусу Христу, в то время как он один… Да, таких, как он, среди представителей рода человеческого больше не оказалось, хотя канонизированных нашей церковью святых (я ничего не имею против них) – как комаров в июне…

* * *

Во дворце мне жилось хорошо и спокойно. Более нигде и никогда я не видел столько одновременно улыбающихся лиц, не слышал столько шуток и смеха, пусть последний и был, если вдруг раздавался возле меня, опасен для сохранности моих барабанных перепонок. Ведь известно, что канониры изрядно теряют слух, почему во время выстрела им и рекомендуется зажимать уши руками, чего я, сами понимаете, не мог себе позволить, ибо иначе как актом крайней невежливости и невоспитанности веселые великаны, окружающие меня, не восприняли бы этот жест.

Глюмдальклич всегда была при мне, за исключением тех часов, когда она относила меня на аудиенцию к королеве или королю. У меня не было, да и не могло быть врагов, если не считать тех, совершенно для меня неожиданных, принадлежащих природе, которые в силу своих размеров могли представлять для меня немалую опасность – грызунов, насекомых, птиц. К ним же, то бишь врагам, можно было отнести и те случающиеся время от времени естественные катаклизмы в виде порывов ветра, града или дождя, что невозможно было предусмотреть, даже если неотрывно смотреть в таблицу событий, которой украшали стены домов, трактиров, гостиниц и даже королевских покоев. Ибо не могли же бробдингнежцы, как я, считать событием вторжение гигантских ос в мой деревянный домик в то время, как я ел яблочный пирог, или оводов-кровососов, каждый размером с жаворонка, от которых я отбивался палкой или кортиком. Для примера расскажу лишь об одном случае, произошедшем со мной в ту начальную пору моего пребывания во дворце.

В саду, где я часто проводил послеобеденные часы, было много цветов и соответственно бабочек и стрекоз, вечно носящихся над ними. Но если первые не обращали на меня никакого внимания, то вторые, будучи хищниками, не давали мне покоя. Некоторые особо крупные особи даже превосходили размахом крыльев размах моих рук, поэтому неудивительно, что однажды огромная стрекоза, судя по поведению, самец, напала на меня сзади. Схватив меня клещами челюстей за ворот нового камзола из переливающейся на солнце парчи, самец поднялся со мной в воздух, при этом его прозрачные перепончатые крылья страшно трещали, оглушая меня. Поскольку он ухватил меня за шкирку, я ничего не мог поделать и висел под ним, как кукла, беспомощно болтая ногами и руками. Ни шпаги, ни кортика при мне не было, да и вряд ли бы они пригодились – убей я на лету это чудовищное насекомое, и мне пришлось бы расстаться с жизнью, упав со страшной высоты. К счастью, я так растерялся, что долго не предпринимал никаких попыток освободиться. Так мы носились в воздухе, делая головокружительные пируэты, от которых меня вскоре стало мутить. С детства я мечтал летать, как птица, но в те страшные минуты я навсегда отказался от этой мечты. Я потерял тогда всякое представление, где верх, где низ, и что со мной происходит, когда же самец стал настойчиво тыкать мне в тыльную часть тела кончиком своего хвоста, я понял, что он принимает меня за самку, которую вознамерился оплодотворить. Догадаться об этом было нетрудно – кто же не видел носящихся в воздухе спаренных стрекоз, да и не только их… Поскольку штаны на мне не позволяли самцу

успешно осуществить свое намерение, а я не собирался ему в этом потворствовать, то он носился со мной в челюстях, как бешеный, вверх и вниз. Спасло меня лишь то, что я оказался для него слишком тяжелой ношей. Устав, он опустился на цветок, чтобы передохнуть, – это была садовая ромашка с крупными лепестками. Я же, чувствуя, что другого такого шанса у меня больше может и не быть, изо всех сил схватился за эти лепестки обеими руками, решив дорого отдать свою жизнь. Но в этот момент самец, видимо, осознав свою оплошность, поскольку я вел себя совершенно неподобающе для самки стрекозы, разжал свои челюсти и, надавав мне по уху своими трескучими крыльями, сердито поднялся в воздух.



А вообще мне было действительно хорошо во дворце. И все же, несмотря на спокойствие и благость, я понимал, что безмятежное мое житье – величина непостоянная, и что в любую минуту все может перемениться, – где правое, там и левое, где радость, там и беда. Поистине такой бедой стал для меня королевский карлик, не только самое низкорослое, но и самое низменное существо Бробдингнега, ростом всего в тридцать футов – до моего появления он извлекал из своего уродства всевозможные выгоды, ибо, как я уже упомянул, исключительному, выходящему из ряда вон в малом или большом здесь уделялось первостепенное внимание.

Естественно, что во мне этот карлик сразу увидел конкурента и возненавидел меня всеми фибрами своей мелкой, коварной и завистливой душонки, начисто лишенной таких добродетелей, как честь, достоинство и благородство. Сойтись с ним в дуэльном поединке я не мог, ибо, как ни малоросл он был, все же превосходил меня размерами в пять раз, и потому все, что мне оставалось, это побеждать его в поединках словесных, что для меня было тоже затруднительно, поскольку, особенно поначалу, я слишком плохо владел бробдингнежским языком, чтобы еще шутить на нем, – ведь, если бы у языка были части тела, то шутка, несомненно, оказалась бы его сердцем. К тому же смех здесь вызывали совсем не те приемы речи, что в родном мне английском: тонкий юмор и изысканность намека, разнообразие речевых фигур, будто то синекдоха, метонимия, оксюморон или литота, я уже не говорю об элементарной метафоре, здесь

не были бы восприняты как шутка. Природа юмора здесь была иной и строилась исключительно на сравнении чего бы то ни было с органом отправления естественных надобностей, расположенном на тыльной стороне нашего тела. У нас подобные шутки можно услышать разве что из уст простого народа, от грубых, необразованных и неразвитых душ, – здесь же он звучал по преимуществу в великосветских салонах и считался тем изысканней, чем был грубее. Заранее испросив извинение у читателей, поясню, что такое, например, выражение, как «Пошел в задницу!» означало вовсе не ругательство, а самую изысканную шутку, ибо здешний здраво и прямолинейно мыслящий высший свет прекрасно понимал, что в физическом смысле отправиться в упомянутое место просто невозможно, что само по себе крайне смешно. Нужно ли добавлять, что в отношении меня подобная шутка, наоборот, приобретала самый реальный и угрожающий смысл.

Впрочем, я отвлекся. Так вот, карлик этот стал воистину моим мучителем, и если бы не постоянное присутствие рядом со мной моей верной и любимой Глюмдальклич, не знаю, имел ли бы я сейчас возможность выводить гусиным пером эти строки. Кто прочел опубликованную версию моих путешествий, конечно, уже знаком с его подлыми проделками, которые я вынужден был терпеть, тем более что они обычно сходили ему с рук. Я долго не понимал, почему он пользуется такой благосклонностью у королевы, прощающей ему самые дерзкие выходки, пока однажды не стал свидетелем невероятной картины, вызвавшей у меня шок и перевернувшей все мои представления о королевской семье.

Это случилось в саду, где я по своему обыкновению гулял после обеда. Король после принятия плотной и на мой вкус довольно тяжелой пищи, поглощаемой им за столом в количествах, которых хватило бы, чтобы насытить целый полк гвардейцев Вестминстера, удалился в свой кабинет, где он, под видом неусыпных занятий государственными делами, был не прочь соснуть часок-другой на своей софе из кожи местного буйвола, рога которого красовались там же, в изголовье. Королева же вышла в сад, якобы для того чтобы подышать свежим воздухом. Завидев ее, я было набрал в легкие воздух, чтобы своим криком, который был не громче комариного писка, оповестить ее о своем присутствии, – Глюмдальклич рядом со мной не было, она удалилась по своим естественным надобностям, полагая, что за пять-десять минут ее отсутствия со мной ничего дурного случиться не может. В этом она оказалась абсолютно права, если не принимать во внимание то дурное, печальным очевидцем которого я стал. Итак, едва я набрал в легкие воздух, напоенный ароматами цветущих персиковых и абрикосовых деревьев, как увидел, что из-за кустов барбариса, который уже успел отцвести и дал теперь маленькие, величиной с мой большой палец, красненькие весьма кислые плоды, появился карлик. Двигался он крадучись и почему-то оглядывался назад, словно не желая, чтобы его увидели рядом с королевой. Решив, что он замышляет что-то недоброе в отношении ее, я, полный отваги, обнажил шпагу, и на цыпочках двинулся следом. Меня смутило лишь то, что Ее Величество, явно слыша его шаги и покашливания, которыми карлик давал о себе знать, тем не менее ни разу не обернулась, а вместо этого медленно шла в сторону тенистой части сада, где еще цвели кусты жасмина, благоухающие так, что у меня даже слегка закружилась голова. Впрочем, я любил запах жасмина – так пахло и от королевы, которая пользовалась душистой эссенцией из этих цветов, так между прочим пахло и от моей Глюмдальклич – вообще запах жасмина в Бробдингнеге ассоциировался с соитием, и женщины, жаждущие такового, специально подвешивали между грудей маленькую, набитую лепестками душистую подушечку размером с нашу реальную подушку, дабы кавалер знал, что его час под девизом: «Делай это сейчас» пробил, для чего полагалось взять из рук дамы эту подушечку и в знак согласия сунуть в гульфик своих панталон. К ужасу своему, я увидел, что именно такая подушечка и торчит из гульфика карлика.

Но я непростительно забегаю вперед – о здешнем кодексе полов у меня еще будет время рассказать моему терпеливому читателю, на снисходительное отношение которого к моим записям я покорнейше рассчитываю, прекрасно отдавая себе отчет в том, что мое повествование лишено хронологической последовательности, и я бессистемно скачу от предмета к предмету, из завтра во вчера, подобно кузнечику, перескакивающему со стебелька травы на стебелек без всякого отчета о том, зачем он это делает, и почему он выбирает для очередного прыжка запад, а не восток.

Итак, заинтригованный странным поведением королевы, прямая спина которой и гордо вскинутый подбородок явно указывали на то, что она знает о происходящем за ее спиной, но по каким-то причинам предпочитает сохранять видимость неведения и удаляется в неизвестном направлении, я пустился следом, скрывая свое присутствие за обильной растительностью сада. Хотя королева двигалась медленно и с той же скоростью крался за ней карлик, который тоже притворялся, что гуляет сам по себе, мне стоило немалых усилий поспевать за ними. Упусти я их из виду, и уже едва ли нашел бы – ибо расстояние в любую сторону, которое мои великаны покрывали за несколько десятков шагов, стоило мне сотен, и лишь на одном, неправильно выбранном направлении поиска иссякли бы все мои силы, тогда как любопытство мое, к которому примешивалась непонятная мне самому ревность, только разгоралось. Таким образом, спустя какое-то время королева и шут за ее спиной оказались возле тенистой беседки, окруженной со всех сторон, кроме входа, густыми кустами уже отцветшей сирени. Понятно было, что заботы садовника на этот самый удаленный уголок сада не распространяются, на что, видимо, и был расчет. День был прекрасный, солнечный, в листве щебетали птицы, самые мелкие из которых были размером с индюка, и легкий ветерок приятно ласкал щеки. По правде говоря, легким он был лишь по здешним понятиям – мне же, чтобы он не опрокинул меня навзничь, приходилось сильно нагибаться вперед и придерживать левой рукой шляпу, поскольку в правой была шпага. Королева, сделав шаг, скрылась в беседке, за ней, еще раз оглянувшись у входа, последовал и карлик, я же, маскируясь сорванным листом подорожника, нанизанном на шпагу наподобие паруса, осторожно подкрался к беседке, которая до самого купола была обвита плющом. К несчастью, ступени у входа оказались слишком высоки, чтобы я мог преодолеть их самостоятельно, и, не зная, что предпринять, я поднялся на всхолмие, на котором стояла беседка, с тыльной стороны и, спрятавшись за одной из огромных балясин, огораживавших внутреннее пространство этой беседки, осторожно высунул голову. То, что увидел я внутри, раздвинув широкие ворсистые листья, мне никогда не забыть: королева сидела на деревянной скамейке, откинувшись назад, парчовый подол ее роскошного платья был поднят, белые лядвеи широко раскрыты, а меж ними, опираясь ногами на подставленную табуретку, и руками – на груди королевы, высвобожденные из расшнурованного корсажа, орудовал мой заклятый враг, злобный похотливый карлик. Впрочем, злобы сейчас не было на его лице, – наоборот, его искажала гримаса угодливого удовольствия, и он урчал и жмурился, как кот, дорвавшийся до сметаны. Но что моя королева? Я вынужден констатировать, ибо обещал сообщать моему читателю только правду, что ей это нравилось. Она закатила глаза, и на губах ее блуждала счастливая улыбка, а пальцы ее, на одном из которых отчетливо сверкал самый крупный в королевстве бриллиант, размером с нашу тыкву – пальцы ее обхватывали обнаженный зад карлика, спустившего штаны, как бы управляя его движениями, то нарочно замедляя, то ускоряя их, то требуя паузы, чтобы, видимо, подробнее пережить миг предоставляемого наслаждения; карлик же был послушен этому капельмейстерству Ее Величества, даже прекращая урчать в те моменты, когда по ее прихотливому капризу должна была воцаряться тишина…

Не помню, сколько минут наблюдал я эту возмутительную картину, оскорбившую меня до глубины души и разом разрушившую все те категории добра и справедливости, которые я до того приписывал бробдингнежской венценосной чете. Ведь неверность королевы королю была более, чем неверностью супругу. Она не могла не распространяться на все прочие структуры государственного устройства. Может быть, прошло десять, может, даже пятнадцать минут – это я, всегда стремящийся к точности и пунктуальности, на сей раз не смог определить, ибо часто, когда мы чем-то сильно увлечены или захвачены, время для нас летит незаметно и часы мелькают как мгновения, и наоборот – когда мы чего-то нетерпеливо ждем, тяготясь настоящим моментом, время растягивается для нас до размеров пытки, из чего я давно сделал для себя вывод, что время – категория не столько физическая, сколько эмпирическая, а эмпирея есть величина переменная. Это мы в своей возмутительной по самоуверенности и невежеству попытке обуздать его, разбили его на сегменты под названием часы, минуты и секунды, до которых оно само никогда бы не додумалось, потому что представляет собой реку вечности, текущую из ничто в никуда, несущую нас, как щепок, на себе. Вряд ли кому пришло бы в голову нарезать Темзу на мелкие части, чтобы таким образом вычислить ее величину. Время не имеет величины, как даже сравнительно небольшая Темза, ибо мы не можем измерить ее объем, даже заключив ее в трубу и

закупорив с двух сторон, – ведь это будет уже не Темза, а лишь ее часть, безотносительная к истоку и устью, в реальности связывающих реку с остальным водным бассейном Земли, включая тот, что временно переходит в пар облаков…



Так или иначе, но непристойная и оскорбительная для моего чувства прекрасного сцена не могла длиться целую вечность, о которой я только что размышлял вместе с моим любознательным читателем, – издали раздался громкий зов Глюмдальклич, которая разыскивала меня, и королеве, дабы не быть застигнутой врасплох, не оставалось ничего иного, как, вскочив, накрыть своего ничтожного фаворита обширным колоколом платья и одновременным движением двух рук затянуть на своей роскошной, без малейших изъянов белоснежной груди шелковую шнуровку корсета. И вот уже Глюмдальклич возникла на пороге этой дальней беседки и, низко поклонившись, почтительно спросила Ее Величество, не при ней ли я, ее маленький Грильдриг, оставленный на аллее и неизвестно куда запропастившийся. Королева, изобразив на лице искреннее беспокойство, что было мне хоть слабым, но все же утешением, велела девочке тут же меня разыскать и величественным взмахом руки дала понять, чтобы ее больше не беспокоили. Глюмдальклич в низком поклоне развернулась и устремилась обратно по аллее, окликая меня, я же бросился ко дворцу напрямик, через подстриженные на английский манер газоны (где трава была мне всего лишь по пояс), чтобы оказаться на центральной аллее, – там меня легко будет увидеть… Таким образом, я не знаю, что происходило в беседке после того, как я покинул пост наблюдения – продолжила ли королева свое галантное свидание или же отпустила карлика, чего я всем сердцем желал. Впрочем, вполне допускаю, что карлик, это грязное похотливое животное, довершил то, для чего был приглашен в беседку…

* * *

Разные чувства обуревали меня – я прекрасно отдавал себе отчет в том, что стать свидетелем такой сцены, значит, в некотором роде взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу государства, в королевских садах которого (и, видимо, не только в них!) возможно подобное, и в то же время я испытывал вполне объяснимое чувство тревоги за свое дальнейшее благополучие.

Ибо прекрасно быть фаворитом, но что может быть хуже, чем зависимость от фаворитов царствующих особ, – тогда ты становишься игрушкой, которую ничего не стоит отправить в огонь камина… Да, только став любовником Ее Величества, я мог не опасаться своего успешного соперника. И я начал вынашивать план его дискредитации. В план этот входило обольщение королевы. Мной, естественно, двигала не жажда новых любовных приключений (моей дорогой Глюмдальклич было мне в этом смысле более чем достаточно), но исключительно соображения собственной безопасности. Вообще в Бробдингнеге, в отличие от Лилипутии, где я мог позволить себе беспечность и легкомыслие, это было главное и постоянное мое чувство, напоминающее легкое жжение под ложечкой. Впрочем, теперь я допускал, что, зная о моем эротическом номере в аттракционе фермера, Ее Величество рано или поздно позовет меня в свои покои, чтобы на себе испытать мое искусство (как потом выяснилось, та коварная дама, сбросившая меня в свои панталоны, была фрейлиной королевского двора и более того – сводней, подбирающей королеве любовников). Единственное, что, возможно, мешало королеве приступить к делу, так это явно завышенное представление о своем достоинстве, обратную сторону которого я воочию лицезрел в садовой беседке.

Но вот как-то вечером королева попросила принести меня в ее спальню под тем благовидным предлогом, что она хочет послушать, как я исполняю на спинете народные английские мелодии, настолько, де, ей понравилась джига, которую я недавно играл. Королева добавила, что страдает бессонницей, и в прошлый раз моя джига оказалась для нее прекрасным снотворным. Как всегда меня принесли в домике, который смастерил мне лучший королевский плотник и обставил лучший королевский мебельщик, и в котором при малейшем намеке на опасность я скрывался, как рак-отшельник.

Я услаждал слух Ее Величества своей игрой около четверти часа, что было весьма непростым делом, так как каждая клавиша была величиной с меня, и мне приходилось бегать туда-сюда, как угорелому, колотя по ним двумя дубинами, благо, что музыкальный гений английского народа сочинял музыку простую и безыскусную, умещающуюся в пределах одной октавы. Попробуй я исполнить более изощренные мелодии Франции или Испании – и столкнулся бы с непреодолимыми трудностями. Итак, поиграв для королевы, причем она уже заняла свой альков, возлежа головой на подушке в своем пышном ночном убранстве, подготовленная для отхода ко сну фрейлинами, которых при моем появлении она попросила удалиться, я изрядно устал и остановился в нерешительности, так как по лицу королевы, лежавшей с закрытыми глазами, не мог с точностью определить, спит ли она или еще бодрствует. Я же находился на скамье, поставленной перед клавишами спинета, и не мог самостоятельно спуститься на пол – мне оставалось только ждать, когда Глюмдальклич придет за мной. Но девочка, видимо, получив некое дополнительное распоряжение, не шла. Проведя какое-то время в полном молчании и видя, что королева не шевелится, я решил подать голос, поскольку стал беспокоиться из-за перспективы провести ночь на голой деревянной скамье, так и не совершив надлежащего вечернего туалета и не очистив организм перед сном от накопившихся в нем излишеств. На звук моего голоса, впрочем, почтительно сдержанный, королева никак не откликнулась, и тогда я заорал во всю глотку. Королева открыла глаза, с минуту смотрела перед собой в недоумении, как если бы пытаясь осознать, что ее разбудило – муха или комар? – и наконец ее глаза остановились на мне, хотя в полумраке огромной опочивальни, освещенной лишь четырьмя свечами, разглядеть меня было не так-то просто.

– Прости, Грильдриг, – ласково сказала она, приподнимаясь со своего одра, – ты слишком хорошо играл, и я чуть было не заснула.

Чтобы дотянуться до меня, ей пришлось встать на колени, и хоть я скромно потупился, я не мог не заметить, что на ней длинный пеньюар, сквозь полупрозрачную ткань которого видны соски высоких грудей, а ниже – затемь курчавого места, которое отважусь назвать лобным… Я хочу, чтобы читатель, не теряя чувства реальности, хотя бы на миг представил себя в моей шкуре, тогда он увидел бы, что эти прекрасные груди были подобны вечерним облакам, а то, что я называю лобным местом, точнее – лобок, с обширным треугольником курчавых волос, столь явно читаемых в льнущих к паху складках ткани, походило на островок ржи, несжатой косцами по той лишь причине, что в минуты полуденного отдыха они могли обрести здесь спасительную тень. Я делаю такое необычное сравнение и предлагаю читателю мысленно

исполнить мою роль только лишь для того, чтобы он мог сполна оценить мое мужество и нечеловеческую дерзость, вооружившись которыми я далее стал осуществлять взлелеянный мной план соблазнения Ее Величества. Впрочем, догадливый читатель и без того знает, что соблазнить женщину можно лишь в том случае, если она сама хочет быть соблазненной, будь то даже венценосная особа…

Тем временем королева, потянувшись ко мне, осторожно сняла меня с лавки и опустила на простыню возле своей пуховой подушки.

– Спой мне что-нибудь, Грильдриг, – сказала она. – Никогда не слышала, как ты поешь. Я прилягу, а ты спой мне на ухо.

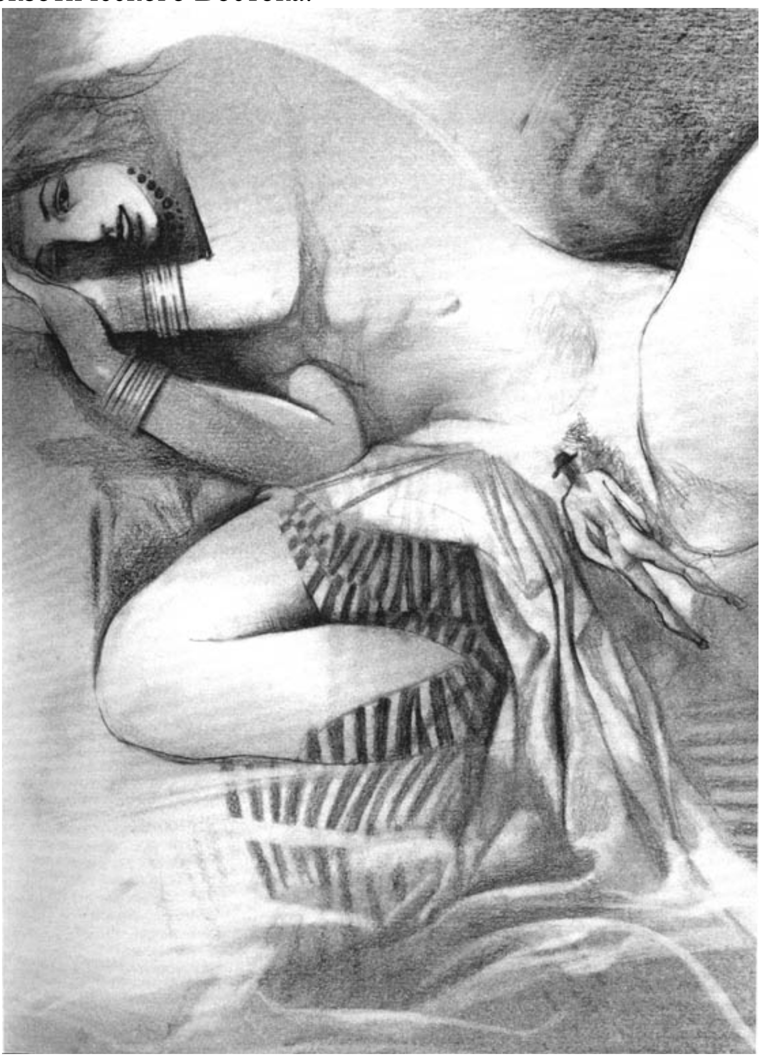
Она действительно тут же легла, так что передо мной возникла раковина уха, отчасти напоминавшая таз из моего дома в Ноттингемпшире, в котором, налив воды, я совершал утренние и вечерние омовения. Певец, конечно, из меня никудышный, хотя в компании за столом после обильного ужина и четырех пинт эля я мог и запеть, но сейчас у меня и выбора не было. Воспитанный в полном и беспрекословном подчинении власть предержащим, я бы запел, даже если бы был нем и глух. Посему я готовно завел то, что хорошо помнил с детства – колыбельную, которую мне певала еще моя покойная матушка. Послушав с минуту, королева закрыла глаза, и я, решив, что изысканной речью, полной восторженных эпитетов, восхваляющих мою королеву, добьюсь еще большей благосклонности, продекламировал ей на ухо, чтобы быть хорошо услышанным, несколько витиеватых фраз. Известно, что женщины любят ушами, и без словесной преамбулы подчас невозможно рассчитывать на успех в деле обольщения. Однако вопреки моим ожиданиям, королева тут же открыла глаза и стала безудержно смеяться, глядя в шелковый купол своего алькова. Она никак не могла остановиться, и я в отчаянии почувствовал, что все мое смелое предприятие на грани краха, ибо прекрасно знал – ничто так не обескураживает любовника, как несвоевременный смех. Последний буквально лишает нас любовного оружия, потому я смущенно замолчал на середине фразы, покорно ожидая своей участи. Я уже понял, что мой писклявый голос никак не сможет вскружить голову столь высокородной избраннице.

– Какой ты смешной, Грильдриг, – переведя дух, сказала, наконец, королева, словно прощая мне мою неловкость и, подняв меня левой рукой, опустила перед своим лицом прямо на ткань пеньюара между всхолмиями своих грудей, которые я мог бы одновременно трогать, широко разведя руки в стороны. От ее тела исходило приятное и одновременно душистое тепло, напоенное ароматами жасмина и лаванды.

Далее Ее Величество в действительно величественной и милосердно-снисходительной манере, присущей только венценосным особам, коих назначение – нести на себе бремя ответственности за сей мир, поинтересовалась, готов ли я оказать королеве, почетным гостем которой являюсь, маленькую услугу, в чем немедленно получила мои самые горячие и искренние заверения. Тогда Ее Величество попросила меня раздеться, поскольку по ее словам, еще ни разу не видела обнаженным такое маленькое существо, как я, и желала убедиться, что я устроен подобно мужской половине ее страны, о чем я сам неоднократно заявлял. Дабы представить ей доказательства, мне не оставалось ничего иного, как исполнить ее каприз.

Полностью разоблачившись, я не ощутил холода, так как весь был окутан теплом, исходящим от тела моей королевы, как от обетованной земли, на освещенный и согретый солнцем берег которой ступила нога счастливого паломника. Королева же, внимательно осмотрев меня со всех сторон, перекладывая с ладони на ладонь, изъявила желание, чтобы я на деле доказал, что я действительно мужчина, так как признаки моего пола, по ее мнению, проявлены неотчетливо. Как ни горько мне было согласиться с этим, но я вынужден был вслух признать, что так оно и есть, если смотреть на вещи глазами жителя Бробдингнега, и тут же в свое оправдание сказал, что тем не менее у меня на родине есть не только жена, но и дочь, каковую я мог зачать только при условии своего мужеского пола. На это королева лишь загадочно усмехнулась, словно давая понять, что готова предоставить мне возможность для доказательства моей состоятельности, после чего, потянув на себя нижний край пеньюара, перенесла меня на обнажившийся теплый живот, прямо к тому месту, где я видел холм с несжатой рожью, колосья которой уже частично полегли под тяжестью спелого зерна. Мне пришлось спускаться прямо по ним, приятно пружинящим под моими голыми ступнями, туда,

где, как я понимал, королеве и хотелось меня обнаружить. Меня била дрожь волнения, поджилки мои тряслись – я чувствовал себя так, как, вероятно, не чувствовал себя ни один мужчина на свете, при том, что мое естество уже поднялось самым натуральным образом, и если я тут же не обернулся лицом к королеве, чтобы продемонстрировать ей свою боевую готовность, то лишь из сомнения, что ей удастся разглядеть разительные перемены, произошедшие в нижней части моего тела. Итак, в три шага одолев несжатую полосу, я замешкался, соображая, как мне действовать далее, но, вспомнив опыт, приобретенный с Глюмдальклич, оперся руками на внутренние стороны бедер королевы, мягких и пышных, и спрыгнул на простыню. Королевские ноги были похожи на мраморные колонны древнегреческого храма, обрушенные на землю во времена варваров, а ступни ее выступали из полутьмы, как зубчатые башни знаменитой китайской стены. Одна из горевших в изножье свечей имела достаточно пламени, чтобы осветить мне вход в чувствилище королевы, представлявший собой, как и у Глюмдальклич, две мягкие замкнутые створки, только более крупные, мне по пояс, и как бы слегка опаленные на огне испытанных ею страстей… И еще одно – в отличие от пышной поросли на холме Венеры, здесь у королевы было абсолютно гладко – ни волоска, ни даже торчащей из кожи стернинки… Потом я узнал, что нежелательную растительность в известных местах здесь удаляют с помощью специальных паст и масел, сдобренных ароматами различных трав и цветов, наподобие того, как это принято в гаремах экзотического Востока.



Я смиренно замер возле входа, полагая, что, как это делали мы с Глюмдальклич, меня возьмут в руку и используют наподобие инструмента любви, но ничего подобного не произошло. Пауза затягивалась и грозила мне непоправимыми последствиями, вплоть до изгнания из дворца. Нет ничего опасней неудовлетворенной женщины – она превращается в фурию. Поэтому я решил действовать на свой страх и риск – стал гладить и теребить большие створки лона со всей фантазией, на какую только был способен. Тут же я с удовлетворением отметил, что они живо откликаются на мои прикосновения – слегка подрагивают и увеличиваются в размерах; они

должны были бы также и покраснеть, но при свечах мне это было не видно. Понимая, что они вступили в диалог со мной и черпая в этом добром знаке свое вдохновение, я раздвинул их и оказался перед полуоткрытой розовой пещерой, слегка влажной и обрамленной с двух сторон тем, что в анатомическом атласе называется «малыми губами». Взявшись за них, как за ставенки, и разведя их в стороны на ширину моих плеч, я осторожно сунул голову внутрь. Из глубины чувствилища королевы шло паркое тепло, будто из бани, с приятным запахом розового масла. Во всяком случае, обонянию моему нечего было опасаться, обморок мне не грозил, – недра королевы были ухожены и орошены, свидетельствуя о том, что меня здесь ждали. Поскольку королева по-прежнему бездействовала, явно испытуя меня, я предпринял следующий шаг, а именно – оперся правым коленом на нижний край подвижной и податливой пещеры и пополз внутрь. Голова моя то и дело задевала свод, однако сразу за лобковой костью он стал выше и на ощупь – плойчатым; все же это, вместе со стенками и полом, естественно, представляло собой вагину, по-латыни vaginus genitalis. Поначалу мягкая и податливая, она по мере моего продвижения на четвереньках внутрь, становилась все более упругой и увлажненной. Обернувшись, я убедился, что уже полностью нахожусь в вагине, – вход в нее теперь представлял собой изогнутую щель, за которой в отдалении трепетало оранжевое пламя свечи. Однако здесь было душно, поскольку я собственным телом перекрывал приток воздуха, и я сделал попытку развернуться, чтобы выползти головой вперед, и попутно ощупать наиболее чувствительные места в нежной пещере королевы, каковые должны были быть – о них я встречал упоминания в восточных трактатах, составленных знатоками любовной игры, – сделать же это, двигаясь задом наперед, было затруднительно. Однако такой маневр в обратном направлении мне не удался, поскольку стенки королевской вагины основательно напряглись и чуть ли не стали охватывать меня наподобие весьма горячих объятий. Пришлось мне вылезать задом. Причем я так и не знал бы, закончена моя любовная миссия или нет, если бы не догадался по характерной качке и по тому, как с тыла в меня с ритмическими повторами стал утыкаться палец королевы, что она активно помогает мне, дополнительно стимулируя себя, как это делают жрицы любви, слишком привыкшие к одному и тому же, чтобы испытывать вдохновение подлинных чувств. Тогда я стал коленями, локтями, ладонями, головой, даже ступнями активно проминать окружающие меня своды, как бы простукивая их на предмет сокрытых там сокровищ, что между прочим было не только метафорой – поскольку, как известно, именно таким образом и извлекается из материальной плоти миг последнего содрогания, принадлежащий к высшей субстанции, каковая есть дух и полет.

Когда все кончилось, когда отзвучал сладострастный стон королевы, огласивший своды ее тела, и прекратились его, тела, содрогания, я наконец вылез из пещеры, совершенно мокрый от королевских секреций, солоноватых на вкус и отдающих запахом морской травы, только что выброшенной на берег морским прибоем, и тут же был обнят пальцами королевы, которые поднесли меня к королевским губам, и эти губы прошептали: «Ты просто прелесть, мой маленький Грильдриг…» Королева выглядела утомленной, но довольной, и она нашла в себе силы, встав на колени, обтереть меня насухо краем своего пеньюара, найти мою изрядно помятую одежду, помочь мне облачиться в нее, а затем перенести меня в мой домик, оставленный Глюмдальклич в углу опочивальни, после чего королева, дернув шнур звонка, вызвала мою нянюшку…

* * *

Первая победа, явившаяся частью моего плана отлучить карлика от двора и занять его место, имела, естественно, свои весомые последствия. Теперь перед отходом королевы ко сну, не реже двух раз в неделю, мой домик оказывался в углу ее опочивальни, а возле спинета уже стояла прислоненная к клавишам лавка. Для вида я играл королеве, впрочем, недолго, ибо она не желала, чтобы мы тратили время даром, а еще из опасения заснуть и пропустить удовольствие более изысканное, чем слушание народных английских мелодий. О пении же ей на ухо речь вообще больше не заходила, – скорее всего тембр моего голоса напоминал ей писк комара, которых она смертельно боялась. Я ее прекрасно понимал – случись подобные, величиной с майского жука, кровососущие у меня на родине, и вполне могли бы заморить даже племенного быка, ведь за один свой укус местные комары высасывали чуть ли не нашу рюмку крови.

Два раза в неделю в опочивальне королевы было для меня более чем достаточно, поскольку в остальные дни, за исключением выходного, который здесь приходился на середину недели, подобно тому, как послеобеденный отдых приходится на середину дня, меня использовала уже известным читателю способом моя Глюмдальклич, и если я не испытывал при такой нагрузке крайнего истощения своих сил, то лишь потому, что моим возлюбленным по большому счету не было дела до состояния моего детородного органа, тем более до моего семяизвержения, разовую порцию которого они едва ли разглядели бы даже в лупу. О, золотые дни в Лилипутии, когда я был царь и бог всем ее женщинам, когда они уходили от меня – Нового Парацельса – с ведрами животворной влаги… Но тем и величественно мыслящее существо, к коим я не без веских оснований себя относил, что оно умеет думать и приспосабливаться. Ведь как я ни берег от опасностей среди этих гигантов свое маленькое тщедушное тельце, мысленно и духовно я вскоре стал наравне с ними. И этому немало споспешествовал мой любовнический постриг.

Этот период был достаточно безмятежным для меня, поскольку под покровительством королевы я, ее тайный любовник, мог хотя бы ненадолго забыть о треволнениях дня грядущего, что для бробдингнежцев было полным абсурдом, ибо вместе с настоящим, которое можно увидеть, пощупать и попробовать, и прошлым, в котором они имели правила и образцы для подражания, грядущее по-бробдингнежски лишь повторяло уже хорошо известное. Строго говоря, здесь жили без ощущения истории, и потому предки бробдингнежцев, как у древних греков, превращались в богов. А коль скоро речь зашла о правилах и образцах, то с позволения читателей коснемся наконец «Хартии соития», огромного тома на сто тяжеловесных страниц, которые я с милостивого разрешения короля просматривал в его библиотеке в часы отдыха от обхаживания обеих моих возлюбленных. Впрочем, огромный этот том был по количеству слов много короче любого из документов обеих палат английского парламента, денно и нощно озабоченного лишь тем, как новой регуляцией еще более осчастливить жизнь моих сограждан, вплоть до того, с какой ноги им следует вставать и что готовить на завтрак, особенно если в кошельке нет ни пенни… Ведь, как известно, предписанные сверху правила и создают видимость жизни, независимо от ее истинного содержания, и если народ им не следует или следует не вполне, то это вина его, народа, а не тех, кто все для него так хорошо придумал. Так живут там, где властвует тирания, но как ни удивительно, народы этих стран более счастливы, чем те, где им дарованы свободы, потому что объединены единым порывом любви к тирану, а свобода разъединяет. Свобода народу пригождается лишь на то, чтобы ставить над собой новых тиранов, потому что быть свободным – это наказание Господне, и надо обязательно пред кем-нибудь преклониться. Если же человек не преклонился и остался себе на уме, то он опасен и лучше его посадить за решетку, сжечь, или объявить умалишенным. И получается, что даже если народ состоял бы из одних мыслящих существ, вместе они все равно остались бы стадом баранов. Итак, кодекс полов под названием «Хартия соития» начинался уже известными читателю словами: «Делай это сейчас». Поначалу они имели расширительное толкование, касающееся всех сторон жизненного цикла бробдингнежцев, имевших право не только трудиться, не покладая рук, но и хранить супружескую верность, или, если это невозможно, перепродавать жен для поддержания оной. Однако постепенно, поскольку страна процветала, и в отсутствие естественных врагов ежегодно вдвое увеличивала свой доход, здесь не осталось никаких иных дел, кроме получения известных удовольствий, и смысл знаковых этих слов низвелся до самого заурядного. Кстати, даже огромная армия, которую король продолжал содержать для того, чтобы воины благодаря ежедневным упражнениям на конях, с мечами и пиками пребывали в добром физическом здравии на тот невероятный, но все же теоретически возможный случай нападения извне, даже, повторяю, армия, вернее, расходы на нее, не могли заметно сказаться на состоянии королевской казны. И все же нация, имея, казалось бы, такой огромный запас прочности, испытывала глубочайший кризис и клонилась к своему закату, предначертанному в знаменитой таблице периодичности событий, о которой я уже имел честь рассказать. Мое невольное вмешательство если и пошатнуло впоследствии догму о периодичности, то ненадолго, ибо ничто нам так не дорого, как собственные предрассудки.

Тогда же, в период, о котором я веду речь, нация действительно была на ущербе, что

проявлялось прежде всего резким падением рождаемости, и лозунг «Делай это сейчас», толкуемый даже в узком смысле, никак не мог исправить существующее положение, ибо специальной буллой главы церкви еще за шестьдесят лет до описываемых мною событий мужскому населению Бробдингнега было запрещено семяизвержение в лоно женского населения под страхом смертной казни через получение четырех ударов дубинкой по голове. А до того бробдингнежцы так увлекались подобным актом, что дети выскакивали, как грибы после дождя. В каждой семье было по десятку ртов, и все силы родителей уходили на добывание средств к их прокормлению, от чего в церковь почти никто не ходил, на нее просто не оставалось времени, и доходы духовенства падали. В стране существовало двоевластие, и прапрадед нынешнего короля находился с церковным иерархом в постоянной, хотя и скрытой вражде. В ту пору церковь была сильнее королевского двора, в котором по причине все той же высокой рождаемости оказалось восемнадцать наследных принцев, спорящих между собой за право надеть корону, что представляло собой смертельную угрозу целостности страны. К тому же, ни одного из них нельзя было считать полноценным, ибо любвеобилие короля Ниспендрифа Ненасытника, видимо, пагубно сказалось на качестве его семени, и королева приносила ему одних уродов. Отсюда, кстати, и берет свое начало бробдингнежское выражение: «В семье не без урода», имеющее настолько широкое хождение и в нашем привычном мире, что есть смысл подумать, не одни ли у нас исторические корни. Когда же один из многочисленных отпрысков Ниспендрифа все же взошел на престол, то в силу его слабоумия, выражавшегося в том, что он, как и другие его братья, посвящал все свое время рукоблудию, нимало не заботясь о славе и процветании вверенного ему государства, то реальную власть в стране взял в свои руки сам глава церкви. В бытность его у кормила государства и возникла та знаменитая булла, предписывавшая проливать семя в женское лоно лишь два раза в году – в первый день весны и в первый день осени, которые по нашему календарю соответственно приходились на последние дни зимы и лета. Опыт регуляции прироста населения оказался более чем удачным, ибо как ни трудилась в эти два дня в поте лица своего над своим воспроизводством половозрелая часть бробдингнежского народа, вскоре смертность в стране стала намного превышать деторождение, и церковь расцвела, поскольку весь обряд похорон, включая отпевание, приносил ей гораздо больше барышей, чем обряд крещения младенцев, не говоря уже о том, что каждая семья стала богаче настолько, насколько не увеличивалось количество едоков. Нужно ли добавлять, что у родителей появилось свободное время, и, ища себе занятие, они потянулись в церковь, оставляя в ней свои серебряные монеты… Результаты проведения в жизнь данной буллы были настолько блистательны, что заключенная в ней формула полового поведения накрепко вошла в сознание бробдингнежцев.

Поначалу были, конечно, недовольные, поскольку проливание семени вне женского лона во все остальные дни года не сопровождалось тем чувственным восторгом, не испытав который, невозможно было достигнуть духовных высот откровения, пробуждающих творческие силы, – почему нация и стала постепенно терять своих героев, ученых и музыкантов (художников же, как помнит читатель, тут и вовсе не было, а в писатели и поэты направляли по приговору суда). Но нет худа без добра – те же редкие творцы, что все же появлялись время от времени, еще при жизни стали нарекаться гениями и бессмертными.

Нарушение же предписаний буллы было практически исключено, так как дети обязаны были рождаться строго через девять месяцев после первого дня осени или весны, и любое нарушение этого срока подвергалось расследованию, и если родителям в связи с преждевременными или затянувшимися родами младенца не удавалось доказать свою законопослушность, несчастного новорожденного убивали. Та же участь в виде четырех ударов дубинкой по голове ждала и отца. Матери же, как пассивному началу при акте семяизвержения, оставляли жизнь, что было гуманно, так как кто-то ведь должен был растить тех детей, что уже имелись в семье.

Однако со сменой поколений становилось все более и более очевидным, что вышеназванная булла не способствует процветанию нации, так как, с одной стороны, ограничивает деторождение, а с другой – ведет к различного рода душевным расстройствам как мужской, так и женской части населения, порождаемым необходимостью прибегать к различным заменителям последней фазы полового акта, то есть извержением в тряпочку,

извержением анальным или оральным, а также в руку, в домашних животных, в овощи или фрукты, в которых с этой целью проделывалось отверстие, несколько напоминавшее вагинальное… В этом смысле особенно популярны были дыни с бывших брибтибрейских бахчей, имеющие характерное раздвоение, напоминавшее женские чресла… Понятно, что несмотря на буйную фантазию исполнителей, такие подмены природной естественности нравились далеко не всем. Даже, казалось бы, более или менее адекватная оральная эякуляция зачастую приводила здесь к летальному исходу, так как у неопытных бробдингнежек семя то и дело попадало в дыхательное горло, по причине своей особой вязкости, наглухо перекрывая его… Мужская же часть населения, вынужденная перед семяизвержением вынимать из женского лона орудие детовоспроизводства, настолько привыкала к этому за полгода, что и в те два разрешенных дня, по привычке разрешалась мимо – и бробдингнежки оставались неоплодотворенными…[6]

Так или иначе, но по прошествии нескольких десятков лет стало очевидным, что нация клонится к упадку, тем более что дала обильные всходы неизвестная ранее однополая любовь, поскольку о ее запрете в булле не было ни слова. Тут мнение преемников раскололось, хотя все они оправдывали автора знаменитой буллы. Только, по утверждению одних, он якобы считал, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, а, по утверждению других, автор – как раз наоборот – в своей мудрости намеренно умолчал о таком виде любви, считая его абсолютно безвредным, поскольку дети от него не рождаются. Умолчал, поскольку надеялся на сообразительность бробдингнежцев, имея в виду великий принцип любого законодательства – что не запрещено, то разрешено. Если так, то он оказался прав, и бробдингнежцы, наблюдая повадки животного мира, часть которого представлял домашний скот, довольно быстро сообразили, как приспособить к своим нуждам имеющиеся в теле прочие углубления и входы. По первоначалу это были женские дополнительные входы, а поскольку они абсолютно ничем не отличались от соответствующих мужских, то в спросе вскоре заодно оказались и последние. Таким образом аборигены своим умом довольно скоро дошли до тех же нравов и обычаев, которые практиковались, скажем, в Древней Греции, где не возбранялось любить одновременно оба пола себе в удовольствие. Такое же невозмутимое целомудрие души демонстрирует и мой великий соотечественник Уильям Шекспир, написавший немало любовных сонетов, обращенных к его юному другу. Имени оного мы, к сожалению, не знаем, и только по фамилии их автора, которая при буквальном переводе, обретает реальное значение (то есть Потрясающий копьем)[7], можем догадаться, каким же «копьем», выражаясь фигурально, наградил его Творец. Я первым готов был бы припасть к подножию памятника тому безвестному юноше, сам бы воздвиг таковой в благодарность за то вдохновение, которое оный юноша дарил великому кудеснику английской сцены. Разве в конце концов не безвестному возлюбленному обязаны мы рождением таких бессмертных творений, как «Король Лир», «Макбет» или «Гамлет, принц датский»?!

В общем, повторюсь еще раз, к моменту моего появления интимная жизнь бробдингнежцев выглядела удручающе. Естественная природа любовных отношений была искажена до неузнаваемости, и теперь мне стало понятно, почему натуры здоровые и страстные, такие как моя Глюмдальклич или та же королева, шли ради удовлетворения своих естественных чувств в мои объятия или в объятия таких уродов, как карлик, который если и сохранил свою мощную мужскую силу (в чем я еще буду иметь случай убедиться), то лишь благодаря своему уродству. Я, конечно, понимаю что «мои объятия» – это сильно сказано, поскольку нельзя объять необъятное, но данная оговорка свидетельствует лишь о том, что я давно уже не в стране бробдингнежцев.

И все же представьте, каково мне было однажды услышать, что король манкирует своими супружескими обязанностями и предпочитает играть в дюч (подобие наших шахмат) со своим премьер-министром, которого он сделал в государстве вторым лицом после того, как в

---

[6] По-видимому, Свифт, как и библейский персонаж Онан до него, не знал, что техника прерванного полового акта не является стопроцентно контрацептивной. Беременность может наступить и без полноценной эякуляции, если в секрете, выделяемом при возбуждении Куперовыми железами, содержатся сперматозоиды… – *Прим. ред.*

[7] Трясти – «shake», копье – «spear» (англ.). – *Прим. перев.*

результате затянувшейся тяжбы с двоевластием было покончено, церковь наконец отделилась от государства, потеряв весь свой моральный вес вместе с казной, и король объявил себя полновластным правителем, получив такие высокие титулы, как Награда Вселенной и Улыбка Вечности. Но как беспристрастный свидетель не могу не отметить, что его склонность к лицам мужеского пола лично для меня имела несомненно положительную сторону, ибо я на его письменном столе, где он работал над проектом нового государственного устройства, был всегда желанный гость и собеседник, и многое из моих слов легло в основу указов, написанных им в бытность мою в Бробдингнеге. Я уже не говорю о том указе, который совершил революцию в умах бробдингнежцев, вернув им Бе Бу – Бесконечное Будущее, которого они ранее были лишены из-за своих периодических таблиц.

* * *

Но вернемся к карлику, этой злобной твари, проклятию рода бробдингнежского, не оставлявшему меня в покое и насмехавшемуся надо мной по поводу и без повода. Мое вынужденное купание в миске со сливками, яблоки в саду, обрушенные на мою голову, мое пребывание в мозговой кости, в результате чего был безнадежно испорчен мой лучший камзол, сшитый для меня лучшим королевским портным, – это невинные детские забавы по сравнению с тем, что это циничное ничтожество попыталось однажды утворить в отношении бедной Глюмдальклич прямо на моих глазах, считая, что я для него абсолютно безвреден и безопасен, так как со мной можно покончить одним хлопком мухобойки. Читатель сейчас узнает, насколько заблуждался этот шелудивый пес… Но прежде считаю своим долгом упомянуть, что, заботясь о чести королевы, я свято хранил тайну наших интимных отношений с ней, и моя Глюмдальклич ни о чем не подозревала, да мне и не хотелось осложнять свои отношения с ней, этой девочкой-женщиной, от вечной разлуки с которой мое сердце кровоточит до сего дня… Как-то под вечер, убедившись, что вызова к королеве не будет, Глюмдальклич после нашей прогулки вернула мой домик-ящик, который проветривался на балконе, в свою комнату, где я и жил, разоблачилась, оставшись в полупрозрачной нижней сорочке, соблазнительно подчеркивавшей ее прелести, и уже перенесла меня на свою кровать, на которую и прилегла для любовной игры, каковой мы оба были большие любители, как дверь вдруг скрипнула, и не успели мы сообразить, в чем дело, как на пороге возник карлик, любовник королевы. К горечи своей, я имел случай убедиться, что она продолжает встречаться с этим уродом. Я даже знал причину такой ее привязанности и постоянства – феноменальные способности карлика в услаждении женщин: он мог делать это до пятнадцати раз на дню, как маньяк, при том, что орудие, которым он владел, было отменного размера и, если говорить о пропорциях, то превосходило нормальные размеры у моих соотечественников не в двенадцать, а во все двадцать раз. Такое соотношение величины мужского естества и самой фигуры, коей оно принадлежало, я встречал разве что на росписях древнегреческих амфор. Как известно, древние греки, как, впрочем, и древние римляне не гнушались изображением сцен соития, и если мерзкий карлик мне кого-то напоминал, то прежде всего похотливого Приапа с его огромным вздыбленным фаллосом.

О намерениях карлика, появившегося у Глюмдальклич, которая имела неосторожность оставить дверь незапертой, не могло быть двух мнений – этот мерзавец уже успел расстегнуть свой гульфик и из его порток торчал мощный жезл, услада королевы, скипетр негласного могущества карлы. Безмолвно, не издав ни единого звука, карлик тут же набросился на Глюмдальклич, возлежащую на постели с ногами, раскрытыми вовсе не для него. Глюмдальклич была по его представлению лишь никчемной служанкой, даже не фрейлиной, к которым королева, по моим наблюдениям, время от времени подсылала его, дабы среди ее дам постоянно царили веселье и довольство, – для него, как он полагал, Глюмдальклич – легкая добыча, а потому он, баловень женской половины королевского двора, безо всяких церемоний навалился на мою нянюшку, одной рукой задрав ей подол длинной ночной рубашки, а другой нацеливая свое ужасное орудие, даже не зная, что перед ним девственница… Хотя я был возле нее, он меня не удостоил даже взглядом.

Опомнившись от неожиданности, Глюмдальклич оказала карлику яростное сопротивление – она была выше его ростом и лишь немногим слабее, так что раза два удачными ударами ног, которые он хотел ей задрать, она отправила его на пол. Но карлик не унимался – он был

уверен в конечной победе и имел на то все основания: с каждым его новым приступом моя подружка сопротивлялась все меньше, может, еще и потому, что, как и я, могла бы впоследствии ожидать от него любых козней. Она быстро теряла силы и, похоже, готова была уже смириться со своим нежданным несчастьем.

Видеть это мне было непереносимо – я не мог позволить, чтобы зло таким наглым и циничным образом торжествовало над добром, и, пока еще шла борьба, я успел соскользнуть на пол по складке простыни и, добежав до своего домика, к счастью, стоящего неподалеку, вынуть из ножен шпагу, которую, вдобавок к имеющемуся у меня кортику, выковал мне из женской заколки для волос королевский оружейных дел мастер. Размахивая шпагой, я бросился на моего заклятого врага и обидчика Глюмдальклич, но едва ли причинил бы ему хоть сколько-то заметный вред, если бы моя девочка, которой он уже ухитрился задрать ноги, не взбрыкнула в последнем отчаянном усилии, отправив его снова на пол. Карлик упал на спину, на сей раз настолько неудачно для самого себя, что крепко приложился об пол затылком. Пока он, сидя и почесывая ушибленное место, изрыгал проклятья, я, уцепившись за его расстегнутый гульфик, успел по его порткам взобраться на него и, оказавшись рядом с его чудовищным тараном, которым он собирался пробить нежные воротца моей возлюбленной, размахнулся и что было сил двумя руками по самый эфес вонзил в этот восьмифутовый срам шпагу.

Раздался страшный вопль, во все стороны брызнула кровь, карлик дернулся и шпага переломилась – у меня в руке осталась лишь рукоятка, сам же я кубарем полетел в угол… Карлик вскочил на ноги, схватившись за свой раненый орган, и с воем ринулся вон. Моя шпага так и осталась в его естестве… Понять, что он испытывал, может лишь тот, кто волею судеб сам получал шило или швейную иглу в причинное место.

Хотя было довольно поздно, и беспокоить королеву не смел никто, я все же имел в этом смысле некоторые преимущества: вход в ее покои в часы ночного отдыха, как уже знает читатель, был мне доступен дважды в неделю, посему мне удалось убедить горько плачущую Глюмдальклич тут же поставить в известность королеву о происшествии, не забыв упомянуть о моем участии в нем, – именно последнее могло послужить оправдательной причиной столь позднего появления моей нянюшки в опочивальне Ее Величества. Я правильно рассчитал ходы – королева поначалу крайне встревожилась, поскольку почему-то решила, что именно я стал объектом посягательств карлика, но потом, уяснив суть дела, сначала сильно побледнела, потом покраснела и повелела сбежавшимся на шум стражникам найти карлика и привести к ней.

Того нашли не сразу, а найдя, волоком притащили к королеве, ибо сам он то ли не хотел, то ли не мог идти… Тут явилось и доказательство моего рыцарства в схватке за честь непорочной Глюмдальклич – шпага, которую обнаружил в естестве несчастного вызванный королевский эскулап. Тот специальными щипцами, величиной с мои каминные, без всякого болеутоляющего средства вытащил из рыдающего карлика клинок моей шпаги, наличие которого в своем к тому моменту уже изрядно воспалившемся органе карлик никак не смог объяснить. Впрочем, в его объяснениях королева не нуждалась – все было ясно, как божий день, и я внутренне торжествовал.

Однако, не желая развития скандала, королева поступила мудро, отправив карлика в дальнее имение той самой фрейлины, которая во время представления якобы случайно уронила меня в свое исподнее. Фрейлина эта по причинам мне неизвестным была отлучена от двора, но тут о ней вспомнили, в знак милости сослав к ней карлика, который, выздоровев, мог бы действительно оказывать ей известные услуги, поскольку фрейлина была одинока…

На следующий день за обедом, на котором, естественно, присутствовал и я со своими скромными по части аппетита запросами, что всегда вызывало улыбки сидящих вокруг царственных особ, а также тех, кто был допущен к царскому столу, включая первых сановников государства, король обратил внимание на отсутствие карлика и поинтересовался, где он. На что королева, которая, как я имел возможность убедиться, прекрасно держала себя в руках и умела управлять своими чувствами, ответила, что карлик заболел неизвестной болезнью и, дабы не подвергать опасности здоровье членов царского двора, был изолирован в надежном месте, где ему оказывается лечебная помощь и надлежащий уход, каковым ответом король был вполне удовлетворен и больше о карлике не вспоминал. О моем подвиге чести, естественно, не было произнесено ни слова.

Но карлику не повезло, хотя он и выжил. Как позднее я узнал, рана, нанесенная ему моей шпагой, имела плачевные для него последствия. Она долго не заживала, и карлик испытывал невообразимые мучения при опорожнении своего мочевого пузыря, пока ему не отсекли воспаленную часть, после чего боли прекратились, а само естество получило размеры, вполне пропорциональные росту карлика, и с тех пор перестало интересовать каких бы то ни было дам.

* * *

Как-то король в очередной раз пригласил меня для беседы в свой кабинет. Он собственноручно перенес к себе на стол мой домик, из которого я вынес кресло. Имея почетное право сидеть в присутствии короля, каковое было предоставлено не более чем десяти его приближенным, я стал подробно отвечать на вопросы, которые для каждой такого рода встречи король предварительно заносил на бумагу. Уже наслышанный от меня о том, каким удивительным оплотом всяческих добродетелей является родная мне Англия, на сей раз король решил досконально узнать все об отношениях у нас мужчин и женщин… Тут мне было что сказать королю, и я не преминул воспользоваться предоставившейся мне возможностью. Я, считая Англию фрегатом, возглавляющим флотилию государств, стремящихся к развитию и процветанию, каковые возможны только при разумном государственном устройстве, обрисовал широкую и красноречивую панораму политических и экономических свобод, дарованных моим гражданам, где никто не мог зависеть от другого, иначе как через отношения собственности и труда, где каждый имел право пользоваться плодами своих деяний, получая за них соответствующее вознаграждение. Я рассказал о мануфактурах и банках, о коммерции и торговле, о суверенности права на частную собственность, как залоге успешного экономического развития. Поскольку каждый отдельно взятый гражданин наконец осознал, что теперь его благополучие как и благосостояние зависят исключительно от него самого, это породило предпринимательский пыл, какого прежде нация еще не знала.

Этот повсеместный энтузиазм, продолжал я, видя нетерпеливое движение бровей короля, не любившего долгих преамбул, натуральным образом сказался и в такой важнейшей сфере общественного устройства, как отношения мужчин и женщин. Гласность и открытость в прежде умалчиваемых областях жизни способствовали возвышению нравов и формированию в связи с этим новых традиций. Например, продолжал я, Англия, будучи родиной газетного дела, очень скоро перенесла на страницы газет, выходящих тысячними тиражами, добрую часть этих отношений. Я самолично встречал в газете «Обсервер» объявления о желании состоятельных мужчин и женщин вступить в законный брак, дабы объединить чувства и состояния. И естественно, вдохновлялся я, что тон отношениям между мужчинами и женщинами задает двор, где царят абсолютно свободные нравы и где каждый свободен настолько, насколько ему хватает фантазии и средств. «Все можно!» – как сказал великий Томас Гоббс. Человек, получивший полную свободу, стряхнувший с себя феодальный прах и вериги средневековых догм, когда одна лишь церковь (я знал, что моя ссылка на бробдингнежскую историю будет по сердцу королю) решала, что можно и чего нельзя, – такой человек стал поистине венцом творения. Отныне человек живет под девизом: «Наслаждайся!», что и есть основная его потребность, вмененная ему самим Творцом; человек рожден для счастья и старается извлечь таковое из всего, с чем сталкивается в быстротекущей жизни. Человек оставил за собой единственную обязанность – быть счастливым! Нетрудно догадаться, что таким образом и вся страна пребывает в эйфории непрерывного обретения счастья. Однако хорошо известно, что нельзя достаточно долго наслаждаться одним и тем же – повторяющееся приедается, поэтому вторым условием счастья стал поиск всего нового. Это несказанным образом разбудило дремлющие в человеке силы, и общество стало стремительно обновляться, обратясь от известного к неизведанному. Семья в прежнем своем узко трактуемом смысле перестала существовать, материально независимые супруги получили одинаковые права на адюльтер, и за званым столом теперь нередко рядом с законными супругами восседают их любовник или любовница… И разве не сам Бог указал человеку направление его чувств своим знаменитым повелением «плодитесь и размножайтесь», я уже не говорю о его «населяйте землю» – что выразилось в беспримерном географическом и военном подвиге моей великой страны, начавшей покорение отсталых стран и народов и в этом смысле отнявшей пальму первенства у Испании и Франции…

«Вдумайтесь, – витийствовал я в порыве вдохновения, которое всегда охватывало меня, стоило мне подумать о моем отечестве, – разве в слове «плодитесь» не содержится в слегка

завуалированном виде призыв к наслаждению, – ведь, как каждому прекрасно известно, только совершенно определенные наслаждения и дают искомые плоды, равно как в слове «размножайтесь» разве не содержится сокрытая лишь от непосвященных рекомендация делать это часто, делать это много, делать это с разными дамами или кавалерами, ибо одна женщина, одна супруга – это не бездонный сосуд и редко может принести более десятка детей? »

Король слушал меня чрезвычайно внимательно, но я не мог не отметить, что с какого-то момента в его взгляде возник немой вопрос, который король удерживал в себе лишь для того, чтобы не прерывать вдохновенного потока моего красноречия. Однако, проявив учтивость, я сам прервал свой рассказ, дабы уяснить себе причину недоуменного выражения, написанного на его лице. Его Величество ответствовал, что хотя, по моим заверениям, они и мы и живем в одном подлунном мире, но Творцы у нас, видимо, разные, потому что их Творец ничего подобного не говорил и сказать не мог, так как он всего лишь дух животворящий, и осуществляет свою миссию молча, через Природу, ничего никому не объясняя и, тем более, не предлагая. Возвращаясь же к предыдущему нашему разговору (речь тогда шла о наших прародителях Адаме и Еве), король твердо указал мне на то, что в священных книгах Бробдингнега нет также и догмата о первородном грехе и изгнании из Рая, и он не совсем понимает, что такое грехопадение, и почему наш Творец так сурово наказал наших прародителей, если сам же велел им плодиться и размножаться, на каковые вопросы я, смущенный и одновременно восхищенный проницательностью Его Величества, не нашел вразумительного ответа, в чем честно и признался. Мне и вправду показалось трудно найти разумную целесообразность в деяниях нашего Творца, поскольку, не вкуси Адам и Ева плода от древа познания и не узнай стыда, то род человеческий до сих ничем бы не отличался от рода животных, которые спариваются, не ведая ни приличий, ни греха. Если же, продолжал король, наш Творец, велев нашим прародителям плодиться и размножаться, затем столь сурово наказал их за то, что они перестали быть наивными, как дети, то, видимо, он просто решил снять с себя всякую ответственность за дальнейшее, образно говоря, переложив вину с больной головы на здоровую. В той ситуации мне ничего более не оставалось, как поаплодировать Его Величеству, что я и сделал со всей искренностью, на какую был только способен.

Однако король выказал живейший интерес к моим словам и просил меня продолжать, и тогда я, желая отдать дань восхищения его мудрому правлению, обнимающему своей заботой, радением и попечительством вверенные ему пределы и всех подданных, их населяющих, стал приводить ему красочные примеры наших собственных монархий, как в ту же эпоху правления Людовика XIV, когда на земле действительно воцарился рай, поскольку понятие не только грехопадения, но и самого греха, напрочь исчезло. На лице короля изображалась целая гамма чувств, как если бы он мысленно сопоставлял нравы и обычаи при Дворе Короля-Солнце с господствовавшими здесь, одни беря на заметку, а другие отвергая. Так я рассказал королю про дворцовых метресс, то есть королевских возлюбленных, многие из которых были столь влиятельны, что, по сути, вершили судьбы государства при попустительстве Людовика XIV, не умевшего ни читать, ни писать, и управлявшего Францией исключительно данными ему от самого Бога талантами… При Короле-Солнце (нужно сказать, что король Бробдингнега каждый раз при упоминании такового титула начинал ревниво хмуриться и кусать нижнюю губу) окончательно утвердились права человеческих чувств и желаний: кто хотел, тот имел полную свободу самовыражения. Раскрепощением чувств были заняты все слои от верха до низа, ибо именно при таком условии можно было создать новую человеческую общность, живущую в мире непрерывного счастья и способную к великим дерзаниям. Чтобы брак не казался пресным, поощрялись измены супругу или супруге, быть любовником считалось доблестью, а любовницей – добродетелью. Во всех европейских столицах, в Лондоне, Париже, в германских княжествах и даже в таких варварских странах, как Московия, существовали многочисленные дома для галантных свиданий, устроенные на любой вкус – от роскошно обставленных особняков до скромных номеров, куда можно было зайти с избранным для свободной любви предметом своего свободного вожделения. То же самое можно было делать и в трактирах или гостиницах, где для гостей всегда была припасены лакомые угощения в виде девиц.

– Бесплатно? – поинтересовался король.

– Нет, конечно, за определенную плату, – ответил я, – ибо теперь все имело свою цену,

чем и прекрасна была новая эпоха, утвердившая за каждым из нас право покупать и продавать, хотя бы и самого себя. Мало того, – добавил я, – оные девицы, называвшиеся жрицами любви, кокотками, гризетка ми и многими другими словами, играли огромную и незаменимую роль в обществе, снимая напряжение у «го мужской части, давая выплеск неутоленным мужским страстям, кои в противном случае стали бы искать себе выхода в неподчинении закону, а то и в разбое. Если человек подавляет то, что у него между ног, он становится общественно опасен. Женщина в парадоксальном смысле заменила Бога, и галантное служение ей превратилось в молитву, с тем лишь отличием последней от литургии, что молящийся в нашем случае чаще всего бывал подобающе и недвусмысленно вознагражден. Ответственность за благоволение, то бишь, чувственное приятие, возлагалось на нее же – на то она и провозглашалась божеством. Понятие же разврата, собственно, перестало существовать с тех самых пор, как оный сделался модным и непременным атрибутом галантных отношений. На сцене появился совершенно новый, не представимый ранее тип любителя известного рода приключений, не имеющий ничего общего с рыцарями круглого стола короля Артура, воспевавшими культ Дамы и совершавшими подвиги в ее честь, как тот же сэр Ланселот. Нет, более никогда! Рыцарство – нелепый предрассудок, как и самопожертвование! Наслаждение себялюбиво! Носитель новых нравственных устоев, позволяющих безраздельно служить вожделению и сладострастию, тем несомненней имел успех в галантном обществе, чем более числилось за ним совращенных и погубленных душ. Такому развратнику были открыты двери самых изысканных салонов, ему завидовали, ему пытались подражать, ибо он, воплощение всех человеческих пороков, взошел на Олимп, преодолев все ограничения и условности нормы, что причисляло его к небожителям. Нужно ли уточнять, что пол такого божества мог быть не только мужеским, но и женским.

Далее я обратился мыслью к эпохе Людовика XV[8], который по свидетельству моих современников имел большую любовь к невинным девочкам-подросткам, каковых специально для него выискивали по всей стране и, содержа при дворе, откармливали, дабы придать им соблазнительные формы. Срывать цветы невинности было высшей усладой для короля, и нужно ли добавлять, что его тяга к чистоте и непорочности сама по себе вызывала восхищение, свидетельствуя о его духовном здоровье и нежелании идти на компромисс, каковым всегда является особа женского пола, уже побывавшая в чьих-то объятиях.

Когда король поинтересовался, что же дальше происходило с теми лишенными невинности девочками-подростками, я ответил, что они наверняка чувствовали себя счастливыми, ибо это ли не счастье – получить знаки внимания от самого короля! Далее девочек отправляли в приюты или воспитательные дома или же они сразу начинали самостоятельную жизнь, продавая за деньги свое умение дарить людям телесную радость…

О многом говорил я в тот вечер с королем – о проститутках в лондонском сент-джеймском парке, о карнавалах при дворе, на которых знатные дамы щеголяли лишь в масках, не имея больше ничего на теле, – нетрудно догадаться, что карнавалы эти заканчивались оргиями, по сути, чистилищами, ибо на них высвобождались наши темные инстинкты, делая нас выше, чище и лучше. Рассказывал я и о казнях, которые в отличие от тайных, застенных бробдингнежских, были у нас публичными, гораздо более изощренными и всегда являлись праздником для народа, – на них стекались не только простолюдины, но и знать, покупая за бешеные деньги помещения с окнами и балконами, выходящими на эшафот. Умерщвление жертвы прямо на глазах зрителей вызывало у них эротический экстаз, а знатные дамы, украшавшие собой балконы, начинали трогать чувственные места – свои или своих кавалеров – и тут же отдавались им, одним глазом продолжая завороженно следить за подробностями казни. Ибо давно замечено, что смерть это наслаждение, и, наслаждаясь, мы умираем, чтобы возродиться вновь. Вспомнив о казнях, я вспомнил и о флагелляции и флагеллантах, то есть о возбуждении чувств с помощью розог, – верное средство для многих, пожилых или пресыщенных, кого только боль подвигала к сладострастному наслаждению… Нигде как в Англии бичевание розгами не практиковалось столь широко и охотно. Порку можно было

[8] Здесь и далее Свифт нарушает хронологические рамки первоначального повествования, видимо, руководствуясь намерением актуализировать и «осовременить» сюжет. В опубликованной версии Гулливер попадет в Бробдингнег в 1703 г., а Людовик XV был королем Франции с 1715 по 1774 гг. – *Прим. перев.*

заказать и получить в известных домах терпимости – и для многих мужчин не было ничего желанней, чем понести наказание из нежных женских рук. Быть униженным, растоптанным, стать жертвой палача, картинно корчиться у его ног от терпимой боли, притворно молить о пощаде, – в этом и проявлялась суть верноподданичества, альфа и омега абсолютизма, когда высшим счастьем было раствориться в божественной воле Господина, предаться ему без остатка. Эта игра в унижение тем еще была утонченно сладострастна, что позволяла выхватить розгу из рук наказующего и в свою очередь стать палачом, услышать те же стенания жертвы и испытать тот же горячий прилив самоутверждения к своим чреслам. Как нам подчас хочется побыть беспомощным ребенком, заголенный зад которого охаживают розгами, и как иногда туманит нам мозг сознание нашей безраздельной родительской правоты! Лучше этой обольстительной обоюдоострой игры в палача и жертву человечество ничего не придумало. Так уж оно устроено…

И если в эпоху Возрождения личность объявлялась высшей добродетелью, то в эпоху Абсолютизма добродетелью же стал полный отказ от себя. И это, поспешил добавить я, самое разумное, что только могло произойти с личностью, ибо право на нее дается только от Бога и лишь Его Величеству.

Рассказ мой занял немало времени и сопровождался примерами из моей собственной жизни, ну, скажем, когда я, гуляя вечером по городскому парку, натыкался тут и там на совокупляющиеся прямо на траве газона парочки, или когда в компании четырех студентов задирал ножки некой замужней даме, согласившейся провести с нами вечер, в то время как ее муж пережидал за дверями, не отлучаясь никуда, чтобы заполучить от нас обещанное вознаграждение. Сдержанно смеясь, я вспоминал, как нам удалось оставить его с носом, выпрыгнув в окно.

После этой беседы король впал в задумчивость, и я самодовольно решил, что мне-таки удалось показать ему образцы, к которым он теперь будет стремиться. Если бы я мог предполагать, насколько окажусь прав…

* * *

У королевы, как и у дам, известных мне по моей прежней жизни в местах, заселенных такими же человеческими существами, как я сам, были, естественно, и менструации. По прихоти провидения они совпадали с месячными циклами моей возлюбленной Глюмдальклич, что имело как положительные, так и отрицательные стороны, поскольку вынуждало меня воздерживаться в течение двенадцати дней – такова была продолжительность местного женского цикла. В этот период я, надо признаться, весьма приохотившийся к выполнению желаний обеих своих возлюбленных, каковые – желания – в равной степени разделялись и мною, откровенно тосковал и не мог дождаться, когда снова начну оказывать им свои нежные услуги.

Как-то раз в такой период, а именно в день разрешенного семяизвержения, одна из фрейлин королевы с высочайшего дозволения попросила аудиенции со мной – ее интересовал женский вопрос в столь фантастически описанной мною Европе. Я не сразу понял, откуда ей известны мои описания Европы, которыми я поделился лишь с самим королем, но я не подал и вида, что слегка озадачен. Глюмдальклич по велению не подозревавшей ничего предосудительного королевы перенесла ящик со мной в апартаменты фрейлины, в правое от покоев королевы крыло дворца, где их хозяйка, уединившись со мной, задала мне несколько вопросов о том да сем, в частности, о нравах в наших женских монастырях, и являются ли они рассадниками женского благочестия, как у них в Бробдингнеге. Довольно рассеянно выслушав мои обстоятельные ответы, она спросила, готов ли я оказать ей услуги, наградой за которые послужит информация, могущая меня заинтересовать, если мне небезразлична моя собственная дальнейшая судьба при Дворе Его Величества. Встревоженный этими намеками и желая получить положительное разъяснение того, что за ними стоит, я, изобразив горячность кавалера, пришедшего на свидание с предметом своего обожания, отвечал, что выполню любую просьбу фрейлины, будь она мне по плечу.

Тогда дама – она была молода и хороша собой, ее роскошные белокурые волосы, из которых она за разговором уже успела вынуть шпильки размером с наши фермерские вилы, водопадом лились на ее плечи, – а голубые глаза мерцали, как озерца, отражающие безоблачный небосвод

– осторожно приблизила меня к своей левой груди, которую она, пока несла меня одной рукой, успела обнажить другой. Сосок у нее был, как каравай, и показался мне настолько восхитительным, что я с большой охотой, демонстрируя свою понятливость относительно пожеланий фрейлины, стал его мять, теребить и покусывать. Мои усилия и старания привели к тому, что спустя какое-то время фрейлина стала жмуриться, вздыхать, открывать рот и тихонько постанывать, в каковом состоянии она вдруг другой, свободной рукой, подняла подол своего платья, под которым оказалась абсолютно обнаженной в той части, к которой, видимо, и намеревалась меня переместить. Глянув поверх задранных нижних юбок на ее веющий ароматами свежести ухоженный и пышный газон, я почувствовал, что ничего не имею против.

Оказавшись в преддверии ее душистого лона, которое произвело на меня отличное впечатление своей величиной, превосходящей ту, что я промерил собой у королевы, я, не мудрствуя лукаво, смело проник внутрь и стал пробираться на корточках, пригибая шею и поддерживая плечами влажные складки верхнего свода… Я уже пытался описывать свои ощущения от пребывания в оном, но, боюсь, был неточен. Лоно бробдингнежки представляло собой подвешенный горизонтально, скользкий, будто из-под свежей рыбы мешок, по которому было довольно трудно передвигаться, так как он проминался под ногами, подобно рыбацкой сети, натянутой над цирковой ареной, куда падают сорвавшиеся канатоходцы. Скажу только, что если вы не гурман, и не привыкли благоговеть перед распахнутым к вашим услугам женским началом, то лучше вам не оказываться на моем месте. Но я был гурман, к тому же прошедший школу утонченной любви среди крошечных лилипуток, и весь этот влажный всхлип внутренней плоти, взыскующей моих ласк, был мне и желанен, и дорог. Далее моя фрейлина, словно догадавшись, что в ее вместилище мне может стать жарко и душно, принялась, двумя пальцами придерживая открытым свое устье, обмахивать его веером, от чего я почувствовал себя и вовсе превосходно.

Полагаю, я доставлял фрейлине немалое удовольствие – ее сладострастные стоны доходили издалека до моих ушей, тело вздрагивало, как земля под ударами грома… Решив, что услуги, о которых меня просили, оказаны сполна, я уже решил выбираться наружу, когда услышал доносящиеся оттуда какие-то новые посторонние звуки, по тембру похожие на мужской голос. Эти звуки то усиливались, то слабели, как если бы кто-то взволнованно ходил по помещению, и в ответ им звучал голос фрейлины, полный почтения и преданности. Потом меня вдруг резко тряхнуло, потом еще раз, и я почувствовал, что выход, к которому я пятился задом, приподнялся, и я стал соскальзывать обратно, как с крутой горки. Не понимая, в чем дело и как подать знак, чтобы моя фрейлина опустила причинное место и позволила мне выползти наружу, я уперся ногами и руками в стенки, и вдруг получил сильный толчок в зад, как если бы меня атаковало какое-то крупное животное. От толчка я отлетел вглубь, но это не спасло меня от следующего довольно полновесного удара, и я с ужасом осознал, что это вовсе не пальцы фрейлины и даже не ее веер, которым в любовной игре она, может быть, шутки ради решила проверить крепость моего зада. На корточках я поспешно устремился внутрь, чтобы избежать очередного удара, но оный тут же не преминул последовать, и был такой увесистый, что я отскочил, как мячик. Было ясно, что мою фрейлину кто-то пользует, хотя я и без того уже имел ее. Или она была столь извращена, что хотела принимать у себя двух любовников одновременно, или не смогла кому-то отказать… Но если и так, это было чревато для меня самыми печальными последствиями. Получив еще один более чем ощутимый удар, я понял, что жить мне осталось недолго. Вокруг было жарко, влажно и невероятно душно, а атаковавший логово зверь, возможно, даже не подозревавший о моем присутствии, был невероятно силен. К. счастью, логово это, то есть лоно, оказалось довольно вместительным, и я схоронился в маленьком закутке возле того, что по-латыни называется culvis, то есть шейкой матки, за которую ухватился руками, чтобы не потерять равновесия от сумасшедших толчков, следовавших один за другим. Не знаю, сколько длилось это испытание и сколько раз возле меня в абсолютной темноте, едва не расплющивая о стенку, объявлялся сей зверь, – я уже стал задыхаться, у меня кружилась голова – когда вдруг на меня хлынул горячий, липкий поток с характерным грибным запахом, который я легко бы мог распознать как семенную жидкость, если бы к тому моменту еще оставался способен к какому бы то ни было распознаванию. Я же, почти теряя

сознание, подумал, что это потоп, конец света – во всяком случае, для меня.

Вероятно, спасло меня лишь то, что в следующий момент зверь покинул логово, и донесшийся до меня свежий воздух снаружи наполнил мои склеившиеся легкие. По пояс заляпанный липкой субстанцией, я поначалу не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, но затем ко мне вернулось чувство реальности, придавшее мне сил, и я стал медленно пробираться к выходу. Мои движения не остались незамеченными, и фрейлина, видимо, уже, смирившаяся с моей печальной участью, решившая, что я погиб, теперь, довольно глубоко погрузив в себя пальцы, осторожно извлекла меня на свет Божий.

О, как здесь было хорошо! Это было второе мое рождение! Вот так мы и являемся в сей мир, мокрые, испуганные, покрытые слизью, хватая жабрами легких горький глоток свободы…

Прижав палец к губам, чтобы я молчал, фрейлина незаметным движением опустила меня на пол, я же, скосив глаза, успел в неверном свете свечей разглядеть того, кто теперь недвижно лежал с ней рядом. Этот мужественный профиль нельзя было спутать ни с каким другим, он украшал собой самую крупную здешнюю золотую монету весом в двадцать фунтов, – это был король собственной персоной.

Забравшись в свой домик, которого король, судя по всему, не заметил, иначе Его Величество едва ли стал бы действовать столь предосудительно, будь даже и воспламенен моими рассказами о метрессах, я как мог привел себя в порядок и ничего так не желал, как поскорей исчезнуть с глаз. Но только когда король заснул, моя фрейлина неслышно поднялась с любовного одра и, на цыпочках прокравшись к моему стоящему в углу домику, вынесла его за дверь и за угол. Тут в коридоре я и был оставлен ночевать. По полу гуляли сквозняки, и мне пришлось наглухо закрыть не только дверь и окна, но и ставни, чтобы не выстудить свою комнату. Я полагал, что фрейлина каким-то образом даст знать Глюмдальклич, чтобы та меня забрала, но так и не дождавшись своей доброй попечительницы, забылся тревожным сном.

В середине ночи меня разбудили толчки, сотрясавшие мой домик, и спросонья я подумал, что все еще нахожусь в лоне фрейлины, и испытания мои продолжаются, но страшный скрежет, доносящийся снаружи, заставил меня подумать совсем о другом… Осторожно приоткрыв ставню, я увидел в мрачном свете ночных светильников спины трех огромных крыс. Не знаю, зачем я им понадобился – как лакомое блюдо я значительно уступал пищевым отходам, которые в огромном количестве выбрасывались каждый вечер, разве что был живой, двигал ногами и руками, да к тому же от меня теперь исходил несвойственный мне запах женского лона и чужого семени. Допускаю, что вкус этих крыс был настолько извращен изобилием разнообразного съестного, что они приняли меня за какой-нибудь новый экзотический деликатес. Но если вспомнить эпизод в спальне фермера, где мне в первый же день пришлось дать смертный бой этим тварям, то в озабоченной целеустремленности, с которой они таскали туда-сюда мой домик, грызя его углы, было что-то неподдающееся простому толкованию. Допускаю, что это была жажда мести… А может, они, владычицы подпольного мира, через свои тайные ходы сообщались с моим Старым Светом, и теперь хотели донести до меня какое-то послание оттуда, – скажем холодок из подвала в моем доме в Ноттингемпшире, где я хранил французские вина, или запах капель валерьяны из аптечного ящика, которыми пытается успокоить себя на ночь моя безутешная жена… Или же они распознали во мне свое Высшее начало и скреблись, прогрызая деревянный цоколь моего домика, чтобы возвести на подпольный престол, объявить королем крыс? Может, стоит мне только распахнуть дверь, и они, водрузив меня на инкрустированные золотом и драгоценными камнями носилки, тайными ходами отнесут на мою милую родину… Но мы живем в невежестве и порой не замечаем руки провидения, протянутой нам… Нет, это я явно бредил от ужаса, усталости и недосыпа и все-таки, хотя в моем бедственном положении трудно было отличить правду от фантазий воспаленного мозга, мне хватило здравого смысла, чтобы более не высовываться, а, вооружившись кортиком (новую шпагу мне так и не выковывали), ждать последнего боя…

Испытание это длилось чуть ли не до утра, когда я впал в забытье, а утром челядь, разбудившая меня, никак не могла взять в толк, каким образом мой домик оказался на кухне за

бочкой с помоями, где нашли огромную дыру, в которую он не пролез лишь по той причине, что зацепился одним углом, каковой был настолько обгрызен, что внутри, отодрав мягкую ткань обоев, я обнаружил отверстие с мою голову величиной и кучу древесных опилок. Будь ночь подлиннее, и моя жизнь стала бы короче…

Ни тогда, ни позже я так и не узнал, что имела в виду фрейлина, обещая сообщить мне некую тайну, касающуюся сугубо моих интересов, – скорее всего, это была лишь приманка, на какую легко клюет каждый из нас, поскольку ничто в жизни не заботит нас в такой мере, как собственное благополучие, и мы становимся до глупости наивны и доверчивы, вверяясь тем, кто делает вид, что знает о нас больше, чем мы сами. Однако случай этот имел для меня последствия, обратные моим надеждам и оправдавшие мои худшие опасения, о чем читатель в свое время непременно узнает.

* * *

Как показали дальнейшие события, интерес ко мне проявляли не только крысы (о местных насекомых читатель уже знает), но и другие существа животного мира, в частности сплекноки, на мое разительное сходство с которыми мне не раз указывали при Дворе. Встречу со сплекноками я никогда не забуду.

Дальним своим концом, по другую сторону от беседки, в которой я однажды наблюдал непристойное зрелище, сад выходил к большому озеру, по которому придворные катались на лодках, каждая размером с наш фрегат. Иногда на прогулку брали и меня. Противоположный берег этого озера, к которому мы в тот раз направились, был песчаный, возвышающийся над поверхностью воды на три ярда, и в нем кое-где виднелись норы, выкопанные, как мне сказали, сплекноками, то есть в переводе с бробдингнежского – голопузиками. Существа эти, пояснил мне один из придворных, сопровождавших нас с Глюмдальклич, были безвредными и питались подножным кормом да всякими там насекомыми и червячками. Увидев, как вытянулось при этих словах мое лицо, он засмеялся. Сплекноки вели ночной образ жизни и редко попадались в руки, поскольку были пугливыми и весьма юркими, хотя в основном прямоходящими и, что интересно, не имели хвоста. Признаться, меня давно смущало сравнение с ними, и я хотел на них взглянуть хотя бы одним глазом. И вот – такая возможность мне представилась.

Естественно, я скрыл свои намерения даже от Глюмдальклич, которая старалась не обращать внимания на нашего кичливого спутника, желавшего меня унизить, дабы выглядеть предпочтительней в глазах моей нянюшки, ему явно приглянувшейся. Когда мы наконец высадились на песчаный берег, придворные затеяли игру в жмурки, которая всем нравилась и у меня на родине, поскольку давала возможность не только поймать за платье ускользающую слегка вспотевшую даму или разящего мускусом кавалера, но и хорошенько их пощупать в разных местах, чтобы с завязанными глазами определить, кто есть кто. Я же, воспользовавшись тем, что очередь водить выпала Глюмдальклич и что у нее на глазах темная повязка, поспешил к ближайшей пещере и осторожно заглянул внутрь.

День близился к вечеру, солнце стояло уже низко, и потому косые лучи проникали в глубину, освещая неровные стены коридора, из которого веяло приятным теплом. Не испытывая ни малейшего страха, готовый встретиться с существами, столь напоминавшими по словам аборигенов меня самого, я смело пошел навстречу неизвестному, полагая, что это, возможно, мои одичавшие сородичи, каким-то образом оказавшиеся здесь ранее меня и укрывшиеся от великанов, дабы жить своей собственной, пусть и полудикой, жизнью. У меня мелькнула мысль, что, может быть, мне стоит присоединиться к ним и провести остаток жизни в естественности и простоте, в непосредственной близости с самой природой – опроститься не только в привычках, одежде и образе жизни, но и -главное – в мыслях и чувствах, стать естественным существом матери-природы, от коей человек давно отделился из-за ошибочного представления о себе самом, как ее высшем достижении, ее конечной цели.

И вот без страха, хотя и с трепетом в сердце, я шел по этому коридору, предполагая встречу с равными себе. В какой-то момент я почувствовал, что за мной следят, но не остановился, а медленно продолжал движение, решив: будь, что будет. Я не хотел всю оставшуюся жизнь жалеть о том, что упустил свою, может быть, истинную судьбу.

Я сделал еще несколько шагов, вглядываясь в темноту, начинавшуюся за поворотом

коридора, куда луч солнца не дотягивался, и негромко, но внятно, со свойственной мне учтивостью, стал повторять на всех семи известных мне языках одну и ту же фразу: «Я приветствую вас!». Когда я повторял ее уже в пятый раз, а именно на итальянском, из тьмы раздался визг, от которого у меня все внутри похолодело, а по спине побежали мурашки, и не успел я опомниться, как в лицо мне ударила едкая вонючая жидкость, которую по запаху можно было бы сравнить разве что с запахом струи ранее упоминавшегося мной заморского животного под названием скунс, отстреливающегося от преследующих его врагов. Я потерял сознание, а когда очнулся, была ночь. Я определил это по мертвенному лунному свету, едва освещавшему дальний конец коридора. Я лежал на чем-то теплом и мягком, напоминавшем птичий пух. Болела голова, но руки и ноги у меня были целы, да и глаза, привыкнув к темноте, стали различать какие-то большие странные предметы. Думаю, скорее всего, это были валуны, но в тот момент, протянув руку и ощупав их, я решил, что это глиняные сосуды, в каких наши предки хранили зерно. Сердце мое дрогнуло – может, я и вправду попал к своим, только отставшим от меня в своем историческом развитии или просто одичавшим? Найду ли я, непрошеный гость, общий язык с ними? А может, это племя каннибалов, и меня зажарят на вертеле и съедят? Нет, если в этих огромных сосудах действительно хранится зерно, то я попал к народу земледельческой культуры и смерть мне не грозит. Но едва я стал шевелиться, обнаруживая признаки жизни, как некое существо, издав уже знакомый мне визг и схватив меня за ногу крепкой жесткой хваткой, поволокло меня по коридору наружу – помню, с ужасом в душе я насчитал всего четыре вцепившихся в мою лодыжку пальца.

Насколько мне позволяла видеть полутьма, царившая в коридоре, и неровный круг лунного света, венчавший выход из него, существо это, с меня ростом, передвигалось на двух ногах, и было весьма сильным, поскольку легко тащило меня за собой. Глаза его светились во тьме. «Послушайте, – бороздя затылком холодный песок, крикнул я по-арабски, поскольку с перепугу забыл свой родной язык, – послушайте, я человеческое существо, как и вы, я приветствую вас, я пришел с добрыми намерениями и не причиню вам никакого вреда». Но в следующий момент существо это, еще раз грозно взвизгнув, вышвырнуло меня из норы, да с такой силой, что я покатился по откосу и свалился в воду.

Это было и хорошо и плохо. Вода омыла мое лицо и вместе с отвратительным запахом пропала головная боль. Но я промок насквозь и, выбравшись на берег, почувствовал, что начинаю замерзать. В небе стояла полная луна, по гладкой поверхности озера, прямо до того места, где я скорчился на берегу, тянулась лунная дорожка. Было тихо, если не считать хора лягушек издалека, отчасти напоминавшего мне пение псалмов. Пение это время от времени перебивали резкие повизгивания – скорее всего, это перекликались встревоженные сплекноки. Кто же они такие? Судя по тому, что на руках у них было по четыре пальца, они не могли быть людьми. Но могло случиться и так, что в страхе я просто не определил пятый палец, а может, он был утрачен этим сплекноком-земледельцем или охотником во время жатвы или жестокой схватки с хищным зверем…

Тем временем я все больше и больше дрожал от холода. Мне пришлось снять промокшую одежду, так как испарения влаги, как известно, только отнимают у тела присущее ему тепло. Раздевшись донага, я отжал, как мог, промокшие предметы своего туалета и развесил их для просушки на близлежащих стеблях травы. Надо было немедленно найти теплый уголок, ибо, с детства подверженный простудам, я мог тут легко схватить горячку и умереть, не имея под рукой никаких лекарств. Поразмыслив, я решил, что не все пещеры заняты, наверняка тут найдутся и брошенные, непригодные для жилья, которые тем не менее вполне могли бы приютить меня и дать мне хотя бы толику тепла. Выбора у меня не было. «Будь, что будет», – снова сказал я себе, добрался до первой попавшейся пещеры и, втянув голову в плечи, вошел внутрь.

Обняв себя руками, сотрясаясь от ночного холода всем своим обнаженным телом, я не сделал и двадцати шагов, как впереди, в темноте, откуда веяло желанным теплом, я услышал какое-то шевеление и увидел две мерцающие точки глаз, светящиеся в темноте наподобие кошачьих. Могли ли мои соплеменники иметь такие глаза? Я повернул обратно, намереваясь бежать, но существо с горящими глазами (лица я не видел) уже настигло меня и, цепко ухватив

за локоть, потянуло за собой внутрь. Да – потянуло, а не поволокло. И хватка показалась мне не сердитой, а скорее ласковой и вежливо-предупредительной, словно я был здесь желанным гостем. В подтверждение моей догадки тут же я услышал и ласковое урчание, подобное воркованию влюбленного голубя, ухаживающего за своей пернатой подругой. Похоже было, что меня здесь ждали. От волнения я в тот момент так и не отметил, сколько пальцев держит меня за локоть, а покорно пошел в глубину пещеры, в спасительное тепло. Меня, конечно, подмывало хотя бы на ощупь определить, с кем на сей раз я имею дело, но я боялся показаться грубияном и невеждой, неделикатным мужланом, к тому же я не знал, как отреагирует на мое бесцеремонное прикосновение тот, кто вел меня в свою обитель. Только знание церемоний позволяет нам не попадать впросак, избегать грубейших ошибок и держаться в рамках приличия, обеспечивая себе таким образом надлежащую безопасность.

Ступало это существо большими шагами, и мне приходилось чуть ли не бежать за ним. Ноги у него были явно длиннее моих, но звук голоса, хотя в нем я и не различал членораздельной человеческой речи, был приятен и не сулил ничего страшного.

Так, ведомый своим новым неизвестным хозяином или хозяйкой, я передвигался быстрым шагом, пока не споткнулся о кучу теплых перьев и не упал на нее, успев выбросить перед собой руки. Это, видимо, и было логово, а может, и ложе обладателя пещеры. Судя по нашим нескольким случайным соприкосновениям, кожа у него была теплой и гладкой и очень похожей на человеческую, хотя я, несмотря на свои обширные познания естествоиспытателя, не мог с точностью определить, кто передо мной – одичавший человек, потерявший способность к речи, или просто некий дикий «голопузик», то есть сплекнок. Но что в этом понимали здешние великаны, если поначалу они и меня причисляли к прямоходящему зверьку… Разве не могло быть так, что сюда, на этот берег, в прошлом уже ступала нога подобного мне человека?

Между тем, гладкое теплое существо, настойчиво притянувшее меня к своему мягкому ложу, на котором я уже готов был в благодарности распластаться и смежить усталые веки, чего-то явно от меня хотело. Нежно урча, оно оказалось впереди, так что мои руки невольно коснулись его выпуклых лядвей, которые, ощутив прикосновение, вздрогнули и, быстро попятившись, прижались к моим чреслам, даже подсели под меня… Было абсолютно темно и тепло, и мне вдруг вспомнились мои первые брачные ночи, когда я был так молод и горяч, что одного легкого соприкосновения наших с женой тел было достаточно, чтобы почувствовать себя во всеоружии желания и возможности его осуществить. Вот и теперь я, не успев еще толком разобраться в своих чувствах, ощутил прилив сил к чреслам и поднятие своего обнаженного естества. Передо мной, точнее, подо мной, филейными частями ко мне находилась женщина-дикарка, нежными мурлыканьями приглашающая меня к соитию. Господи, благодарю тебя за милость твою! Слезы благодарности, восхищения и восторга омыли мою душу – и, не мудрствуя лукаво, я смело принял предложенные мне дары. Какое имеет значение, что передо мной дикарка – она была женщиной, женщиной моих размеров, моих естественных мужеских амбиций, это ли не подарок судьбы, осуществляющей свою миссию через волю Творца! Я был счастлив отдать свои силы этой незнакомке, сладострастие переполняло меня, и когда я наконец излил, исторг из себя свой высокий восторг, я был на небесах от счастья. Окончив свою миссию, я, не вынимая естества, которое еще оставалось большим и сильным, тут же заснул прямо поверх своей чувстводарительницы, поскольку на ней мне было тепло и покойно.

Когда я проснулся, был день – я это сразу понял по количеству света, наполнявшему дальний коридор. Моей новой подруги рядом не было. Изучив место, где я провел ночь, я пришел к выводу, что им не заканчивается довольно узкий коридор, – пещера, в которой я находился, сужалась в сторону, противоположную входу, и, похоже, имела еще один выход. Послюнив палец и повертев им, я ощутил дуновение тепла из неизведанной мной части подземелья. Меня очень тянуло направить туда свои стопы, видимо, где-то там дальше и отдыхала теперь моя гостеприимная хозяйка, однако я не сделал этого из опасения потревожить ее сон. Судя по всему, сплекноки действительно вели ночной образ жизни, – если это какие-то древние люди с дикими нравами, то мне тем более надлежало считаться с ними.

Радость и вместе с тем какая-то новая тревога овладели моим сердцем. Непонятным мне образом я почувствовал, что рядом с этими, видимо, родственными мне существами, жизнь моя не будет легче, чем среди великанов, а, может быть, даже наоборот – гораздо тяжелее. Я вспомнил ту бесцеремонную жестокость, с которой вышвырнул меня из своего жилища первый попавшийся мне сплекнок, скорее всего, мужчина, самец, может быть, даже вожак, отчего он и был столь агрессивен. Кроме того, если сплекноки жили отдельно от бробдингнежцев, точнее, ютились в песчаном откосе берега по соседству, то это могло означать, что они по каким-то причинам не были приняты за разумных существ, более того – отвергнуты, при том что бробдингнежцы прекрасно знали об их существовании. Все эти вопросы роем кружились у меня в голове, когда я, голый, вышел из пещеры и оказался на солнечном песчаном берегу перед обширным озером, на дальнем, еле видимом за утренней дымкой, краю которого обозначались верхушки деревьев королевского сада. Не меньше мили отделяло меня от того берега, и я прекрасно понимал, что вплавь я туда никогда не доберусь. Нужна была лодка. Но нужна ли она была мне на самом деле? Не лучше ли было мне остаться здесь и разделить вместе со сплекноками их отшельническую судьбу, став, как и они, свободным сыном природы?

Я спустился к воде и с удовольствием выкупался, даже немного поплавал вдоль берега. Вода была на удивление прозрачной, и я видел на дне каждый камешек и каждую ракушку. Моя одежда висела на стеблях травы, где я вчера ее оставил, она уже успела просохнуть, и я с удовольствием оделся во все теплое и чистое.

Возле пещер было тихо, никто из их удивительных обитателей не показывался на свет, а о том, что почти в каждой пещере кто-то есть, говорили многочисленные следы, испещрившие песок. На отдельных следах я отчетливо разглядел отпечаток пяти пальцев… Полный уважения к предполагаемой мною ночной жизни этого племени и ни в коем случае не желая нарушать ее течение, я после некоторых раздумий решил покинуть берег и подняться на поляну, на которой вчера играли в жмурки мои великаны. За поляной начинался подлесок, дальше стеной стоял лес. Я еще ни разу не был в бробдингнежском лесу и, откровенно сказать, туда и не стремился. Я знал, что там водятся дикие звери, похожие на наших, но только гораздо крупнее, и встреча с ними не сулила мне ничего хорошего. Поэтому я благоразумно остался на поляне с кое-где вытоптанной травой. Мне хотелось позавтракать, так как со вчерашнего вечера у меня во рту не было и маковой росинки. Бродя в поисках хотя бы какой-нибудь Ягодины, той же земляники, которая здесь была с тыкву, я наткнулся на голубую атласную ленточку и вспомнил, что точно такая же ленточка украшала вчера волосы моей Глюмдальклич.

При мысли о моей нянюшке мне стало горько и одиноко. Неужели я больше никогда ее не увижу? Неужели до конца дней своих я буду жить здесь в пещере с дикаркой, у которой и лица-то еще не рассмотрел? Неужели я должен буду перейти на ночной образ жизни и подножный корм, довольствуясь ягодами и кореньями, и у меня тоже начнут светиться во тьме глаза?

Вдруг остро и четко, как всегда бывало, когда судьба жестко ставила меня перед выбором, когда я должен был принимать одно-единственное решение, от которого зависела моя будущность, я понял, что хочу вернуться к великанам, что здесь мне не жить и более того – не выжить. Недолго думая, я насобирал сухих стеблей травы, отыскал на берегу два подходящих куска кремня и после многочисленных неудачных попыток все же высек наконец искру и зажег сухую траву. Я рассчитал, что если разожгу костер и буду его поддерживать, то дым обязательно заметят с дальнего берега, догадаются, что это я, и придут на помощь. Великаны наверняка решили, что я или утонул, или меня украл то ли какой-нибудь зверь, то ли птица.

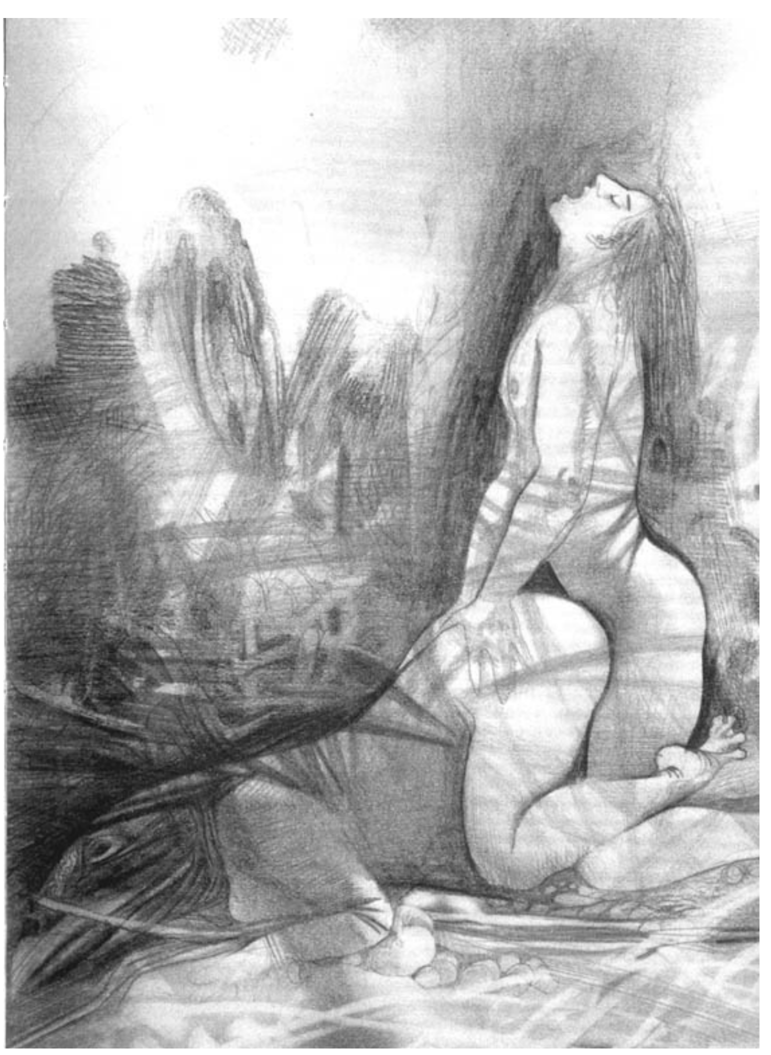
На костер у меня ушел весь день, но никаких признаков интереса или движения на том берегу я так и не заметил. Похоже, никто там так и не появился. Впрочем, отсюда мне было мало что видно, а к вечеру пошел дождь, погасив огонь, и я, крайне расстроенный и огорченный, вернулся в логово. Там было по-прежнему тихо, постель или гнездо из перьев пусто, и я, голодный и злой на весь мир, лег и забылся тревожным сном. В желудке у меня урчало.

Проснулся я в кромешной темноте оттого, что кто-то меня тронул. Это была она, моя дикарка. Она мурлыкала и терлась о меня своим телом, намекая на продолжение того, чем мы занимались вчера. Откуда она взялась? Из того дальнего хода пещеры, неизведанного мной? Стараясь не сердить ее и не вызывать ее разочарования, я примерно на тех же тонах, что и она, но довольно жалобно, промурлыкал в ответ, как бы давая понять, что я не против, но на голодный желудок заниматься мне этим не с руки, да и боюсь, что не получится.

В ответ я услышал более чем удивленное верещание, и моя подруга тут же скрылась. Почти сразу же она вернулась обратно и стала совать мне в рот что-то холодное и скользкое – вкус этой скользкой пищи был необычный, слегка напоминающий вкус устриц, только пожирнее. Решив, что отказываться не в моих интересах, к тому же чувствуя, как в желудке начинаются голодные спазмы, я послушно сжевал все принесенное мне угощение. Это вполне могла быть какая-нибудь саранча, то бишь акриды, но я успешно преодолел тошноту, вовремя вспомнив, что ими питался в пустыне и Иоанн Креститель, после чего я почувствовал, что не только сыт, но и что мое естество само по себе, даже без призыва, наполняется волшебной силой. Видимо, то, чем меня накормили, обладало особым качеством, поскольку я снова ответил на недвусмысленный призыв, и мой ответ теперь, в мою вторую ночь среди сплекноков, походил на исполнение супружеского долга… На сей раз после совершения совокупительного обряда я твердо вознамерился вступить в диалог с моей ночной возлюбленной, для чего использовал не только знание всех семи языков, но и полузнание еще девяти, в каждом из которых я помнил хотя бы несколько слов или выражений. Я даже произнес не раз слышанное мною в бристольском порту от купцов Московии: «davai-davai, bistro-bistro!», однако моя новая подруга тут же высвободилась из-под меня и ускакала, даже, как мне показалось, не поднявшись с четырех конечностей на две, как это иногда, дурачась, делаем и мы, просвещенные люди. Это было несомненным свидетельством того, что она обладала чувством юмора, каковое напрочь отсутствует у животных.

Еще двое суток прошло точно так же, как первые: днем я выбирался наружу и безрезультатно жег костер, а ночью в кромешной тьме являлась моя подруга, кормила меня какой-то вяленой гадостью, но тем не менее утолявшей голод и пробуждавшей совершенно определенные желания. Сопряжение наших тел происходило по-прежнему без слов, под урчание. Я поймал себя на том, что теперь тоже урчу по поводу и без повода. Еще немного и я начну забывать человеческий язык… За все это время больше никто не появлялся в нашей пещере, и мой страх, что придет самец-хозяин и прогонит меня, постепенно испарился. На роль хозяина и мужа, видимо, эта дикарка избрала меня.

На четвертую ночь я решил во что бы то ни стало разглядеть свою возлюбленную, но так чтобы не рассердить ее. Поэтому, когда она снова прыжками (видимо, от радости) ускакала от меня, я, крадучись, пустился следом… Выяснив, где ее опочивальня, я вернулся к выходу – там у меня было заготовлено несколько непогасших углей от костра, который я без всякого толка поддерживал на поляне. И вот с тлеющей головешкой в одной руке и с пучком сухой травы в другой я прокрался к своей возлюбленной, резонно полагая, что она спит, так как нигде во тьме пещеры не было видно зеленоватых огней ее глаз. Услышав ее дыхание, я подошел совсем близко и, поднеся пучок травы к угольку, дунул что было силы. Трава вспыхнула, и яркое пламя осветило мне все вокруг. Кошмар увиденного до сих пор холодит мне сердце и заставляет его сжиматься в предсмертной тоске. На животе лицом ко мне с закрытыми глазами лежало чудовище. Тело у него было, как у голой белой лягушки, а голова – как у ящерицы. Она и была ящерицей, только, видимо, теплокровной.



В ужасе я закричал и бросился прочь. Чудовище немедленно открыло глаза и помчалось за мной, не удосужившись встать на задние лапы, которые, как я успел разглядеть в короткой вспышке огня, были у него очень похожи на человеческие…

Чувствуя, что мне приходит конец, я обернулся и выставил навстречу летевшим на меня зеленым глазам раскаленный кончик головешки. Это и спасло мне жизнь, ибо я угодил прямо в раскрытый глаз чудовища, и оно, заверещав от боли, отстало от меня.

Не помню, как я выкатился из пещеры, как упал в воду, как поплыл, как выбрался на огромный лист кувшинки, чтобы передохнуть. Зато хорошо помню, как сидя на нем и трясясь от только что пережитых страстей, я увидел нечто невообразимое – в мертвенном свете огромной луны, уже пошедшей на ущерб, из черных дыр пещер, усеявших пологий склон берега, выскакивали, кто на двух конечностях, кто на четырех, ящерицы с горящими зелеными глазами и мчались к берегу. Я надеялся, что они не смогут доплыть до меня, и это было так – они не поплыли: громко вереща, видимо, оповещенные своей раненой соплеменницей, они помчались навстречу мне поверх воды, так стремительно перебирая задними ногами, что она держала их не хуже тверди.

Я понял, что через несколько мгновений буду растерзан на мелкие кусочки. Умирать мне не хотелось, тем более от зубов этих ужасных тварей, которых я по своей мечтательной наивности и ностальгии принял за человекоподобных существ. К счастью – и в этом был шанс на спасение – в нескольких ярдах от меня начинались заросли камыша. Недолго думая, я снова бросился в воду и, ухватившись за самую толстую камышину, подобно смельчаку-лихачу, который одолевает гладкий столб на ярмарочной площади, стремительно полез вверх, словно там, наверху, меня ждал бог знает какой приз. Собственно, так оно и было – призом была моя собственная жизнь.

Спустя несколько мгновений я был уже на самой макушке толстого стебля, увенчанного огромной камышовой свечкой. Камыш здесь рос так густо, что мне не стоило большого труда подтянуть к себе еще два стебля, которые я успел связать между собой для крепости всего

сооружения, прежде чем внизу подо мной оказалась верещавшая орава разгневанных сплекноков, жаждущих моей крови. Да, признаю, сплекноки довольно высокоразвитые существа здешней фауны и отчасти они действительно напоминают человечков, вроде меня, они даже умели то, что не умеем мы – бегать по воде, аки посуху, но они не умели другого – взбираться по ровным гладким столбам: для этого их четырехпалые передние и пятипалые задние конечности не были приспособлены. Так я и просидел, ни жив ни мертв, на своем высотном сооружении из трех гибких опор до самого утра, пока наконец эта злобная свора не ринулась к берегу, прячась от первых лучей солнца подобно нетопырям.

От усталости и крайней опустошенности чувств я задремал, а когда открыл глаза, то увидел неподалеку от себя огромный барк, точнее – лодку, на которой в сопровождении двух гребцов сидела моя Глюмдальклич. Оказалось, что мои усилия по поддержанию костра не были напрасны – дым накануне все же заметили и решили выяснить его причину. Так я был спасен еще раз.

* * *

Одно из величайших затруднений в Бробдингнеге, которое я постоянно испытывал, заключалось в том, что, проявляя желание или намерение, я только в редких случаях мог самостоятельно их осуществить – отправление естественных надобностей тут не в счет, ибо проходило для моих великанов почти незаметно. Но чуть ли не каждое мое волеизъявление, дабы быть исполненным мною же, тем не менее требовало участия посторонних лиц, будь то моя Глюмдальклич, которой приходилось день за днем, час за часом отдавать себя самоотверженным заботам о таком существе, как я, пусть даже крошечном и безобидном. Я был и продолжал оставаться совершенно беспомощным в смысле овладения здешним пространством и предметами, которые его заполняли. Меня, как маленького капризного ребенка, надо было постоянно поднимать или опускать, любое самостоятельное, но неосторожное движение грозило мне падением и членовредительством, если не гибелью, – я тут и там мог разбиться или свернуть себе шею, на меня то и дело могли наступить, сесть, не заметив, на меня могли случайно чихнуть, не отдавая себе отчета, что такой вихрь собьет меня с ног… Даже безмозглая мартышка, однажды выкравшая меня из домика и таскавшая по крышам, вообразив, что я ее младенец, могла стать распорядителем моей судьбы. Чувство постоянной зависимости от других и отсутствие перспективы переломить ситуацию – не мог же я вдруг вырасти – было особенно горьким и нестерпимым. Поистине, когда от тебя ничего, абсолютно ничего не зависит, ты становишься буквально игрушкой в руках мартышки-судьбы, щепкой в водовороте обстоятельств, пылинкой, взметнувшейся в воздух от взмаха веника-случая. С одной стороны, у меня было все – кров, одежда, хорошая еда, даже слуги (ибо иначе как своими добрыми заботливыми слугами, ежедневно одаряющими меня вниманием, я считал не только Глюмдальклич, но и, в некотором роде, короля с королевой), однако, с другой стороны, все эти несомненные блага не являлись обретенными в результате моих собственных усилий и талантов, а были дарованы мне исключительно благодаря тому, что я был крошкой-уродцем, всего лишь «игрой природы» по заключению здешних ученых мужей. Я был не лучше выставленного в зверинце редкого существа неясного вида и происхождения, тогда как на самом деле являлся нормальным живым человеком со своими мыслями, чувствами и желаниями – и чем дольше я здесь жил, тем яснее начинал понимать, что для человека даже золотая клетка – это тюрьма и пытка, и мало таких, кто выдержит подобное испытание без повреждения ума. Ощущение собственной моей никчемности и ничтожности душило меня и если бы не любовь-дружба Глюмдальклич, которая понимала меня лучше прочих, хотя зачастую, будучи малообразованной, и не могла поддержать со мной разговор на серьезные темы о вечных вопросах бытия и смысла жизни, то я бы лишился рассудка или повесился бы на одном из шелковых шнурков бахромы, свисавшей с покрывала королевы в ее будуаре, куда она приглашала меня для любовных утех.

К горестным мыслям этим в очередной раз подтолкнул меня один случай, произошедший со мной во время плавания под парусом в огромном корыте длиной в триста ярдов, которое, как помнит читатель, предоставили мне в полное распоряжение. Возле меня в тот раз была одна Глюмдальклич, но кто-то позвал ее. Она же, полагая, что моей жизни и безопасности ничто не грозит, покинула меня, прежде чем я успел выразить свое мнение на сей счет. Нужно сказать, что в последнее время она по любому поводу все чаще оставляла меня одного, словно стала

тяготиться моим обществом, что вполне объяснимо, ибо бремя постоянной ответственности действительно опустошает душу, чьи резервы небезграничны. Даже родная мать, день и ночь пестующая своего младенца, чувствует порой усталость – однако мне, как и младенцу, остаться без неусыпного и многотщательного попечительства было смерти подобно.

И вот, едва я остался один, как со двора в помещение, где стояло мое корыто, вбежала та самая охотничья собака, которая однажды уже таскала меня, словно дичь, к хозяину, схватив зубами за одежду. На дворе было жарко, и собака, высунув язык, не раздумывая, бросилась в корыто, чтобы освежиться. Это произошло так неожиданно, что я едва успел ухватиться за мачту, и вовремя, поскольку в следующий же момент волна, поднятая глупой тварью, наверняка смыла бы меня за борт, а так лишь окатила с ног до головы, испортив мой капитанский мундир, который специально для плаваний сшили мне по велению королевы. Я было подумал, что счастливо отделался, поскольку собака, барахтаясь в воде, на сей раз не обращала на меня никакого внимания, но тут из-за двери раздался голос хозяина, звавший ее, и она, замахав хвостом, бросилась вон из корыта. Все бы хорошо, но один из взмахов ее длинного и, как выяснилось, довольно твердого хвоста пришелся по моей грот-мачте, – та тут же переломилась, судно опрокинулось, и я оказался в воде.

Я был неплохой пловец, но плыть мне было некуда – до верхнего края корыта я все равно бы не дотянулся, но даже дотянувшись и вскарабкавшись на него, все равно не смог бы спрыгнуть, поскольку до пола было никак не менее восемнадцати футов. В вышедшей в свет книге, видимо, по вине наборщика выпала единица, и глубина корыта оказалась на целых десять футов преуменьшенной. Мне пришлось держаться на поверхности, уцепившись за свое, к счастью, не затонувшее суденышко, пока не вернулась Глюмдальклич. Вода в корыте была довольно прохладной, родниковой, и эти четверть часа, проведенные в отчаянном ожидании моей нянюшки, стоили мне жесточайшей простуды, от которой я нескоро оправился…

* * *

Живя на чужбине, в абсолютном физическом ничтожестве, как если бы действительно в клетке, пусть даже и золотой, я, разумное человеческое существо, понял одну весьма важную вещь – ничто извне, даже сам Бог, не может заменить нам наше собственное «я», никто не может сделать нам хорошо, кроме нас самих, ибо сделанное за нас и для нас «хорошо» таковым в наших глазах не является и причиняет нам такие же душевные терзания, как и то, что «нехорошо». То есть никто не может сделать нас счастливыми без нашего участия, ибо счастье это пройденный путь и чувство удовлетворения от преодоленных на этом пути препятствий. Прав был великий философ сэр Джон Локк: наше счастье, как, впрочем, и несчастье – дело наших собственных рук. Душа – большая индивидуалка, и не может жить подачками с чужого стола. И еще я сделал весьма важный для себя вывод, каковой не мог сделать прежде, живя в иных обстоятельствах, и заключался он в том, что государство, на попечении которого находятся его граждане, не должно вмешиваться в их жизнь больше, чем они сами то позволяют. Государство в лице своего государя должно защищать свои границы и своих граждан от вторжения тех воинственных народов, которые хотели бы сделать этих граждан своими рабами, государство должно поддерживать торговлю, ремесла и такие важные для воспитания духа нации области, как образование и культура. Государство должно выступать меценатом благих порывов и начинаний своих граждан, но оно обязано знать свои рамки, ибо оно никого не может сделать счастливым, а может лишь создать для этого предпосылки, главная из которых – терпимость и уважение к личной жизни каждого. Я понял, что насилие, даже если оно якобы во благо, есть величайшее несчастье для любого человека, ибо подрывает достоинство личности и порождает послушного раба. Быть же рабом человеку противопоказано, поскольку рабство разрушает сознание. Рано или поздно истинная природа человеческого все равно берет верх, и раб восстает. Этим человек и отличается от домашнего животного, которое покорно переносит свое рабство, зачастую даже хочет его и довольствуется им за даровой харч. В Лилипутии при всех ограничениях, каким я там подвергался, я чувствовал себя совсем иначе – демиургом, вершителем отдельных судеб и истории в целом, – пожалуй, никогда больше, ни до, ни после, я не был столь полноценным, я был велик, я уважал себя, и мое «я» было во столько же раз больше меня самого, во сколько

теперь оно было меньше меня же, ничтожества и пигмея. Оказывается, самосознание, самоощущение своего «я» есть величина относительная, как сказали бы математики, и впрямую соотносится со средой обитания, точнее – с масштабом твоей личности в ней.

* * *

Как-то раз в беседе с королем я рассказывал ему о любви и об отображении ее в живописи и скульптуре, видах искусств, которых, сколько я мог заметить, не было в Бробдингнеге. Не скажу, что это было связано здесь с религиозной верой, как, скажем, в мусульманском мире, где при запрете на изображение Аллаха, а с ним и людей, развилось лишь искусство прихотливого узора. Нет, просто изобразительный гений у бробдингнежцев вообще отсутствовал, и, кроме музыки, у них ничего не было, впрочем, и музыка была здесь настолько груба и примитивна, что простенький мотив матросской джиги в моем исполнении являлся усладой для местных меломанов…

Король был отчасти удивлен моим сообщением, что в нашей крошечной Европе крошечные европейцы, к которым я имел честь (или несчастье) принадлежать, несмотря на свои крошечные размеры, помешаны на изображении своих крошечных фигурок, особенно женских, находя в неподвижном изображении некую прелесть и вдохновение. Ему была непонятна наша страсть запечатлевать красками на куске грубого холста красивый образ, портрет, – он признавал только «живые» искусства, ту же музыку, звучавшую лишь в момент исполнения, или пение, или театр, с актерами, ходящими по сцене. Он не видел никакого смысла в том, что наши художники запечатлевают не только человеческие фигуры и лица, но и природу, деревья, небо, скалы, море и корабли на нем. Особенно его насмешили мои слова о том, что в нашей живописи много батальных сцен – стреляющие пушки, горящие крепости, летящая кавалерия, насмерть бьющиеся армии… Ему все это показалось нелепым, потому что, по его мнению, мы пытаемся на своих тряпках, натянутых на подрамник, остановить жизнь, движение, тогда как это абсолютно невозможно. Как можно остановить меняющиеся облака или прибой на море, или солнце, уходящее за горизонт и расцвечивающее небо каждую минуту меняющимися красками. Наше изобразительное искусство показалось ему крайне наивной детской забавой, и он долго от души смеялся. Однако я имел мужество вступить в спор с Его Величеством, сказав, что он абсолютно прав в своем понимании сути искусства изображения подвижного мира, который действительно застывает, будучи перенесенным на холст. И мое возражение состоит лишь в том, что и в застывшем виде этот мир остается в своем роде живым и многозначным, и что великие художники владеют искусством обобщения и нахождения главного среди тысячи второстепенных мелочей и умеют через одну счастливо найденную деталь изобразить очень многое, если не все. В подтверждение своих слов я даже назвал имена двух великих мастеров прошлого – Рафаэля и Леонардо да Винчи, к сожалению, не англичан, поскольку Англию, как и Бробдингнег, живописный гений явно обошел стороной.

Увы, я не смог убедить короля и увлечь его очарованием и в некотором роде бессмертием нашей живописи, потому так и названной, что она сохраняет исчезнувшее и минувшее как бы живым. Эта придумка европейцев, хотя он и не видел ни одного ее образца, показалась ему пустой и никчемной. В свою очередь король показал мне устройство, изумившее меня необычностью и отчасти поколебавшее мои пристрастия в области живописи. То, что он продемонстрировал мне, не было живописью, хотя в известном смысле было живее ее, потому что двигалось при желании зрителя. Устройство это представляло собой круг с нарисованными по его краю фигурами человека в мой рост и с узкими прорезями, разделявшими их. Вращая этот круг и глядя сквозь его прорези в зеркало, можно было видеть, что человек пускается в бег, как живой. Мне казалось, что это я сам бегу от напастей своей судьбы. Таких кругов у короля было немало, целая коллекция. Достаточно было надеть один такой на стержень и крутануть перед зеркалом, как представление начиналось… Так я с восторгом просмотрел вслед за бегом человека бег лошади, полет утки, прыжки лягушки, драку собаки с кошкой, а под конец король с торжествующей улыбкой продемонстрировал мне соитие мужчины и женщины… Взбудораженный, потный от просмотра, я вынужден был согласиться, что движущиеся картинки в известном смысле возбуждают меня больше, чем галантные картины европейских мастеров.

И все же мои восторженные отзывы о картинах, изображающих обнаженное женское тело, которое в наших придворных кругах стало главным предметом любования, восхищения, поклонения и пользования, король выслушал не без любопытства. Он с благосклонностью отнесся к сюжетам полотен, где пышно разодетые по последней моде мужчины соседствуют с полуодетыми, а то и вовсе раздетыми прелестницами. Его Величество согласился, что подобные картины могут возбуждать воображение и не только оное, но что будь они здесь, их можно было бы показывать только в первый день весны или осени, когда разрешено семяизвержение в лоно, в остальные же дни года вреда от них больше, чем пользы. На что я вежливо возразил, что при отсутствии каких-либо ограничений в отношениях полов, как у меня на родине и в странах, кои я имел честь посетить, подобные картины оказывают круглогодичное благотворное воздействие. Король, тем не менее, усомнился в достоверности моих слов по той причине, что в таком случае, заметил он, страны, о которых я говорю, были бы перенаселены настолько, что жизнь там стала бы невозможной. На это я с присущим мне тактом объяснил королю, что от нежелательных детей у нас избавляются изгнанием плода во время беременности с помощью специальных трав и настоек, или, ежели ребенок незаконнорожденный, что случается тут и там при нашей замечательной вольности нравов, то такого ребенка отправляют в деревню, где он, как правило, живет недолго. Для нежелательных детей есть еще сиротские и воспитательные дома, избавляющие родителей от бремени лишних забот.

Король долго не мог понять, что такое «изгнание плода», а когда понял, то даже изменился в лице, настолько диковинным и ни на что не похожим показалась ему подобная практика, и он возмутился изуверской изощренностью нашего ума, впрочем, как все просвещенные монархи, умело скрывая свои подлинные чувства. Зато мое сообщение об одном изобретении, предохраняющем женщин от беременности, а мужчин от опасности подхватить какую-либо заразу, было встречено им с энтузиазмом. Его эмоции выражались столь неподдельно, что я, дабы не огорчать, утаил от него печальную причину такового изобретения, а именно болезнь под названием сифилис, которой почти поголовно были заражены царские дворы. Я лишь подробно рассказал Его Величеству о медике при дворе английского короля Карла И, имя которого было Кондом и который с помощью специального мешочка, надеваемого на фаллос, разом избавил человечество от множества проблем, соприсущих служению Венере, и что для этой цели может послужить и рыбий пузырь, применявшийся еще в Древнем Египте. Мое сообщение привело короля в такой восторг, что он тут же вызвал своего главного медика и главного повара и велел принести рыбий пузырь, что и было исполнено, а так как в реках и озерах этой страны водились сомы размером с нашу акулу, то и рыбий пузырь, извлеченный из сей рыбины, оказался под стать королевскому естеству.

Вскоре после этой достопамятной беседы последовал королевский указ, предписывавший гражданам Бробдингнега пользование рыбьим пузырем наравне с теми способами, к которым они прибегали при соитии во все дни года за исключением первого дня весны и осени. Надо признать, что это весьма положительно сказалось на мироощущении великанов. Резко уменьшилось количество однополых привязанностей, как и число тихо или буйно помешанных, не говоря уже о заметно упавшем числе поклонников домашнего скота, который снова стал использоваться прежде всего по своему основному назначению. Мне же король пожаловал орден за заслуги перед его страной, каковой я не мог носить по той причине, что весил он ничуть не меньше меня самого. Я хранил его в своем домике и во время официальных торжеств, на которые был приглашен, сам выкатывал его на специальной тележке, обязанный, как и прочие придворные короля, быть при всех регалиях. Орден этот из чистого золота высшей пробы, как и большая часть остальных моих бробдингнежских приобретений, был утрачен, и, кроме слова чести, мне нечем подтвердить это награждение.

Что же касается кондома, то особенно крепким и эластичным оказался пузырь не у сома, а у местного осетра, по каковой причине цены на эту рыбу выросли вдвое, икру же бробдингнежцы, как и прежде, выбрасывали или скармливали свиньям.

Благодаря беседам со мной или, точнее, в результате их, мой король решил воплотить в жизнь некоторые достижения европейской цивилизации. По-моему, его весьма впечатлили нравы при дворе Людовика XV, его, так сказать, современника, хотя и живущего по ту

сторону Света, «где жизни нет, потому что не может быть никогда». Насколько я помню, ему особенно понравились мои описания уединенных уголков под названием petite maison или ermitage, созданных исключительно для того, чтобы, ни на что иное не отвлекаясь, предаваться сладострастию, а также приверженность короля Франции к юным девственницам. Не ускользнула от него, конечно, и общность девизов, под знаком которых жили царские дворы… Согласитесь, девиз французского двора: «Будем развлекаться!» в определенном смысле звучал в унисон со здешним: «Делай это сейчас», тем более, что второй девиз французских королей: «Fais le bien» полностью – и это было поразительно – совпадал с местным девизом: «Делай это хорошо». К тому же по универсальной таблице периодичности времен, имеющей между прочим большой и малый круги, все знали, что история Бробдингнега, впервые завершая большой круг, приближается к своему концу и прекратится уже через три поколения. Поэтому ныне живущим бробдингнежцам была рекомендована чрезвычайная активность и стремление извлекать из жизни как можно больше удовольствий. На моих глазах все бробдингнежцы и бробдингнежки просто помешались на галантности…

Уже при мне идея конца света или, по-нашему священному писанию, – Армагеддон, настолько овладела умом и сердцами граждан Бробдингнега, от низа до верха, от последних уличных бродяг до титулованных особ, что девизы: «Делай это хорошо» и «Делай это сейчас» тут же успели соединиться в единый призыв: «Делай это сейчас хорошо», который и стал как бы догматом повседневной жизни. Вернее будет сказать, что у низов, типичным представителем которых был мой бывший фермер, все же еще оставались иные интересы – стремление к богатству, почестям и славе, но избранное общество устремилось к совсем иному–к безудержным наслаждениям и удовольствиям и к получению их всеми возможными, а зачастую и невозможными, способами.

Теперь счастливым и удовлетворенным мог стать каждый, исповедуй он несколько простых, пусть отчасти и циничных принципов: «За морем жизни нет», «Хорошо там, где ты есть», «Делай это сейчас хорошо». Эти доступные любому непредубежденному сознанию постулаты, которые, на мой взгляд, недурно было бы перенять и моим соплеменникам, оказались тем хороши, что позволяли без отрыва от получения удовольствий заниматься обустройством среды обитания, а также получать добавочное удовольствие от пребывания в этой среде.

Итак, не провел я при Дворе и года, как жизнь в нем в корне изменилась. Блуд, то есть блуждание в поисках телесной радости, которая заключалась во всех формах и вариантах соития, – стал знамением нового мировоззрения, привнесенного в жизнь не без моего скромного участия. Воцарилась полная свобода, и никому не приходило в голову что-либо запрещать или регламентировать. Даже наоборот – все новое, исключительное стало поощряться, за новым шла охота, и каждая новая поза воспринималась как откровение, хотя, как известно, количество поз, сколько бы их ни было, все же ограничено возможностями телесной конституции, которая у великанов была точно такой же, как и у нас, людей обычного размера… Острая потребность в новизне заразила и меня. Обычное, то есть мое, в Бробдингнеге постепенно стало представляться мне не мизерным и жалким, а исключительным и раритетным, и на себя я начал смотреть глазами тех ученых, вызванных королем для моей идентификации, которые назвали меня «игрой природы». Да, игрой, чудесной и неповторимой игрой! Из своего вопиющего недостатка – крошечного размера – я ухитрился извлечь выдающееся ощущение собственной крайней и неповторимой бесценности.

* * *

Между тем мои собственные любовные похождения продолжались. Читателю, конечно, уже известно, что у короля с королевой были две дочери-принцессы тринадцати и шестнадцати лет. Это были очень красивые девицы, а точнее, молодые женщины, – я уже имел случай сообщить читателю, что зрелость здесь наступала рано – в двенадцать лет. Практически же особи женского пола созревали еще раньше. Красота принцесс не соответствовала их нраву – выросшие в богатстве, роскоши, ни в чем не имеющие отказа, девицы эти были капризны, себялюбивы, и прихоти их не знали ни меры, ни правил приличия. Впрочем, неприличия, естественно, совершались втайне от родителей, и если я и узнал об этом, то лишь потому, что однажды оказался невольным участником их более чем сомнительных развлечений.

Обе девицы, несмотря на свой зрелый возраст, любили играть в куклы, и рано или поздно их взоры неминуемо должны были обратиться на меня. Испросив у обожавшей их матери-королевы разрешение поиграть со мной, чтобы якобы примерить мне наряды, составлявшие гардероб миниатюрных куколок мужеского полу, коих у принцесс было несколько десятков, они велели Глюмдальклич принести мой ящик на свою половину дворца и сказали, что сами вернут меня, когда наиграются… Уже хорошо знакомый с тем, какие это могут быть игры, я, однако, держал себя сдержанно и учтиво, готовый к тому, что действительно побуду в роли живой куклы: возможно, переодев, меня прокатят в игрушечной карете, запряженной игрушечными лошадьми, выкупают в чашке воды… Почему бы и нет? Но втайне, может, даже в тайне от самого себя, я желал иного развития событий, ибо был мужчиной, наделенным определенными чувствами, новизна же, особенно в женском обличье, всегда волновала и возбуждала меня. С другой же стороны, я побаивался женской инициативы, могущей оказаться несоразмерной с моими возможностями и моей конституцией – я боялся вывихов или переломов, особенно в таких хрупких местах, как запястья, лодыжки или шея… Волновала меня и целостность моего мужского естества, каковое, к счастью, по причине своей мизерности пока не привлекало внимания моих возлюбленных великанш.

Но эти испорченные красотки именно на мое естество и воззрились, когда, оставшись со мной наедине, они торопливо меня раздели и стали внимательно разглядывать, встав на корточки и вооружившись лупой. Их лица нависали надо мной, а огромные глаза, цвета неспелого крыжовника, в которых зажегся блудливый огонек, жадно изучали мое обнаженное тело. Затем младшая из принцесс, взяв у старшей лупу и точно определив местонахождение моего естества, которое в увеличительном стекле ей, видимо, понравилось, стала водить по нему мягкой желтой пушинкой, возможно, даже цыплячьей, что дало естественный результат.. . Тогда она разоблачилась, скинув с себя через голову груду одежд, которые развевались и хлопали, как паруса на ветру, взлетая до небес потолка, расположенного от меня примерно на такой же высоте, что и облака. В обнаженном виде она оказалась еще краше и отточенностью форм явно совершеннее моей скромной и неброской Глюмдальклич.

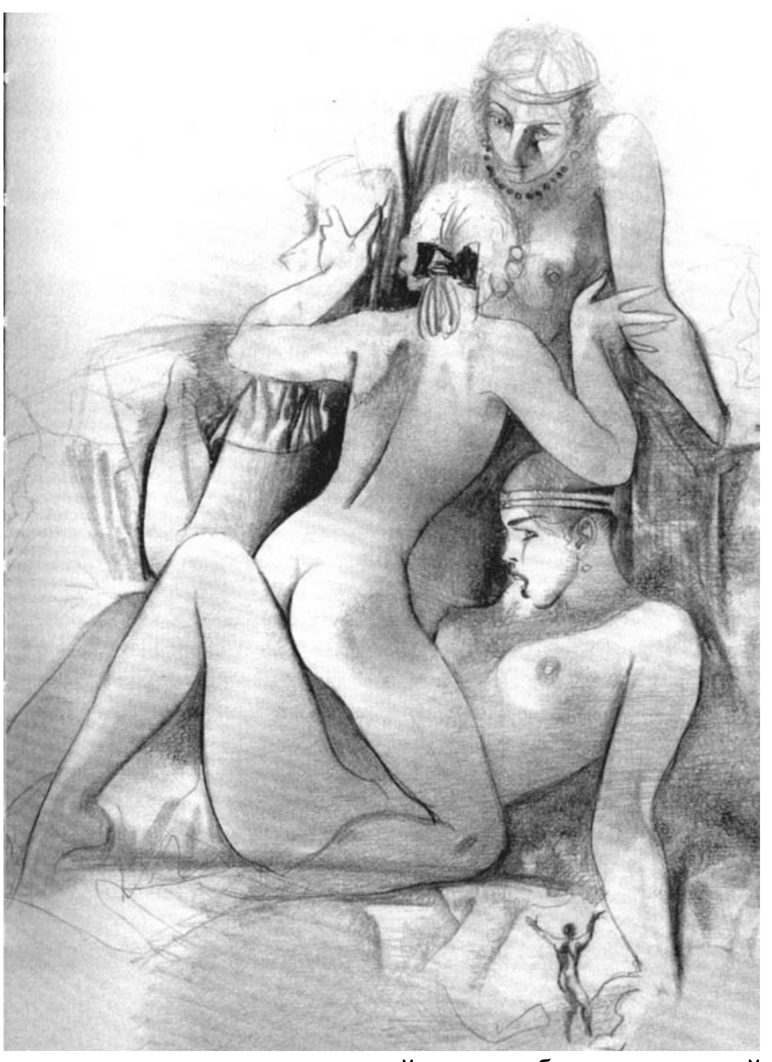


Улегшись на ковер и поставив меня между своих красивых девичьих грудей, она предложила мне побегать по ней и поискать «грикли блюк», что по-бробдингнежски означало «заповедный уголок». Я сразу понял, на что она намекает, но, дабы не выдать себя как знатока местных дам, я устремился не вниз, к животу принцессы, а вверх – по ее шее, как будто собирался шепнуть ей что-то на ушко, прежде чем недвусмысленность происходящего окончательно явит себя. Но младшая принцесса, поежившись и хихикнув, будто прикосновение к ее коже моих голых ступней вызывало у нее щекотку, вдруг схватила меня и перенесла прямо на свой пушистый кустик. Надо отметить, что волосяной покров на лобке у некоторых дам Бробдингнега иногда разрастался до размеров кустов сирени или жасмина, то есть выше моего роста… И порой дамы, отличавшиеся в этом месте волосистостью, заплетали свои кусты в косички с лентами и колокольчиками, которые начинали звонить при активном сотрясении чресл, как правило, вызываемом соитием. Чем громче звонили колокольчики, тем искуснее считался любовник, отсюда и возникло выражение «отзвонить в колокола». И если у нас не считается зазорным обратиться к даме с такими словами, как «я хочу с вами переспать», то, согласитесь, по-бробдингнежски подобное предложение звучало гораздо поэтичнее. Но у принцессы не было ни косичек, ни лент, ни колокольчиков, хотя сама растительность доходила мне до груди, к тому же была так надушена амброй, что у меня слегка закружилась голова. Может быть, именно поэтому я оступился, выходя из зарослей, и, не найдя ногой опоры, рухнул головой вниз. Если я не свернул себе шею, то лишь потому, что на лету успел ухватиться за растительность, декоративно обрамлявшую вход в розовое лоно. К тому же принцесса инстинктивно сомкнула бедра, отчего между ними и большими губами лона образовался узкий лаз, по которому я, сконфуженный, благополучно спустился на ковер, покрывающий каменный пол. Меня тут же достали из-под раздвинувшихся ног, дабы удостовериться в моей целости и сохранности, но сам я был так обескуражен этим падением, что мое естество, забыв о своем возбуждении, снова стало размером со здешнюю булавочную головку. Я надеялся, что на

этом интимная часть нашего знакомства и закончится, но оказалось, что мой промах никак не повлиял на намерения избалованной принцессы. Осмотрев со всех сторон, она меня обдула, словно я был упавшим на пол лакомством, и вдруг, открыв рот, совсем как Глюмдальклич, поглотила меня по пояс ногами внутрь. Я решил, что она сейчас начнет меня посасывать, и оттого сразу почувствовал новый прилив крови к чреслам, но принцесса имела другое намерение. Она обволокла густой слюной мое тело, отчего я стал скользким, как сливовая косточка, после чего я, совершив в ее руке полет в направлении лона, по пояс погрузился в него, придерживаемый за грудь и спину большим и указательным пальцами. Поскольку я имел немалый опыт многоразовых погружений и приспособился к ним, – как-никак с Глюмдальклич меня уже несколько месяцев связывала сия нежная тайна – то и теперь старался напрягать и расслаблять свое тело в такт движениям принцессы. С минуту посмотрев на развлечение своей бойкой младшей сестрицы, ее старшая сестра решила присоединиться к нам. Однако она не стала раздеваться, а лишь села, задрав подол платья и всех кружевов, что были под ним, стянула с себя панталоны – от нее пахнуло сладкой и дурманящей лавандой – и я увидел, что ее промежность приближается ко мне, как если бы я должен был одновременно обслужить два лона, подобно инструменту о двух концах, коим удовлетворяли себя в Древнем Китае женщины, когда их мужчины уходили на войну. Я испугался, что сестры, сблизив свои лона, целиком поглотят меня, и я просто задохнусь, но, несмотря на азартность игры, от которой они хотели получить новые неиспытанные ранее наслаждения, принцессы были достаточно благоразумны и пользовали меня не головой вперед, а только ногами, для чего они поочередно передавали меня одна другой, а то и принимались ублажать мной друг дружку. Обе, как оказалось, не были девственницами, и, погружаясь в лоно то старшей, то младшей сестрицы, как бы из огня амбры в полымя лаванды, я невольно задавал себе вопрос: когда и с кем они лишились девственности, каковым вопросом задается каждый мужчина, поскольку, входя в обладание новой женщиной, всегда испытывает невольную ревность, ибо каждому из нас хочется быть первым и главным. А ведь статус принцесс обязывал их блюсти чистоту крови… Но неожиданно явился и ответ в виде пажа королевы, которого я довольно часто встречал на женской половине дворца, занимаемой фрейлинами, – похоже, паж этот был хорошо знаком с повадками принцесс, потому что без преамбул и реверансов деловито разделся и присоединился к нашей компании. В паузе между погружениями из одного лона в другое я скосил глаза и увидел, что этот мальчишка отменно вооружен, и мысленно еще раз посетовал, что каждый местный балбес даст мне в известном занятии сто очков вперед. Не удостоив меня ни взглядом, ни подобающим приветствием, вопреки этикету, предписывавшему всем подданным Его Королевского Величества выказывать мне при встрече знаки почтения полупоклоном и восклицанием: «Слава Грильдригу!», словно положение, в котором я в данный момент находился, уравнивало его со мной, точнее – возвышало его до меня, он тут же занялся младшей принцессой, бесцеремонно отгородив ее от меня и вставив ей между раскрытых лядвей символ своего несомненного превосходства надо мной. Таким образом, теперь я был полностью отдан на откуп старшей принцессе, в то время как этот наглый и бесцеремонный юнец услаждал младшую, аромат которой, признаюсь, действовал на меня более возбуждающе, чем аромат ее сестры. Мы, мужчины, собственники по натуре, и только в ранней неимущей юности готовы делиться лакомством с друзьями, теперь же я, зрелый мужчина, испытывал муки ревности и унижения, видя, как бесстыдно мелькают вверх-вниз ягодицы моего счастливого соперника между ног младшей принцессы, которые она, дабы иметь полную меру удовольствия, широко развела в стороны, подняв их и удерживая на весу руками, взявшимися за ступни, – точь-в-точь как те, не знающие стыда девицы, с которыми я делил дни своей молодой любовной лихорадки в студенческие годы. Помню, одну из них звали Лидией, она была дочкой профессора Лейденского университета, где я получал медицинские знания, и, кажется, не было студента, которого она не одарила своей благосклонностью. Бывало, она принимала по четыре будущих медика зараз, справляясь с их нуждами обеими руками, лоном и ртом, иногда отдавая в дополнительное пользование и анус, будучи при этом такой ловкой и сметливой, что все мы подходили к пику наслаждения одновременно. Не отставала от нее и хозяйка пансиона, госпожа Гвин, где я снимал

комнату и столовался: не было у нее жильца, который не оказался бы в ее постели. Муж же ее, чиновник городского суда, пользовался невероятным успехом у жен, на чьих мужей были заведены судебные дела. Помню имеющие широкое хождение анекдоты о том, что благодаря красивой жене можно откупиться от чего угодно и добиться каких угодно должностей в обществе, тогда как ни ученость, ни обладание различными достоинствами вовсе не гарантируют тебе путь наверх…

Тем временем старшая принцесса, которой, видимо, надоели мои малоубедительные услуги, поставила меня на ковер и присоединилась к совокупляющейся парочке, встав над ней с широко разведенными ногами, так что паж-юнец, который теперь в позе наездника оказывал знаки внимания ее сестре, легко мог дотянуться губами до обрамленных растительностью губок стоящей перед ним принцессы, каковые он и стал облизывать при каждом толчке в лоно младшей. Старшей принцессе это так понравилось, что она, еще на шажок приблизившись к нему, вовсе соединила свой распустившийся цветок с губами пажа, дабы он подобно пчеле высасывал из сердцевины нектар любви. Младшая принцесса, заметив, что дружок отвлекается на ее сестру и уже не столь усерден, на локтях выползла из-под пажа и, развернувшись к его по-прежнему полному силы стержню, принялась облизывать его со всех сторон. Чтобы ей было удобно, паж, стоя на коленях, догадливо выпрямился, а чтобы младшая не чувствовала бы себя одиноко в том месте, которое стало свободно, он смело ввел в него свой указательный палец, а в отверстие, находящееся рядом, то есть в анус, – другой, средний. Я, хоть и отвергнутый этой троицей, не спешил разыскать разбросанные тут и там предметы своей одежды, тем более, что бархатный камзол мой, скорее всего, находился теперь под коленом пажа, как не стал спешить и в свой домик, стоящий возле стены с настежь раскрытой дверью. Отойдя на безопасное расстояние, дабы не быть случайно раздавленным в пылу разгоревшихся здесь нешуточных страстей, я с интересом естествоиспытателя наблюдал за различными позами соития, которые практиковали юные великаны, и с удовлетворением констатировал, что они (позы) ничем не отличаются от тех, что практиковал и я сам в свою бытность среди людей моего размера…



Последняя из поз, которую я запечатлел в своей памяти, была следующей: кавалер снизу, две дамы сверху, обе в роли наездниц, только одна на стержне, а другая на языке, который, как я успел отметить, был у пажа отменно длинный. Затем, найдя все предметы своей одежды, кроме камзола, я вернулся в свой домик и, закрыв наглухо дверь, то есть давая тактично понять, что соглядатайство – не мой конек и что я уважаю право каждого на таинство соития, забылся коротким сном…

На этом интерес принцесс ко мне был исчерпан, и больше они не брали меня к себе ни под каким предлогом; камзол между тем пропал, а обещанную новую одежду мне так и не сшили, хотя в кукольном гардеробе принцесс было, как сейчас помню, с десяток вполне подходящих мне сюртуков. Ни паж, ни принцессы при дальнейших официальных встречах со мной – за королевским ли обедом или на музыкальных ассамблеях – не выражали на лицах ни малейшего смущения или беспокойства относительно того, что я посвящен в их тайну, которой мог бы, например, поделиться с их родителями, имей я такое намерение. Видимо, тройка молодых людей была уверена, что я, как в некотором смысле участник действа, буду хранить молчание, в чем они оказались абсолютно правы. Но молчал я вовсе не из-за своего вынужденного соучастия: поставить в известность короля и королеву о том, что делается за их спиной, я не мог, исходя из собственных представлений о чести и благородстве.

* * *

Ароматы, которые я тут и там обонял при общении с дамами, были темой нашей очередной беседы с королем, во время которой я выяснил, что благоухание могут позволить себе лишь зажиточные бробдингнежцы в гигиенических целях, воплощая одно из условий здешних галантных манер и куртуазности, звучащее в переводе на английский как «цвету и пахну». Не буду отрицать – поначалу местные телесные запахи действовали на меня угнетающе, в лучшем случае вызывая головную боль, в худшем же – обморок. Но наш организм удивительно гибок и обладает свойством приспосабливаться к самым исключительным условиям и обстоятельствам, особенно если его лишают выбора. Так, то, что прежде представлялось нам

отвратительным, позднее может вызывать у нас неподдельный восторг. Сие, несомненно, указывает на то, что нашими чувствами управляет великая сила привычки. Да, богатые великаны и великанши, включая, естественно, придворных, с течением времени стали мне казаться невероятно чистоплотными; особенно это касалось дам. Запахи естества, выделений и испарений тела удалялись здесь не только с помощью воды и мыла, но и благодаря душистым эссенциям, готовящимся из различных растений в период их цветения. В этом знать Бробдингнега могла бы дать пример многим представителям высшего света в странах, которые я посетил. За исключением разве что медиков, наученных содержать свое тело в чистоте, большинство моих европейских соплеменников омывало свои члены редко и недостаточно, отчего подчас источало самые дурные запахи. То же и при Дворе. Утренний туалет Короля-Солнце состоял лишь из протирания eau-de-Cologne[9] лица и рук, остальные же части его тела отнюдь не благоухали, что не раз вызывало недовольство его метресс. Видимо, чистоплотность бробдингнежцев – а водой и мылом пользовались все поголовно – диктовалась их размерами, ибо даже трудно представить себе, во что бы иначе превратились их улицы, жилища, их отхожие места и наконец они сами… Авгиевы конюшни показались бы тогда в сравнении, скажем, с Лорбрульгрудом райским местом. Но нет – столица, как и прочие города, сверкала чистотой и порядком.

Однако, как я выяснил для себя в той беседе с королем, здесь не знали медицинских, лечебных свойств используемых ароматов, и я был счастлив представить королю целый их список с подробными описаниями целебного воздействия, каковое они оказывали на организм. Я надеялся, что этим, как и рассказом об изобретении медика Кондома, я окончательно сглажу то крайне отрицательное впечатление, произведенное на короля моим рассказом о порохе, с помощью которого мы разрываем неприятеля на куски, и об изгнании плода, когда мы делаем, по сути, то же самое с человеческим зародышем…

Так, при заболевании горла и полости рта я рекомендовал принимать эфирные масла бергамота, гвоздики, герани, при головной боли – иланг-иланг, лаванду и розмарин; розу же и ладан – для снятия угнетенных, подавленных состояний и усталости, для утренней бодрости мною рекомендовались масла мяты, гвоздики, ириса… Список получился огромный, ароматы перекрывали буквально все, какие ни есть, недомогания, и мой король был приятно удивлен и впечатлен, особенно, когда, тщательно подсчитав, выяснил, что каждый рекомендованный мною аромат излечивает не менее пятидесяти болезней… Открытый для всего нового король тут же издал указ, которым повелевалось вместо огромного штата медиков, имеющих королевскую лицензию на врачебную практику и безбожно наживающихся на недомоганиях бробдингнежцев, зачастую мнимых, широко пользоваться лекарствами в виде ароматических эссенций, являющихся поистине панацеей. Будучи одним из лучших в стране математиков, он подсчитал, какой выгодой обернется для королевской казны оздоровление нации. Дело в том, что здесь каждый заболевший освобождался на время болезни от налогов, по каковой причине половина народа постоянно болела той или иной болезнью, факт наличия которой подтверждался заключением лицензионного медика. Последний же выдавал таковое заключение всякому за сумму втрое меньшую, чем сам налог… Таким образом выигрывали все, кроме короля, и с этим надо было покончить.

Увы, королевская инициатива, принятая с восхищением разве что мною, ее вдохновителем, и королевским казначеем, имела худые последствия, так как вскоре выяснилось, что ароматы, которые на людей с моей корпуленцией действовали безотказно, для толстокожих великанов были что слону дробинка, как с радостью констатировали возненавидевшие меня медики, уже начавшие было считать свои убытки. Правда, преданный королю главный лекарь Его Королевского Величества на основании опытов, проведенных на себе, установил, что данные ароматы все же действуют, но чтобы произвести их в потребном для каждого великана количестве, придется засеять ароматическими растениями все угодья Бробдингнега, оставив страну без продуктов сельского хозяйства, – то есть без фруктов и овощей, без зерновых, а значит, без крупного и мелкого рогатого скота, без свиней и птицы…

---

[9] Одеколоном *(фр.)* – букв, «вода из Кёльна». – *Прим. перев.*

Шел уже третий год моей жизни в Бробдингнеге, но, как ни странно, чувствовал я себя все неуверенней и тревожней, хотя и был принят и обласкан первыми лицами государства, и небо над моей головой казалось безоблачным. Увы, на самом деле это было далеко не так – я, напротив, чувствовал, что надо мной сгущаются тучи, и причиной тому были не только мои пикантные похождения, но и мои пространные беседы с Его Величеством, так как идеи многих из них король-практик постарался претворить в жизнь, естественно на свой бробдингнежский манер. Прежде всего я имею в виду кондом, который буквально перевернул все бробдингнежское общество сверху донизу и сделал его граждан этакими неугомонными бестиями, одержимыми сатаной чувственности. Ибо они вообразили, что натянув на одно место рыбий пузырь, они теперь могут делать, что хотят, без всякого контроля над собой, поскольку «контролировать» больше нечего… Идея вседозволенности проникла во все слои общества, включая власть, закопошилась в самых дальних и тайных закоулках. Для меня лично и моей судьбы в Бробдингнеге эта просветительская акция имела в итоге самые печальные последствия.

Однажды после отхода ко сну, когда моя милая Глюмдальклич, сославшись на легкое недомогание и сказав, что сегодня любви между нами не будет, отправила меня в ящике на верхнюю полку и сама легла спать, дверь в горницу тихонько отворилась, и в свете оставшейся гореть на ночь ароматической лампады я увидел короля. На нем, под парчовым халатом с золотой бахромой, не было ничего, кроме одной потрясшей меня детали, – его вставший фаллос, торчавший из-под бахромы, был украшен серебристой оболочкой рыбьего пузыря, скорее всего – осетрового… Хотя я уже знал, что в последнее время король стал вести себя примерно так же, как августейшие особы Европы, навещая по ночам новых своих метресс, почему-то мне ни разу не пришло в голову, что объектом его чувственных поползновений может стать моя добрая нянюшка. Будь я менее простодушен и более предусмотрителен, ни за что не стал бы рассказывать Его Величеству о вкусах его французского коллеги, предпочитавшего невинных девочек, едва достигших двенадцати лет…

Первым делом король поискал глазами, где стоит мой ящик и, обнаружив его, довольно бесцеремонно, даже не поприветствовав меня и не пожелав хотя бы спокойной ночи, переставил в самый угол, так что мои окна и дверь оказались наглухо перекрыты двумя сходящимися стенами. Понятно, король не хотел, чтобы я стал свидетелем того, как он совращает мою Глюмдальклич; однако он забыл, что в крыше у меня имелся запасной люк на случай непредвиденных обстоятельств, коим я и не преминул воспользоваться. Горчайшие чувства, которые я испытал в ту ночь, глядя сверху на сцену, разыгравшуюся подо мной, до сих пор рвут мне душу и сердце.

Увидев своего короля, Глюмдальклич, естественно, была польщена его вниманием к своей скромной особе, хотя на лице ее читался явный испуг, ибо она еще никогда не видела перед собой настоящего мужского естества, да еще облаченного в рыбий пузырь, и, видимо, приняла его за металлический, по каковой причине, упав перед королем на колени, стала умолять его не губить ее молодую жизнь, а отпустить домой к отцу и матери. На это король улыбнулся, царственно положив свою руку ей на голову поверх распущенных волос, и предложил удостовериться, что предмет, который ее так испугал, не представляет никакой опасности для ее жизни, а даже наоборот может принести ей особого рода удовольствие. Что король, увы, прав, моя нянюшка смогла убедиться, сначала робко прикоснувшись к серебристому наконечнику указательным пальцем, а затем несколько раз по предложению короля лизнув оный. По иронии судьбы она, кажется, была единственной во всем Бробдингнеге, кто оставался в неведении относительно того, что такое кондом и в каких случаях его применяют. Mea culpa[10] – из ложных представлений о чистоте и невинности я умолчал об этом средстве предохранения, которое в нашем случае было нам абсолютно ни к чему.

Отчасти успокоившись, Глюмдальклич тем не менее не спешила принять милости, которыми король намеревался ее одарить, и по-прежнему, стоя на коленях перед Его Величеством, просила его не срывать ее цветок, украшающий венок удовольствий, ибо не считала себя достойной его внимания, пусть это и честь для нее, бедной девушки, за которую некому

[10] Моя вина (*лат.*). – *Прим. перев.*

заступиться, а только лишь королю, защитнику и протектору всех малых и сирых. Она, сирота при живых отце и матери, была готова выразить свое верноподданническое обожание Его Величеству любым иным способом, который король найдет подобающим ее положению при Дворе. На что король, впечатленный и тронутый словами девочки, за короткое время столь успешно усвоившей правила галантного этикета, но оттого возбужденный еще более, чему было недвусмысленное доказательство, раздвинувшее полы халата, украшенного золотой бахромой, ответствовал, что готов немедленно выступить на защиту бедной девочки, если ему будет представлен предмет защиты, ибо защищать можно только то, что подвергается угрозе. Глюмдальклич, чья честность и прямота иногда доходили до недопустимой откровенности и простоты, о которой говорят, что она хуже воровства, почему-то подумав, что королю стало известно, чем она занимается по ночам, стала умолять, чтобы он пощадил ее и сохранил ей жизнь, ибо если она и допустила что-то, то исключительно по душевной слабости и из одиночества, живя вдали от родительского дома. Услышав такое, король побледнел как мел, что было заметно даже при мерцающем свете лампады, и возопил: «Так ты не девственница?».

С этими словами он толкнул Глюмдальклич на кровать и, схватив светильник, стал изучать ее юное междуножье. Глюмдальклич была так напугана, что не сопротивлялась и даже не пыталась сомкнуть ноги. Король внимательно и ревниво осмотрел обетованное местечко, после чего резко выпрямился, отставил плошку с огнем и гневно сказал: «Ты меня хочешь обмануть?! Ты девственница в самом чистом виде! Дуришь своего короля?! За это будешь наказана!» – и, встав между ее ног на колени, он уже направил свое вожделение к невинной розе, как Глюмдальклич, вскрикнув, быстро поползла на спине к изголовью кровати, опираясь на локти и пятки, и когда ее затылок уперся в стенку, сказала сдавленным от волнения голосом: «Не смею вводить в заблуждение Ваше Величество. Как можно лгать в момент истины? Разве в такой момент душа не обращена к одной только правде?». Я видел, как король замер, пытаясь осмыслить страстные слова Глюмдальклич, и в этой паузе моя безумная в своей искренности девочка отчетливо произнесла: «Грильдриг – мой избранник и любовник!».

Воцарилось молчание, во время которого король, видимо, забыв, где находится мой домик, отыскивал его глазами, – я же так и окаменел от ужаса в своем люке, где он наконец, подняв плошку с огнем, меня и увидел. В следующий момент светелка Глюмдальклич наполнилась громовым хохотом – я никогда не слышал, как хохочет король, и могу сказать, что это было оглушительно и страшно. Потому что хохот этот не предвещал ничего хорошего. Сделав шаг от кровати до угла, где стоял мой домик, король бесцеремонно вытащил меня за голову из люка и, перенеся через огромное пространство, посадил прямо на деревянный набалдашник в изголовье кровати. «Смотри, ничтожество, – сказал он мне, – что я сделаю с твоей шлюшкой», – и с этими словами он, как тигр, бросился на Глюмдальклич, которой, за исчерпанностью ее аргументов, ничего более не оставалось, как подчиниться натиску короля. Полагаю, Его Величество испытывал особое сладострастие оттого, что я вижу, как он насилует мою бедную возлюбленную. Она же больше не проронила ни слова – только ойкнула, когда он вонзился в нее и потом лишь тихонько всхлипывала, когда он стал получать свое королевское удовлетворение, задрав ей ноги так, что одна из ступней моей бедной возлюбленной чуть не смахнула меня с набалдашника, на котором я сидел, как на маковке колокольни. Эта пытка для моих глаз продолжалась довольно долго, при том, что высокая спинка ложа отчаянно раскачивалась, и я имел все шансы свалиться вниз и разбиться насмерть. Но не это терзало меня в те бесконечные минуты, а совсем другое: впервые в жизни я испытал ненависть к монарху и его абсолютной монархии и понял, что ненависть эта будет жечь мне сердце до конца дней моих. В ту страшную ночь я стал вольнодумцем и тираноборцем. Только двухпалатный парламент, понял я, может спасти как весь народ, так и отдельных его представителей от произвола и вседозволенности сильных мира сего. Чем меньше прав у короля, тем лучше король.



* * *

Нетрудно догадаться, что мой статус после той страшной ночи сильно изменился. Король велел отправить меня на кухню, разлучив с Глюмдальклич. Мой домик-ящик поместили в одной из кладовых, где хранились овощи, в основном картофель, отчего я до сих пор не выношу его запаха, да и не ем ни в каком виде. Присматривать за мной назначили одного дрянного мальчишку, бывшего поваренка, которого отлучили от кухонной плиты за то, что однажды он из озорства помочился в кастрюлю с королевским супом, – суп его тут же заставили съесть, но поскольку это был младший отпрыск главного повара, то о его проказе королевской чете не донесли. Сам же мальчишка теперь выносил помои. Он был в той поре, когда подростки не дают покоя своему естеству, возбуждая его и днем и ночью, и только моя сдержанность и природная стыдливость не позволяют мне описать все те гадости, которые он со мной вытворял, заставляя служить своей пагубной склонности. К тому же он, как правило, предавался греху не один, а в компании такой же ущербной черни, которая была счастлива поиздеваться надо мной. Так, например, негодники, наевшись гороху, засовывали меня в свое заднее отверстие и стреляли мною в качестве живого ядра, соревнуясь, кто дальше. Чтобы я не убился, они стреляли мною в кучу свежего навоза или сена, или в то корыто, по водной глади которого я еще недавно водил свою парусную лодку. Теперь лодки не было, а стоячая вода протухла, и от меня исходил стойкий запах назьма, картофеля и болота, не говоря о других запахах, которые я не мог перебить, поскольку чистой воды для мытья мне не давали. Швыряли они меня и вверх – кто выше, делая это самым непристойным и рискованным для меня образом, то бишь сажая на свой возбужденный стручок, оттягивая его вниз и отпуская подобно метательному орудию Архимеда. Если они не удосуживались меня поймать, то я падал в то самое корыто, перед которым они стояли, или в сено, где каждая травинка была чуть ли не в мой палец толщиной – неудивительно, что я весь был покрыт царапинами, ссадинами и шишками. Видимо, король дал задание извести меня и убить, но так чтобы это выглядело как случайность, как грубая шутка грубой

черни. Чудо, что после всех этих испытаний я все же остался жив. Каюсь, забавляясь с крошечными человечками из Лилипутии, я и не представлял себе, какое мужество им требуется даже для простого общения со мной.

Но это еще не все издевательства, на которые обрекла меня челядь. Посудомойки, поломойки и просто чернавки засовывали меня к себе в срамные места и поскольку простой народ, как я уже говорил, отнюдь не пользовался духами и ароматическими притираниями, то можете себе представить, как было постоянно оскорблено мое обоняние. Не раз меня вытаскивали из подштанников чуть ли не бездыханным. Я никогда не тешил себя иллюзией, будто простой народ благонравнее, чем завсегдатаи раззолоченных гостиных, но то, с чем я столкнулся, убедило меня, что он еще хуже, ибо если галантность и бывает жестока, то имеет на то свои причины, челядь же жестока беспричинно, и чем грубее удовольствие, тем ближе оно их дремучим и мохнатым сердцам.

Так продолжалось с месяц, в течение которого я не видел ни Глюмдальклич – ей просто запретили показываться на кухне – ни короля с королевой. Видимо, Его Величество нашел какие-то аргументы, которые объяснили королеве мое отсутствие за королевским столом… Но потом в моей судьбе снова наступили перемены. Как ни странно, но в этом я был обязан заступничеству в лице обеих принцесс, которые как капризные любимицы своих родителей имели на них достаточное влияние, тем более что им, полагаю, все же по вкусу пришлось мое скромное споспешествование их фривольным развлечениям. До сих пор мне не дает покоя мысль, что я так и не отблагодарил их должным образом за вызволение из рук черни, хотя допускаю, что в мотиве их поступка была и известная корысть, – возможно, они намеревались продолжить тайные свидания со мной. Увы, все это лишь плод моих досужих домыслов, поскольку судьбе было угодно, чтобы вскоре я покинул Бробдингнег навсегда…

Встреча моя с Глюмдальклич, хотя и была обоюдорадостной, но несла на себе печать новых обстоятельств, и оба мы, как ни старались, не могли переступить черту, разъединившую нас. Наши новые отношения определились в первый же вечер, когда Глюмдальклич, против обыкновения, не взяла меня к себе в постель, из чего я сделал вывод, что, считая себя поруганной, она не может предложить себя мне. Хотя другой вывод, более горький для меня, напрашивался сам собой: потеряв девственность, вкусив настоящего мужчину, тем более, первого мужчину Бробдингнега, самого короля, она утратила всякий интерес к полудетским шалостям со мной, пусть и не могла сказать мне этого напрямую, учитывая ранимость моей тонкой и деликатной натуры. Больше мы с ней никогда не были близки.

...Я появился на королевском столе, где по отношению ко мне снова воцарилась атмосфера дружелюбия, разве что теперь деланного. Я стал, как прежде, объектом легких невинных насмешек, которые сам охотно поддерживал и обыгрывал, нарочито совершая мелкие неловкости, чтобы позабавить царствующую чету и вернуть их расположение и приязнь, – то спотыкался о корку хлеба, то комично ронял на ноги наперсток с вином, делая вид, что пьян, то, беря вилку наперевес, демонстрировал приемы охоты на медведей, каковых здесь не водилось… Но все это была лишь внешняя сторона моей действительности – внутри же душа моя ожесточилась и я лелеял мечту отомстить королю. Мысленно я его казнил, отрубал ему голову, как Кромвель Карлу I, четвертовал, пытал на дыбе, отрывал раскаленными щипцами его ненавистный фаллос, которым, как вскоре я понял, он продолжал охаживать мою нянюшку… Единственную казнь, которую я мог действительно осуществить, – это налить ему, спящему, в ухо яду, подобно тому, как это описано в трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет»… Но когда я начинал думать, какие приспособления мне для этого понадобятся – лестницы и веревки с крючьями, не говоря уже о самом яде, я понимал, что все это пустые фантазии, и я так и останусь неотомщенным.

Словно не догадываясь, что происходит в моем сердце, королевская чета взяла меня с собой в поездку по стране. Все же полагаю, король сделал это намеренно и демонстративно, дабы показать королеве, что между ним и мною нет и не может быть ни одного камня преткновения, на что она намекала, заметив, что после моего возвращения с кухни наши беседы с королем так и не возобновились. Скорее всего, у короля были в отношении меня далеко идущие намерения. Я и теперь уверен, что ту прогулку на скалы,

из которой я не вернулся, подстроил он сам. Это была его очередная попытка извести меня таким образом, чтобы у королевы не возникло никаких подозрений. Я могу его понять. Зная про его тайную связь с Глюмдальклич, я оставался не только живым укором его нечистой совести, но и представлял собой реальную угрозу его разоблачения.

Унес меня в моем домике тот самый паж, что услаждал принцесс. Полагаю, он намеренно оставил мой домик без присмотра, отправившись собирать птичьи яйца. Не знаю, желал ли он, как и король, моей смерти. Во всяком случае, один, среди прибрежных скал, где был птичий базар, я бы мог продержаться до наступления холодов. Судьба распорядилась иначе, и я благодарен ей за это. Времена начинались смутные, в Бробдингнеге было брожение, ибо, как это ни странно, народ разделился на тех, кто горячо приветствовал нововведенный кондом, и тех, кто его столь же яростно отвергал. Общество раскололось на две партии, и между ними шла борьба за влияние на короля.

Пагубным образом сказался на самоощущении народа и мой дар в виде Бе Бу, то есть Бесконечного Будущего, предложенного мной бробдингнежцам взамен идеи о конце света, которого они ожидали согласно своим глупым таблицам. Однажды, дабы наполнить страну оптимизмом, я посоветовал королю просто взять и выбросить их, а точнее, сжечь на костре, что и было исполнено по королевскому указу, так как в ту пору король еще безоговорочно следовал моим советам. Действительно, бробдингнежцы очень скоро забыли, что за чем следует, и поначалу были абсолютно счастливы и свободны. Но потом стали несчастны, ибо оказалось: они не могут жить, не зная, что им готовит грядущий день. Назревала гражданская война, виновником которой я не без основания считал себя. Часто, искренне желая добра, мы на самом деле приносим зло.

Обстоятельства моего чудесного возвращения на родину уже известны читателям и, право же, мне почти нечего к этому добавить. Орел, принявший мой домик за панцирную черепаху, сослужил мне немалую службу, подняв в небо, чтобы разбить, бросив на скалы, равно как и другой орел, пытавшийся отнять у первого добычу. Благодаря схватке птиц я упал вместе с домиком не на голые камни, а в море, где меня и подобрали матросы английского корабля год командованием капитана, предостойнейшего мистера Томаса Вилькокса, ставшего, пока мы шли до Англии, моим добрым другом. Это как раз тот случай, когда заведомое зло оборачивается непредвиденным добром. Поэтому тот, кто жалуется и клянет свою судьбу, попав в затруднительные обстоятельства, проявляет опрометчивость и недальновидность. Гораздо благоразумнее ведет себя тот, кто со спокойствием в сердце и надеждой в душе предается воле провидения. Ведь если мы угодны Творцу, ничего, кроме неизбежной смерти в конце жизненного пути, с нами случиться не может.

Немало времени ушло у меня на то, чтобы научиться смотреть на окружавших меня обычных людей не как на пигмеев. Общаясь с себе подобными, я еще долго по привычке задирал голову и орал во всю глотку, из чего некоторые сделали превратный вывод, что, побывав в необыкновенных путешествиях, я стал слишком высокого мнения о себе. Встреча с моей женой тоже была чревата неожиданными проблемами, ибо я даже в своем желании долго не решался к ней прикоснуться, поскольку привык к размерам, несопоставимым с предоставляемыми мне ею. Теперь, чтобы достойным образом исполнять супружеский долг, я, закрывая глаза, вынужден был рисовать в воображении своих любимых гиганток.

От моей коллекции редкостей, привезенных из Бробдингнега, вскоре ничего не осталось, кроме золотого кольца с мизинца королевы. Поначалу моя жена решила, что это подарок ей, в чем я не стал ее разубеждать, и пыталась, к зависти соседок, носить его на шее как ожерелье, но вскоре ей пришлось отказаться от этого украшения, так как от тяжести кольца у нее заболела спина, а кожа на плечах покраснела и пошла синяками. Втайне я облегченно вздохнул, так как кольцо было чуть ли не единственным, что напоминало мне о королеве. Впрочем, я лукавлю. Было и еще кое-что – слова, сказанные мне на одном из моих последних ночных свиданий Ее Величеством. Королева тогда, в минуты высшей нежности, призналась мне, что ждет ребенка, и единственное, что ее беспокоит, – это его размеры. «Какая же странная судьба, – подумал я тогда, – в свое время я бежал из Лилипутии, опасаясь монаршего гнева, поскольку имел все основания полагать, что ребенок, которого носит императрица, зачат не без моего участия. И

вот, история повторялась. ..» Я, как мог, успокоил королеву, заверив, что если малыш будет таким, как моя оставленная в Англии дочь, то его появления никто не заметит, а ежели младенец уродится великаном, то отцовство можно будет легко приписать королю, который, как я знал, время от времени все же отправлял свои супружеские обязанности. Говоря все это Ее Величеству, я, помню, испытывал великую грусть, поскольку понимал, что ребенка, каким бы он ни был, мне не отдадут. Мне грустно и теперь. Иногда я задаю себе праздный вопрос – не стал ли я в стране великанов родоначальником новой расы? Увы, я этого никогда не узнаю.

